
50 1/12. X

Н. Г. КУЛЯБКО-КОРЕЦКИЙ

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ ЛАВРИСТА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
19 · МОСКВА · 31


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
—И—
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРОШЛОГО РОССИИ

1931
№ 2 (LXVII)

МОСКВА

Н. Г. КУЛЯБКО-КОРЕЦКИЙ

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ ЛАВРИСТА

РЕДАКЦИЯ
Б. П. КОЗЬМИНА И М. М. КОНСТАНТИНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Уполномоченный Главлита В—2377 Тираж 5.000

Типография газеты „Правда“, Москва, Тверская, 48.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мемуарная литература относительно революционного движения 70-х годов весьма обширна. Многие деятели той эпохи дожили до того времени, когда им стало можно писать и публиковать свои воспоминания, не опасаясь скомпрометировать кого-либо своими сообщениями. Мы имеем ряд мемуаров как рядовых участников движения той эпохи, так и его вождей, игравших в движении руководящую роль. В числе этих мемуаров имеются труды, общепризнанные классическими образцами мемуарной литературы.

При таких условиях, когда теперь появляются новые воспоминания о революционном движении тех лет, вполне естественно возникает вопрос, чем вызывается необходимость их опубликования, что нового дают они по сравнению с уже имеющейся обширной мемуарной литературой. По отношению к публикуемым нами воспоминаниям Н. Г. Кулябко-Корецкого эти вопросы тем более уместны, что автор их отнюдь не принадлежал к числу руководителей движения. Он — не вождь, а рядовой участник политической борьбы той отдаленной эпохи. Мало этого: он не только рядовой, но и случайный участник ее. Это — не профессиональной революционер, для которого вне революции нет никакого дела, ради которого стоило бы работать. Это человек, для которого участие в революционном движении было лишь одним из этапов на его жизненном пути. Это — человек, который только вследствие особенностей русской жизни его времени, основанной на полном подавлении личности и на безмерной эксплоатации низших классов населения, оказался на время в рядах революционеров. Человек, который, по его собственному свидетельству, питал уверенность, что разрешение социальной проблемы лежит не столько в борьбе классов, сколько в успехах техники, и до конца своих дней [1] сохранил эту наивную веру,

[1] Н. Г. Кулябко-Корецкий скончался 2 февраля 1931 г. в Ленинграде.

конечно, не мог быть революционером. Он мог быть только случайным и временным гостем в революционном стане.

Почему же в таком случае мы печатаем его воспоминания?

В революционном движении 70-х годов имеются события и группы, которые, несмотря на отмеченное выше обилие мемуарной литературы, недостаточно до сих пор освещены и даже почти совершенно не освещены. Таковыми именно и являются события, о которых рассказывает Н. Г. Кулябко-Корецкий. Русская эмигрантская колония в Цюрихе в 1872—1873 гг., деятельность редакции и издательства «Вперед!» и петербургская группа лавристов (или «лавровцев», как пишет Н. Г. Кулябко-Корецкий) — вот три основных момента, которым посвящены печатаемые нами воспоминания.

Что касается цюрихской эмиграции начала 70-х годов, то относительно ее жизни мы имеем ряд мемуарных источников. Достаточно вспомнить воспоминания З. Ралли-Арборе, В. Н. Фигнер, М. П. Сажина и др. Но можем ли мы сказать, что эта тема уже достаточно освещена теми материалами, которыми мы располагаем? Отнюдь нет. В этом читатель может убедиться хотя бы из воспоминаний самого Н. Г. Кулябко-Корецкого. Прочтя их, он увидит, как много спорного и недостаточно выясненного имеется в мемуарной литературе. И в этом отношении воспоминания Н. Г. Кулябко-Корецкого представляют значительный интерес. Читателю, может быть, покажется, что автор с излишними подробностями рассказывает об эмигрантских столкновениях и склоках того времени. Однако, не надо забывать, что в основе этих столкновений и этих склок лежало идейное расхождение, разделившее русскую эмиграцию того времени на два основных направления: лавристское и бакунистское. Хотя и лавристы, и бакунисты по основам своего миросозерцания принадлежали к народническому течению русской общественной мысли, тем не менее и в принципиальных программных вопросах, и в проблемах тактического порядка между ними существовали настолько серьезные расхождения, что разрыв их друг с другом и борьба за влияние на эмигрантскую массу были неминуемы. Борьба эта велась с чрезвычайной резкостью и даже грубостью, что придавало ей неприятный характер склочничества. Однако, в основе лежали идейные расхождения. В этом — об'яснение той страстности, которая отличала оба враждующих лагеря и которая до сих пор не изжита дожившими до наших дней врагами. Говоря о русской эмиграции начала 70-х годов в Швейцарии, и бывший лаврист Н. Г. Кулябко-Корецкий, и бывшие бакунисты З. Ралли и М. П. Сажин подходят к событиям того

времени не как об'ективные историки, а как современники, которым нет возможности отделаться от известной доли суб'ективизма. Но мы и не вправе требовать от них полного об'ективизма. Мало этого: их суб'ективизм представляет для нас определенную ценность, поскольку он придает яркие краски их повествованию и делает его более живым.

Поклонник и последователь П. Л. Лаврова, автор печатаемых мемуаров до сих пор убежден, что этот эклектик, в миросозерцании которого концы с концами были связаны далеко не всегда прочно (вспомним хотя бы его отношение к теории исторического материализма Маркса, ценность которой он не раз признавал, но которая на системе его взглядов почти не отразилась), был гениальным мыслителем, «еще более гениальным мыслителем», чем М. А. Бакунин. Эта глубоко неверная и крайне суб'ективная оценка Лаврова для нас весьма важна, ибо она показывает нам, чем был Лавров для его современников, — конечно, для тех из них, которые рзделяли его убеждения и взгляды, — и помогает нам разобраться в событиях того далекого от нас прошлого.

Второй основной момент, к которому относится рассказ Н. Г. Кулябко-Корецкого, — работа редакции и издательства «Вперед!»,—освещен до сих пор гораздо меньше, чем цюрихская эмиграция 1872—1873 гг. Никто из людей, имевших отношение к журналу Лаврова, не оставил нам воспоминаний. Правда, о журнале «Вперед!» писал сам П. Л. Лавров в своей книге «Народники-пропагандисты», но эта книга писалась задолго до революции 1905 г., в мрачное время реакции, когда царский трон был еще достаточно крепок. Вот почему о многом Лавров не имел возможности говорить в печати. Вот почему многие места его книги не столько дают нам ответ на интересующие нас вопросы, сколько интригуют неопределенностью и недоговоренностью своих сообщений. Вспомим хотя бы вопрос о возникновении журнала «Вперед!», который до сих пор остается не вполне выясненным. Или вопрос о разногласиях, обнаружившихся между Лавровым и приезжими из России лавристами на Парижском с'езде 1876 г. Сообщение Лаврова об этом с'езде настолько туманно, что оставляет без ответа вопрос о том, почему Лавров оказался вынужденным уйти из редакции «Вперед!». Правда, эти вопросы и после появления воспоминаний Н. Г. Кулябко-Корецкого остаются невыясненными, но эти воспоминания имеют ценность вследствие того, что они дают ответ на некоторые другие вопросы, связанные с журналом Лаврова,— например, на вопрос о персональном составе той группы, которая

принимала участие в издании «Вперед!». Вот маленький, но весьма показательный пример. Н. Г. Кулябко-Корецкий неоднократно упоминает работника впередовской типографии Вощакина и дает некоторые биографические сведения о нем, из коих видно, что Вощакин был долговременным участником в издании «Вперед!». Возьмем словарь «Деятелей революционного движения в России», издаваемый Всесоюзным обществом политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Казалось бы, биографии Вощакина в нем не могло бы не быть. Однако, мы тщетно стали бы искать в нем каких-либо сведений о Вощакине. Его фамилия даже не упоминается в этом словаре. Чем это об'ясняется? Тем, что ни мемуаристы, ни документы архива III Отделения, на которых основан словарь, не дают никаких сведений о Вощакине. То же самое можно сказать и о другом работнике «Вперед!», о котором расказывает Н. Г. Кулябко-Корецкий, — о Янцыне. Это — тоже фигура, нам до сих пор совершенно неизвестная.

То же самое, что о работниках «Вперед!», мы можем сказать и о петербургской группе лавристов, даже больше: она нам до сих пор почти совершенно неизвестна, и только из воспоминаний Н. Г. Кулябко-Корецкого ее состав выясняется для нас.

До сих пор о петербургских лавристах писали только люди, не входившие в состав их кружка и наблюдавшие их, так сказать, со стороны (Г. В. Плеханов, Н. С. Русанов, О. В. Аптекман, И. С. Джабадари и некоторые другие). Естественно, что эти мемуаристы не могли дать нам более или менее точных сведений о лавристах и их деятельности. Мало этого: даже политическая физиономия кружка лавристов не вполне для нас ясна. Вследствие этого не вполне ясна и роль, сыгранная ими в революционном движении 70-х годов.

Большинство мемуаристов, описывая петербургских лавристов, изображает их как людей, внутренне чуждых революционному движению. Эти верные ученики Лаврова ограничивали свою деятельность «усиленной подготовкою» самих себя к будущему да кое-какими попытками пропаганды среди рабочих. По свидетельству Г. В. Плеханова, соприкасавшегося с лавристами в своей революционной работе, лавристы определенно отрицательно относились и к студенческим беспорядкам, и к рабочим стачкам, и к манифестациям сочувствия к политическим «преступникам», и к массовым протестам против безобразий администрации, и т. д., и т. д. — одним словом, ко всему тому, «что заставляло сильнее биться сердце тогдашнего «радикала». Интересуясь вопросами социализма и революционной борьбы более

теоретически, нежели практически, лавристы кончили тем, что превратились в мирных культурных работников (врачей, учителей, статистиков и т. п.) и ушли из рядов революционеров. Недаром их учитель П. Лавров, по свидетельству Л. Г. Дейча, говорил о них: «Я не лаврист; я давно не имею ничего общего с лицами, носящими эту кличку: своим поведением они скомпрометировали и себя, и меня».

Такую оценку петербургских лавристов можно найти в мемуарах многих семидесятников. До некоторой степени она находит себе подтверждение и в воспоминаниях Н. Г. Кулябко-Корецкого. В конце своей книги он свидетельствует, что лавристы сохранили навсегда верность своим идеалам. Очевидно, эти идеалы были таковы, что не мешали им оставить ряды революционеров и всецело отдаться занятиям, может быть, и весьма почтенным, но к революционной борьбе отношения не имеющим. Очевидно, для них та пропаганда, которую они вели среди рабочих, была только эпизодом их жизни в студенческие годы. По окончании высших учебных заведений, раз'ехавшись из Петербурга по разным местностям России и отдавшись там профессиям, которые они себе избрали, они, за очень немногими исключениями (Криль, Худадов), отказались всецело от революционной работы и порвали всякие связи с революционной средой. Конечно, революционная пропаганда, которую в молодости вели эти люди, при таких условиях не могла иметь большого значения в развитии революционного движения.

Однако, те же самые мемуаристы, на которых мы ссылались выше, иногда совершенно иначе расценивают роль лавристов. Так, напр., Плеханов готов признать, что пропаганда лавристов, «вероятно, была разумнее нашей» (т.-е. бакунистов). Дело в том, что лавристы, ведя пропаганду среди рабочих, уделяли много внимания деятельности германской социал-демократии. Плеханов признает, что лавристы изображали западно-европейское рабочее движение и работу I Интернационала не в таком превратном виде, как бакунисты. Мало этого: Плеханов готов признать, что «если в программе образовавшегося зимою 1878—1879 гг. Северно-Русского Рабочего Союза сильно слышалась социал-демократическая нота, то это, кажется, в значительной степени нужно приписать влиянию лавристов».

Таким образом, вопрос о роли лавристов в развитии нашего рабочего движения до сих пор остается недостаточно выясненным и спорным. В последнее время среди некоторых историков замечается тенденция рассматривать петербургских лавристов как прямых предшественников русского марксизма. Можно

сомневаться в правильности такой оценки роли лавристов и находить в ней лишенную достаточных оснований попытку преувеличивать историческое значение лавризма. Однако, вряд ли можно сомневаться в том, что пропаганда лавристов среди петербургских рабочих не прошла бесследно, а оказала заметное влияние на движение русского пролетариата того времени в лице его наиболее сознательной и активной части.

К сожалению, воспоминания Н. Г. Кулябко-Корецкого,— может быть, потому, что автор их бывал в Петербурге только наездами,—не разрешают спорного вопроса о значении пропаганды лавристов среди рабочих. Не дают они материала и для выяснения социально-политической программы лавристов и их отношения к боевым вопросам тогдашней революционной жизни. Однако, и те сведения, которые Н. Г. Кулябко-Корецкий дает о составе кружка лавристов и о его деятельности, представляют значительный интерес для истории нашего революционного движения.

Вот почему, несмотря на обильную мемуарную литературу по эпохе 70-х годов, воспоминания Н. Г. Кулябко-Корецкого вполне заслуживают опубликования.



Николай Григорьевич
Кулябко-Корецкий

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ЦЮРИХЕ
(1872 — 1873)

I

Была вторая половина августа 1872 г., когда я ранним утром приехал в Цюрих. Зная хорошо город еще со времени первого его посещения в 1868 году, я прямо с вокзала, без вещей, направился в поисках постоянной квартиры в цюрихский «Латинский квартал», местопребывание студенческой молодежи, на правом, возвышенном берегу реки Лиммата. Дешевую, скромно меблированную комнатку в одно окошко на юг я быстро нашел за 17 франков, т.-е. пять с половиной рублей (по курсу того времени, 33 коп. за один франк), в месяц, в предместьи Hottingen, в маленьком переулочке, утопавшем в зелени и носившем соответственное поэтическое название Blumengasse или Rosengasse, точно теперь не припомню.

Прелесть найденной мною по столь дешевой цене квартиры заключалась в том, что небольшой деревянный швейцарского типа домик в три этажа с мезонином расположен был не по улице, а в глубине фруктового садика.

Население домика состояло из мелкого, скромного люда: ремесленников, приказчиков, низших служащих, прачек и т. п. Все мужское взрослое население и дети школьного возраста с утра уходили из дому, и в нем оставались только женщины.

В этой удачно избранной и очень удобной для научных занятий квартире я благополучно прожил почти целый год вплоть до окончательного своего выезда из Цюриха.

Наскоро устроившись на новосельи, я в тот же первый день по приезде в Цюрих отправился в поиски библиотеки русских цюрихских студентов, о книжном богатстве которой я слышал хвалебные отзывы еще в Гейдельберге и Лейпциге. Отыскать ее было нетрудно, стоило лишь перейти в соседнюю с моим пере-

улком широкую прямую улицу Platte, служащую общей артерией всего Готтингена, чтобы на каждом шагу встретить русского студента или студентку. Их легко было сразу отличить от остальных прохожих по небрежному костюму, громкой речи, оживленной обильной жестикуляцией, по длинной шевелюре большинства мужчин и, напротив того, по стриженым волосам многих из молодых женщин. Получив обстоятельные указания от первого попавшегося мне навстречу русского студента, я нашел библиотеку в одном из ближайших, примыкавших к Platte переулков, отличавшемся от моего переулка лишь менее богатой растительностью. Библиотека помещалась во втором этаже деревянного особнячка, носившего название Frauenfeld и отличавшегося от того, в котором я нашел себе приют, большими размерами комнат и входной дверью, выходившей прямо на улицу, а не через сад.

В первой большой комнате расположена была «читальня» с несколькими десятками газет и журналов, в поэтическом беспорядке разбросанных по столам. Здесь имелись налицо, кроме столичных русских газет и журналов, еще и многие провинциальные газеты, с берегов Волги, из Одессы, Кавказа и т. д., причем имелись издания и на грузинском, армянском и еврейском языках. Молодые люди этих национальностей входили в состав «русских» студентов, и только поляки держали себя обособленно и имели собственные организации. Имелись также французские и немецкие журналы и газеты, преимущественно из социалистической и рабочей прессы. «Читать», впрочем, в этой читальне без навыка было затруднительно, так как там с утра до вечера в густом табачном дыму непрерывно толпился народ и шли громкие разговоры и ожесточенные теоретические споры по всевозможным общественным и философским вопросам. Русские студенты не придерживаются обычаев швейцарских и немецких студентов, устраивающих по своим корпорациям кнейпы в местных пивных, и обыкновенно не посещают последних, кроме исключительных случаев. Не имея ни клуба, ни иного общественного учреждения для своих встреч и очередных сходок, они по необходимости избрали для этого читальню, с чем усердным читателям газет приходилось мириться и что вскоре, как это будет изложено далее, привело к мысли о приобретении в Цюрихе собственного дома, в котором можно бы было расположиться удобнее, согласно обычаям далекой родины.

Вторая комната этого помещения отведена была собственно под библиотеку, т. е. под книгохранилище и под место получения и сдачи абонентами книг для чтения на дому. Третья,

а может быть, и четвертая (хорошо не помню) комнаты этого этажа с кухнею предоставлены были под квартиру библиотекарше и секретарю библиотеки.

Беглый обзор книгохранилища убедил меня, что библиотека может быть причислена к разряду довольно богатых. В числе нескольких тысяч томов книг на русском, французском и немецком языках имелись новейшие учебники по многим отраслям знания, справочные книги, в том числе многотомная энциклопедия Ларусса на французском языке; довольно много было классических сочинений по общей литературе, по истории, философии и, в особенности, по политической экономии и социологии и, конечно, почти исчерпывающий ассортимент русской эмигрантской прессы, с сочинениями Герцена и Бакунина во главе.

Как я узнал постепенно впоследствии, библиотеку эту основал за несколько лет до моего приезда русский эмигрант Росс; под псевдонимом этим скрывался Михаил Петрович Сажин, осужденный по возвращении в Россию на каторгу, перенесший жестокое заключение в одной из центральных каторжных тюрем, женившийся затем, будучи на поселении в Сибири, на одной из сестер Фигнер, а по восстановлении прав служивший некоторое время в компании «Надежда», а затем в Петербурге при редакции «Русского Богатства» секретарем или казначеем [1].

Будучи ближайшим другом, сотрудником и, можно сказать, правою рукою Михаила Александровича Бакунина по его деятельности среди русских революционеров, Росс основал эту библиотеку, как я узнал только впоследствии, с специальной целью распространения бакунинских идей среди русской молодежи; но по мере скопления в Цюрихе русских студентов и студенток она постепенно превратилась в библиотеку русских студентов, официально была так переименована и под этим флагом получала из России от издателей и авторов большое количество периодических изданий и книг бесплатно или по пониженной цене, что в связи с крупными доходами от многочисленных абонентов, доходивших до 300 душ, способствовало ее быстрому обогащению.

Я так подробно и обстоятельно остановился на истории и составе цюрихской библиотеки потому, что, как видно будет дальше, эта библиотека, волею судеб, явилась осью многих печальных событий в жизни цюрихской русской колонии, ближайшим очевидцем и довольно деятельным участником которых мне довелось быть во время моего почти годичного пребывания в этом городе.

Возвращаюсь, однако, к описанию впечатлений первого дня моего пребывания в Цюрихе. Заявив, что, прибыв в Цюрих с целью слушать некоторые лекции в университете, я спешу записаться в число абонентов библиотеки, чтобы использовать ее умственные богатства, я встретил в администрации ее не только любезный, но вполне ласковый и сердечный прием. Администрация эта состояла из секретаря, деятельно способствовавшего ее обогащению, эмигранта Валерьяна Николаевича Смирнова, и из библиотекарши, жены Смирнова, студентки-медички университета Розалии Христофоровны Идельсон, о которых мне придется много говорить ниже.

Смирнов, впоследствии в Лондоне именовавшийся доктором Ноэлем, затем доктором Ивиным, а по переезде в Берн, в качестве деятельного обозревателя английской и немецкой медицинской литературы в петербургском «Враче», — доктором Идельсоном, был в то время молодым человеком 23 — 24 лет, небольшого роста, тщедушным и как бы хрупкого телосложения, блондин, с длинными светлыми, вьющимися волосами на голове и с небольшой курчавой, тоже светлой, бородкой, с красивым лицом и живыми глазами и с крайне экспансивным и пламенным темпераментом. Можно было удивляться, что в таком нежном, болезненном, почти чахоточном тельце могло заключаться столько пламенной энергии, которая, как порох, загоралась в нем, как только его охватывала и поглощала какая-либо идея. По тщедушной своей внешности и по быстро вспыхивавшему горячему темпераменту Смирнов настолько сильно напоминал Виссариона Белинского, что его нередко называли «неистовым Валерьяном». Уроженец Москвы, сын инспектора гимназии, он получил первоначальное образование в гимназии, помещавшейся на Гороховом поле, в Басманной части г. Москвы, и по ее окончании в 1866 г. поступил в Московский университет на медицинский факультет.

Окончить университет ему, к сожалению, не удалось по обычной у нас для восторженных юношей причине: на пятом, кажется, курсе он был арестован и привлечен вместе с несколькими однокурсниками к делу Нечаева. Временно, впредь до суда, освобожденный из тюрьмы, он, не дождавшись суда, эмигрировал в Швейцарию вместе с двумя товарищами — Александром Эльсницем и Владимиром Гольштейном, которые вскоре стали деятельными последователями Бакунина, а затем окончили свою жизненную карьеру очень популярными практикантами-врачами: Эльсниц — в Ницце, а Гольштейн — в Париже [2].

В Москве они трое, собрав свои скудные пожитки и добыв небольшую сумму денег на дорогу, отправились на юг и на границе с Австрией, в пределах Волынской или Подольской губернии, без предварительных справок и рекомендаций, обратились за помощью для перехода через границу к случайно попавшимся евреям. К сожалению, они попали в руки недобросовестных людей: эти последние, пользуясь наивностью неопытных юношей и играя на измышленных опасностях предприятия, стали передавать их из рук в руки, причем каждая передача сопровождалась изъятием из их карманов все новых и новых сумм и потерей части багажа, якобы перехваченного пограничниками, так что, наконец, очутившись за кордоном, они оказались без вещей и без денег. Впоследствии, когда закончилось слушание в суде нечаевского дела, обнаружилось, что напрасно эти три юноши эмигрировали, так как та группа обвиняемых, к которой они по обвинительному акту были причислены, оказалась по суду оправданной, и четвертый сотоварищ их, А. С. Бутурлин, не рискнувший эмигрировать, вышел из суда без неизлечимой аварии; благодаря привлечению к этому процессу он оказался только «недоучившимся» медиком и лишь по прошествии 25 — 30 лет, уже в пятидесятилетнем возрасте, вместе со взрослыми своими сыновьями вновь поступил в университет на медицинский факультет и получил диплом врача почти стариком.

С трудом добравшись до Цюриха, Эльсниц и Гольштейн, получавшие субсидии из России от состоятельных родных, поступили в Цюрихский университет и вместе с Россом и Земфирием Ралли[3] стали вскоре интимнейшими друзьями и ближайшими сотрудниками М. А. Бакунина, а Смирнов, не получавший из дому субсидий, вынужден был занять место секретаря русской библиотеки и ко времени моего приезда в Цюрих радикально уже разошелся с прежними сотоварищами-бакунистами как по принципиальным социалистическим взглядам, так и в частности по вопросам о задачах и порядке заведывания студенческой библиотекой.

Жена его, Розалия Христофоровна Идельсон, занимала место библиотекарши. Это была молодая, красивая и очень изящная брюнетка, небольшого роста, чрезвычайно приветливая и услужливая в обращении с читателями библиотеки. Родилась она в состоятельной еврейской семье в одной из губерний нашего Западного края. Окончив курс в местной женской гимназии, она заявила желание продолжать образование в высшем учебном заведении, но этому решительно воспротивились ее родители. Жизнь в семье, строго придерживавшейся ветхозавет-

ных правил и обычаев, стала совершенно невозможной для молодой девушки, усвоившей в гимназии взгляды, радикально расходившиеся с семейными обычаями. Выход из этого положения в те времена был обычный — фиктивный брак. Нашелся молодой человек, по фамилии Идельсон, который явился к ее родителям в качестве жениха, получил согласие родителей и после венца немедленно выдал своей фиктивной жене свободный вид на жительство, по которому она получила заграничный паспорт и укатила в Цюрих, где и поступила в университет на медицинский факультет. Отсутствие материальной помощи из России вынудило ее занять платное место библиотекарши, поглощавшее все ее рабочее время, что на несколько лет задержало окончание ею медицинского образования, а с приездом в Цюрих Лаврова она вместе с Смирновым стала участницей кружка, издававшего затем русский социалистический орган «Вперед!».

Смирнов и Идельсон приняли меня очень приветливо, причем последняя предоставила мне возможность широко пользоваться книжными богатствами библиотеки. Приехал я в Цюрих в вакационное время, когда в университете лекций не читалось, и потому я вплотную углубился в чтение книг на русском, французском и немецком языках. Ежедневно я посещал библиотеку. Наскоро пробежав 3 — 4 русских и иностранных газеты, я менял взятые на дом и прочитанные книги на новые, забирая их без счета, по несколько зараз. Прежде всего, конечно, я набросился на запретную в России русскую эмигрантскую литературу и перечитал абсолютно все, вышедшее из-под пера Герцена и Бакунина, а затем перечитал и изучил все, что имелось в библиотеке по части политической экономии и социализма. Только здесь впервые по первоисточникам я познакомился с французскими социалистами, с сен-симонистами, с Фурье, Кабе, Луи Бланом и Прудоном, и с немецкими теоретиками социализма — Карлом Марксом, Энгельсом, Лассалем и отчасти с Родбертусом.

Чтение этой литературы произвело радикальный переворот в моем мировоззрении и вынудило в корне пересмотреть все раньше выработанные и усвоенные моральные, социальные и политические принципы. Мне было тогда уже 26 лет, и я пережил только теперь тот умственный кризис, который обычно, в те времена, переживала русская молодежь в 18 — 20 лет и даже раньше, — в последние годы своей гимназической и в первые годы студенческой жизни.

Молниеносное путешествие, совершенное мною по Европе в 1868 году по окончании университета, когда я в течение трех летних месяцев объехал всю западную и центральную Европу,

побывал почти во всех главных городах и пунктах, посещаемых по преимуществу туристами, в Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и Италии, произвело на меня чрезвычайно сильное впечатление. До окончания университета в возрасте 21 года я на своей родине видел только бедные украинские деревни, посетил три-четыре грязных уездных городишка Полтавской губернии и обширный по пространству, хотя и живописный, но крайне неблагоустроенный город Киев с его булыжной мостовой в центре и невылазной грязью по окраинам, с ничтожным освещением улиц и бедным, грязным и оборванным населением. Не видел я еще никогда ни железных дорог, ни даже газового освещения. Только переехав на почтовой тройке через границу в Радзивилове, я впервые ознакомился с почтовыми дилижансами, железными дорогами, газовым освещением улиц и театров. Роскошные по архитектуре и монументальные по размерам здания Ringstrasse в Вене произвели на меня ошеломляющее, феерическое впечатление. Кишащие опрятно одетой публикой улицы европейских столиц, вежливое обращение с нею чисто одетых полицейских, богатейшие музеи, наполненные величайшими произведениями искусства всех веков и народов, свободное обсуждение в газетах и собраниях мероприятий и предположений правительства, смелые речи гремевшей тогда в Париже сатирической газеты Рошфора «Lanterne» и дерзкие слова Гамбетты, назвавшего публично на суде императора Наполеона III преступником и не остановленного председателем суда, все это показывало, насколько мое отечество, Россия, отстало от Западной Европы в культуре и цивилизации. С этого времени я стал горячим и в известном смысле слепым поклонником западно-европейской цивилизации, но поклонником по преимуществу внешних, наружных форм этой цивилизации.

Обратная сторона медали осталась вне поля моего наблюдения или, по крайней мере, на заднем, втором плане. Я, конечно, знал о существовании пауперизма на Западе, о бедственном положении наемных рабочих, получавших нищенскую заработную плату, о неравномерном распределении земель и вообще богатства между разными классами населения, о растущем милитаризме, о бедствиях международных войн, затеваемых по пустяшным предлогам коронованными и некоронованными властителями. Но все эти язвы казались лишь отдельными пятнами на феерической внешности культурной жизни народов, подобно тому, как и солнце не без пятен.

О социализме я имел весьма смутное представление по шести-восьми страницам университетского учебника, излагавшего

вкратце системы «утопического» социализма от Платона до Прудона и Лассаля включительно и дававшего о них понятие, как о фантастических «утопиях», созданных воображением поэтов и философов-идеалистов. Запрещенные сочинения заграничной эмигрантской литературы в мое время не обращались еще в среде гимназической и университетской молодежи, по крайней мере в Киеве. Только в пятом или шестом классе гимназии у меня в руках был один номер Герценовского «Колокола», полученный мною для прочтения от студента Вороного, ставшего впоследствии убежденным поклонником классицизма в роли директора гимназии, и более я не помню, чтобы в моем распоряжении были другие запретные издания. Среди киевского студенчества самыми передовыми кружками были поляки, мечтавшие о свободном польском «крулевстве» «от моря и до моря», и украинофилы-хлопоманы, стремившиеся к освобождению от гнета украинской литературы.

Все эти условия создали из меня, по окончании университетского учения и при вступлении в жизнь взрослого общественного деятеля, убежденного поклонника западно-европейской культуры и цивилизации с ее недавно народившимся капитализмом и конституционным политическим режимом. Лучше всего направление моих убеждений могло быть выражено термином: либеральный и отчасти даже радикальный прогрессист.

Опыты практической жизни постепенно подрывали отдельные устои этого поверхностно воспринятого мировоззрения. Исполнение в течение 3½ лет обязанностей судебного следователя давало мне частые случаи убедиться, что новые судебные уставы 1864 года, столь прославленные у нас как последнее слово западно-европейской науки и жизни, нередко служили орудием угнетения масс и средством покровительства хищениям и самоуправству сильных мира сего. Разгоревшаяся в 1870 году франко-германская война показала, что современные «цивилизованные» немцы в жестокостях и насилиях недалеко ушли от своих диких предков времен Аттилы и Валленштейна. Дикая расправа версальцев с коммунарами воскресила картины массового истребления инакомыслящих времен Диоклетиана и альбигойских войн. Таким образом уже ко времени приезда в Цюрих преклонение мое перед западной цивилизацией и вера в спасительность конституционного строя и так называемого «правового» порядка были уже значительно подорваны.

С жаром голодного накинулся я прежде всего на сочинения А. И. Герцена и М. А. Бакунина. Последний не мог увлечь меня. Я всегда был враг фразеологии, и красноречивые тирады Ба-

кунина, бившие на эффект, возбуждавшие не столько ум, сколько чувство, оставляли меня холодным и равнодушным. Другое дело Герцен, которого я стал поглощать с запоем. Несравненная прелесть его публицистического стиля, гуманность воззрений, любовь к народу и ненависть к угнетателям, убийственный сарказм его полемических выходок — все это совершенно меня очаровывало. Разоблачения раздутых либеральных знаменитостей в роде Ледрю-Роллена, Одилона Барро, венгерского «генерала» Кошута и других светил революции 48-го года вылечили меня от преклонения как перед конституционной монархией, так и перед буржуазной республикой. После прочтения произведений Герцена мои взгляды на западно-европейский либерализм радикально переменились, так же, как переменились и взгляды самого Герцена, который из благодушного автора «Писем с улицы Marigny» обратился в проповедника социализма [4].

Кроме этого, еще и другая сторона задушевных взглядов Герцена на русский народ произвела на меня сильное впечатление; это — развитое им в двух обширных статьях воззрение на особенности умственного склада и духовного настроения русского народа, взгляда, давшего повод для критиков и противников Герцена сопричислить его к лагерю наших славянофилов, что конечно, было клеветою, так как его учение являлось полною противоположностью всей славянофильской идеологии [5]. Говоря короче, Герцен утверждал, что в тайниках своей души русский народ всегда был и будет убежденным социалистом и прирожденным атеистом и анархистом.

Здесь не место входить в подробный разбор или критику этих воззрений Герцена. Суждение его об атеизме русского народа встретили возражения со стороны тех, кто, напротив того, видел в народе русском избыток внимания именно к религиозным вопросам в ущерб заботам о материальной стороне жизни, называя его «народом-богоискателем». Что же касается подмеченной Герценом склонности русского народа к социализму, то эта сторона псевдо-славянофильства Герцена явилась настоящим откровением, толстым слоем легшим на мои представления о русском или, точнее выражаясь, о великорусском народе, которые тогда были у меня не что иное, как настоящая tabula rasa. Великорусского крестьянина я знал лишь по случайным литературным отрывкам, проведя детство в украинской деревне, а юность — в Киеве и отчасти Владикавказе, где видал лишь издалека великорусского рабочего в образе мостовщика, обутого в лапти, укрывавшего свое тело в звериные шкуры и спавшего в часы отдыха на собственными руками сооруженной булыжной мостовой, или

же в составе артелей плотников, каменщиков и маляров, поражавших своею геркулесовскою трудоспособностью и аскетическим уровнем своих жизненных потребностей.

Рядом с ознакомлением моим с русской эмигрантской литературой, шло у меня, как уже сказано, изучение французской и немецкой экономической литературы. С особенной энергией налег я немедленно на чтение и изучение первого тома «Капитала» К. Маркса, в России тогда еще почти неизвестного, так как русский перевод этого капитального труда в то время еще подготовлялся с большими потугами и перерывами сначала Бакуниным, затем Лопатиным и, наконец, Даниэльсоном. Глубоко научный анализ экономического строя в капиталистическом обществе, произведенный Марксом в его основном сочинении, и гениальное учение о «прибавочной стоимости» явились для меня точно так же настоящими откровениями, так как показали, что коренная причина неравенства экономического благосостояния различных классов населения заключается вовсе не в несправедливом «распределении» изготовленных экономических благ, а в «организации» самого процесса их изготовления, при котором полученная в этом процессе «прибавочная стоимость», совершено «легально» с точки зрения римского права, унаследованного современными государствами, и совершенно «справедливо» — с точки зрения буржуазной морали, достается на долю капиталиста и землевладельца, чудодейственным образом ускользая из рук трудившегося рабочего. Только после ознакомления с учением Маркса я стал настоящим сознательным социалистом, тогда как до этого, начиная с университетских годов, я был лишь бессознательным социалистом, горячо сочувствующим обездоленному положению угнетенных и обиженных судьбою низших классов населения, но неясно и даже неверно понимающим причины такого угнетения, а в буржуазной формуле: «свобода, равенство и братство» признававшим лучшую панацею для искоренения всех социальных несовершенств.

Помню, что еще через месяц или полтора после моего водворения в Цюрихе на вопрос профессора политической экономии в Цюрихском университете д-ра Бёмерта — какою отраслью политической экономии я наиболее интересуюсь? — я наивно ответил ему: «Отделом распределения»; через месяц или два после этого я не дал бы ему такого наивного ответа.

Материалистом в области религии я стал уже давно. Объясняю я это тем, что в детстве случайно избег гипноза внедрения в мою психику нравственных сентенций и мистических легенд древнего еврейства. Набожная мать моя умерла, когда мне не

было еще пяти лет; отец, умерший, когда мне минуло десять лет, был, кажется, безразличен в религиозном отношении, а мачеха, под руководство которой мы, дети, подпали немедленно после смерти матери, была немка, лютеранка, заботилась больше о нашем знании французского и немецкого языков, чем о соблюдении церковных обрядов, тем более, что наша приходская церковь находилась более чем в 10 верстах от нас. Помню, еще тринадцати лет, в третьем классе гимназии, перед одним из экзаменов, опасаясь вынуть неудачный билет, я еще молился богу, прося его чудесного вмешательства в мой экзамен, и хотя он милостиво удовлетворил эту просьбу, но я, неблагодарный, на следующий год, т.-е., имея неполных четырнадцать лет, во время «говения» в гимназии, выйдя из церкви после принятия причастия, на замечание товарищей, что теперь нельзя плеваться, чтобы не выплюнуть только-что воспринятой части тела Христова, в доказательство нелепости такого суждения, к ужасу товарищей, подошел к перилам лестницы, громко харкнул и плюнул в пролет лестницы. Насильственное внедрение официальной обрядности в гимназии и отчасти в университете производило на меня отрицательное действие; я на всю жизнь возненавидел попов, без крайней необходимости, напр., при венчаниях и похоронах, никогда даже не входил в церкви и всюду явно демонстрировал свое отрицательное отношение к религии и ее обрядам.

Под давлением благосклонных отзывов нашей либеральной (не радикальной) печати о благодеяниях «великих» реформ первых годов царствования императора Александра II я по окончании Киевского университета в 1868 году наивно и твердо верил в действительность государственного воздействия на укрепление в стране духа правды и справедливости и насаждения в народе благоденствия и просвещения, и потому, совершив трехмесячное просветительное путешествие по Западной Европе, поступил на службу в Киеве в звании кандидата на судебные должности и через три месяца по поступлении на службу, едва ознакомившись с формальным видом деловых бумаг, получил назначение исправлять должность следователя в вакантных участках г. Киева. За два года этой службы я убедился, что попал в такую же клоаку самодуров, невежд, взяточников и укрывателей преступлений, как те, которые изображены Гоголем в его бессмертных «Мертвых душах» и «Ревизоре». В заключение указом уголовной палаты я был отстранен от ведения следствия по делу о самоубийстве квартального надзирателя, побитого пьяным полицеймейстером Борисом Яковлевичем фон-Гюббенетом (отцом ар-

тистки Яворской), так как мне удалось заблаговременно захватить и спасти от сокрытия посмертную записку самоубийцы, которую пытался скрыть полицейский пристав. Предполагая, что окружавшие меня в Киеве безобразия объясняются тем, что там не были еще введены в действие новые судебные уставы, изданные при Александре II, я перевелся на службу на Кавказ, на должность судебного следователя при вновь открывшемся окружном суде во Владикавказе, предполагая лучшие порядки в суде, учрежденном по новым, как я думал, чуть ли не идеальным судебным уставам, особенно при председателе Коломийцеве, уроженце Киева и питомце родного университета, известного там по своим высоким душевным качествам и уму. Напрасны были мои мечты. За исключением двух-трех симпатичных товарищей, тоже питомцев Киевского университета, почти весь остальной состав моих новых сослуживцев отличался от покинутых мною в Киеве только еще меньшей интеллигентностью и большей развязностью в проявлении своих антисоциальных качеств. Чуть ли не с первого дня моего приезда на Кавказ я вошел в острый конфликт с прокурорским надзором. Полтора года я горел огненным пламенем в борьбе с прокурором и судом, против меня возбуждено было судом административное преследование, прекращенное Тифлисской судебной палатой под председательством известного своим прогрессивным направлением сенатора Егора Павловича Старицкого, с выговором Владикавказскому окружному суду за лицеприятное возбуждение этого дела. Борьба эта меня довела до того, что я заболел. По медицинскому свидетельству моя болезнь названа тифоидальной крупозной плевропневмонией. Долго лежал я при смерти, а встав с постели, получил двухмесячный отпуск за границу для восстановления сил. Но я решил на Кавказ больше не возвращаться, а из-за границы послал сначала из Львова медицинское свидетельство с просьбой о продлении отпуска еще на два месяца, а затем из Цюриха свидетельство известного доктора Федора Федоровича Эрисмана с просьбой о полной отставке. Главное управление кавказского наместничества не вняло однако моей последней просьбе и уволило меня без прошения «за неявку на службу из отпуска». Хотя это увольнение и было незаконным и меня опорачивающим как чиновника, но так как я об этом узнал по прошествии долгого времени и не думал вновь поступать на царскую службу, то я его оставил без оспаривания. Я решил покончить со службой и посвятить себя научной карьере, для чего остаться несколько лет за границей, где пополнить в германских университетах свои знания по экономике, финансам и

вообще по социологии. С этой целью я посетил сначала Гейдельберг, затем Лейпциг и окончательно остановился на Цюрихе.

Но прежде чем я перейду к описанию событий, свидетелем которых я был в Цюрихе, я считаю небесполезным остановиться еще на двух моментах моей духовной жизни, предшествовавших моему выезду за границу.

В то время, когда я из Киева переносил свою деятельность на Кавказ, в Западной Европе свирепствовала так называемая франко-германская война 1870—71 годов. Меня страшно волновали картины массакрирования и калечения десятков и даже сотен тысяч ни в чем неповинных людей, насильственно отрываемых от их домашних очагов и производительного труда во имя нелепых целей, измышляемых праздными политиканами и спекулянтами. Я задавался мыслью, что можно ведь путем здравого слова остановить эти нелепые злодейства, противные здравому смыслу, естественной гуманности и экономическим интересам человечества, если против этого не смогла или не пожелала восстать религия в лице своих служителей, являющаяся часто даже подстрекательницей самых гнусных злодейств. И вот я наивно задумал заняться составлением труда (монографии, или исследования, или воззвания) против нелепостей войны в наш провозглашаемый гуманным век. И действительно, я начал в свободное от службы время собирать материалы для этого труда: разные статистические данные, изречения мудрецов-миротворцев и т. п. Конечно, во Владикавказе, где не было ни одной общественной библиотеки, кроме жалких разрозненных коллекций в клубе, при полках и школах, трудно было заняться каким бы то ни было умственным трудом, и из моих фантастических замыслов ничего не вышло.

Другая идея захватила меня в последние месяцы моего пребывания во Владикавказе до моей болезни. Я ознакомился с «Историческими письмами» Миртова, печатавшимися в «Неделе»[6], и они произвели на меня глубокое впечатление, перевернувшее все мое мировоззрение. До Миртова я рассматривал современный общественный строй, как более или менее нормальный, создавшийся постепенно из естественных условий исторической жизни человечества и страдающий от единичных отступлений и болезненных наростов нормальной правовой жизни, как война, преступления против уголовного кодекса, неправосудие, взяточничество, казнокрадство и т. д. Не против коренных основ современных порядков я считал себя обязанным восставать и вооружаться, а против болезненных на них наростов. Чтение

«Писем» Миртова убедило меня, что при современной организации общества, при случайности рождения и других обстоятельствах, независимых от воли единиц, члены общества фатально распределяются на две неравные группы, из которых одна, в сравнительно ничтожном числе, поставлена в привилегированное положение и может пользоваться за счет другой группы всеми благами жизни, а вторая, в составе огромного большинства, обречена на вечную нужду и непосильную работу на благо ничтожной кучки привилегированных. Миртов красноречиво доказывал бесконечные размеры того неоплатного долга, который тяготеет на совести привилегированной кучки перед миллионами тружеников как современного, так и предыдущих поколений, своим хребтом создавших и поддерживающих всю нынешнюю блестящую цивилизацию, благами которой они лишены возможности пользоваться. Я был ослеплен этими новыми для меня концепциями и чувствовал себя на положении так в свое время осмеянного «кающегося дворянина». Состояние моей души лучше всего определяется моим письмом к другу и товарищу моих гимназических лет Владимиру Степановичу Шубе, по болезни отставшему от меня в окончании университета. Я его убеждал последовать словам «учителя»: «Возьми крест свой и гряди по мне». Скептик и юморист Шуба, душою предавшийся учению эпикурейцев, ядовито отвечал: «Я готов итти по стопам учителя, но не по дороге в Сольвычегодск».

С этим-то багажем, вывезенным мною из России, я горячо принялся за ознакомление с социалистической литературой, бывшей мне недоступной на родине.

Все изложенные здесь религиозные, философские и моральные переживания моих детских и юношеских лет я старался описать возможно объективнее, отрешившись как от современных своих взглядов, так и от тех, которые несомненно ложились на мой интеллект в различные этапы моей долгой и разнообразной духовной жизни. Я очень хорошо понимаю, как трудно восстановить в полной точности подобного рода рассуждения, в особенности по прошествии 50, 60 и даже 70 лет. Могу лишь ручаться, что в существенном я не допустил никаких отступлений от истины, тем более, что почти всюду я, в подтверждение верности своих воспоминаний, ссылался на факты и события. Между тем эти отступления в далекое прошлое, эти, так сказать, геологические раскопки в наслоениях, отлагавшихся на моей умственной и моральной личности, крайне необходимы для уразумения моего последующего поведения, описываемого в настоящих воспоминаниях.

После этих отступлений возвращаюсь к последовательному повествованию о моих цюрихских наблюдениях, впечатлениях и поступках.

II

Раньше уже я указал, что под влиянием чтения Герцена у меня радикально изменился взгляд на блага западно-европейской буржуазной культуры, а первоначальное ознакомление с экономическим учением К. Маркса дало мне новый, не только этический, но и строго научный фундамент под мои социалистические убеждения.

Пока таким образом формировались мои новые взгляды, прошли учебные осенние вакации, и в университете открылся осенний семестр. Согласно составленному раньше плану моих занятий, я записался вольнослушателем у трех профессоров: у проф. Бёмерта — на лекции по политической экономии и на практические занятия в семинарии, открытом при его кафедре; у проф. Густава Фогта, родного брата популярного у нас в России женевского профессора Карла Фогта, — на лекции по философии или энциклопедии права, точно теперь уже не помню; и у проф. Иоганна Шерра, остроумного и популярного автора многих книг, частью переведенных с цензурными сокращениями в России, — на лекции по истории XIX века. Однако опыт пополнения моего университетского образования при содействии цюрихских профессоров оказался неудачен, и я через две-три недели совсем перестал ходить на избранные лекции. Проф. Бёмерт оказался банальным, хотя и довольно красноречивым последователем манчестерской школы фритредеров, повторявшим хорошо мне знакомые еще в России благоглупости французских представителей школы гармонии интересов в буржуазном строе и невмешательства государства в экономические взаимоотношения между «свободными» контрагентами; Густав Фогт, сколько помню, нудно и бесцветно тянул свои лекции, предмет которых даже не сохранился в моей памяти; а доктор Шерр, напротив того, оказался уже чересчур остроумным и занимательным в своих разоблачениях исторических анекдотов, подчас, кажется, сомнительной достоверности; но я недолго в состоянии был выносить его отталкивающий немецкий «шовинизм», мало гармонировавший с положением политического изгнанника, и нестерпимое «французоедство», как отрыжку недавних немецких побед в войне 1870—71 гг. [7]. Несколько дольше протянул я посещения бёмертовского семинария, где подчас разгорались интересные турниры между профессором и его более или менее начитанными

слушателями. К сожалению, немецкий язык известен мне был лишь настолько, что я мог без труда поддерживать обычный обывательский разговор и почти без помощи словаря мог читать научные сочинения, но недостаточно был напрактикован в этом языке, чтобы вести беседы, а тем более горячие споры по сложным научным вопросам. А между тем среди участников семинария я был единственный русский и притом несколько уже вкусивший от плодов науки, благодаря чему ко мне нередко и сам профессор, и его слушатели обращались с просьбами осветить предмет беседы с точки зрения условий русской жизни, во многих отношениях отличной от немецкой.

В кратковременный период хождений на университетские лекции мои домашние занятия по политической экономии и социалистической литературе не прекращались. Еще до начала семестра в них принял живое участие один русский студент Дмитрий Иванович Рихтер, с которым я познакомился в русской читальне чуть ли не в первый день моего приезда в Цюрих. Интимная, сердечная и бескорыстная моя дружба с ним началась с первых дней нашего знакомства и продолжалась без перерыва почти целое полустолетие — с 1872 года по 1919 год, до его смерти, причем за все это время не было у меня с ним не только ссоры, но даже ни одной случайной размолвки, несмотря на то, что изредка случалось мне горячо спорить по случайным частным разногласиям. Это был человек удивительной доброты и сердечности, вносивший всюду с собой элемент доброжелательности, хотя и приходивший быстро в крайний азарт и возмущение при встрече со всякой житейской неправдой и несправедливостью. Это был тогда молодой юноша, лет 22—23. Он был блондин, небольшого и даже, вернее, малого роста, несколько сутулый, что еще больше понижало его рост, с длинными, тонкими светлыми волосами, всегда содержимыми в беспорядке. При своей необычайной скромности он не выдвигался на первый взгляд из толпы, и только более тесное знакомство с ним и с его трудами обличало в нем человека недюжинного. Впоследствии он стал известен как сведующий статистик, инициатор и затем, по смерти В. И. Покровского, председатель Статистической комиссии Вольного экономического общества. Как сведующий в русской географии, он редактировал отдел русской географии в Энциклопедическом словаре Эфрона после смерти А. И. Воейкова. Сын обрусевшего немецкого купца в Москве и русской уроженки г. Зарайска, Дмитрий Иванович в раннем детстве потерял отца, который оставил ему в наследство прекрасное знание немецкого языка, чисто немецкую добросо-

вестность и трудоспособность и, кроме того, небольшой капитал, достаточный для окончания образования и безбедного скромного существования в будущем. Окончив гимназию в Москве, Рихтер переехал в Петербург и поступил в Институт инженеров путей сообщения, где его постигла первая неудача в жизни. При переходе с I курса на II, или же со II на III, он заболел тифом, не мог окончить переходных экзаменов и должен был остаться на второй год на том же курсе. Не желая терять года и повторять уже пройденное, он решил уехать за границу, где надеялся встретить большую свободу учения. Из Западной Европы юная фантазия перенесла его в Северную Америку, в Нью-Йорк; вскоре, однако, по приезде в Нью-Йорк он получил из Москвы поразившее его известие, что назначенный ему еще отцом опекун и попечитель, московский купец Цубербиллер, обанкротился и при своем крушении повлек к погибели и наследственный капитал своего питомца, вложенный в дело. Оставшиеся у него после этой катастрофы крохи оказались недостаточными для жизни в Америке, и он вынужден был вернуться в Европу.

Возвратившись из Америки, Рихтер один семестр провел, кажется, в Гейдельберге, а затем переехал в Цюрих, который в то время привлекал к себе всю русскую молодежь. Зная в совершенстве немецкий язык, Рихтер вскоре свел знакомство с передовыми кружками среди цюрихских рабочих и даже поступил членом в местный социал-демократический рабочий союз Грютли (Grütli) [8], причем близко подружился (на «ты») с секретарем союза и редактором его органа Tagwacht, известным деятелем Грейлихом (Greulich). В качестве единственного русского в этом союзе он был избран, между прочим, в члены суда над польским эмигрантом Стемпковским, обвинявшимся в выдаче Нечаева швейцарским властям [9]. Как известно, суд, выслушав ряд очевидцев ареста Нечаева, признал, что подкупленный русским правительством Стемпковский, вызвав бывшего своего друга Нечаева, скрывавшегося под чужой фамилией в Цюрихе, для переговоров о какой-то работе в одну загородную пивную, выдал там его полицейской засаде. Суд признал Стемпковского злостным предателем и изменником своей партии и постановил опубликовать в партийных газетах свое решение, вместе с протоколами суда, и исключить его из всех организаций, в которых он состоял членом, после чего Стемпковский исчез с политического горизонта. Самому Рихтеру, впрочем, участие в суде не прошло даром. Вскоре после процесса, уже тогда, когда я познакомился с ним, Рихтер случайно очутился однажды на улице свидетелем и очевидцем какого-то пьяного дебоша; полиция, арестовывая буянов,

схватила и его, как будто бы участника происшествия, несмотря на его протесты; так как он при этом, защищаясь от насилия, поломал на спинах полицейских бывший у него в руках дождевой зонтик, то его грубо связали и бросили в темный подвал с каменным полом, загрязненным нечистотами, где он и провел всю ночь. Будь это происшествие в России, Рихтеру не избежать было бы многолетней каторги за «вооруженное» сопротивление властям. В демократическом же Цюрихе дело кончилось тем, что благодаря заступничеству редактора влиятельной газеты Грейлиха его на другой день освободили с извинениями. Рихтер мне показывал изломанный им зонтик, и это происшествие свидетельствует, что при внешней скромности Рихтера он умел энергично отстаивать свои права и свою личность в случаях крайней необходимости.

С Рихтером я подружился в первые же дни моего пребывания в Цюрихе. Взаимные симпатии как-то сблизили нас, а, странно сказать, простая китайская травка на чужбине, скрепила эту связь. Д. И. Рихтер, как коренной москвич, был страстным поклоником чая, и эту страсть сохранил до старости, когда, напр., в заседаниях Вольного экономического общества, где он последние чуть ли не 10 лет занимал почетную должность выборного казначея общества, или же в заседаниях Статистической комиссии этого же общества, где он с ее основания состоял товарищем председателя, а затем председателем, он до глубокой ночи засиживался, поглощая этот китайский напиток стакан за стаканом, усердно подносимыми курьерами общества, любовшими его за ласковое обращение и всегдашнее предстательство об их нуждах и интересах. При этом чай он пил не крепкий и без всяких приправ, даже вовсе без сахару, точно настоящий китаец.

И вот этот любимый им напиток послужил, как я сказал, неожиданным орудием спайки в нашей дружбе. У меня оказались принадлежности для изготовления чая, т.-е. два чайника и спиртовая лампочка для кипячения воды. Когда первый раз Рихтер зашел вечером ко мне, я заварил чай, и мы в разговорах за напитком, постоянно подогреваемым на спиртовой лампе, приятно провели несколько часов, а затем эти симпатичные tea-parties стали все чаще и чаще повторяться, вошли у нас в обычай и стали сопровождаться совместным чтением занимавших нас обоих в тогдашнее время книг и статей. Мы набросились с жадностью на иностранную литературу по экономическим и социальным вопросам. Он в совершенстве знал немецкий язык и истолковывал не всегда для меня вразумительные фразы немецких туманных изречений; я же, со своей стороны, был более

искусен в дешифрировании французской цветистой фразеологии и оказывал ему ту же услугу при чтении французских книг.

Помню, как теперь, как мы горячо увлекались чтением сочинений Фурье. Чуть ли не до утренней зари засиживались мы, рисуя себе фантастические картины будущего социалистического строя, и спорили о том, доживет ли кто-либо из нас до того времени, когда въявь осуществятся соблазнительные картины вещего сна Веры Павловны из романа «Что делать?»... Мы, конечно, не разделяли натянутых аналогий и слишком смелых обобщений, коими увлекшийся своей идеей утопического общественного строя Фурье подкреплял свои умозрительные построения. Мы любовались прелестью увлекательной картины, рисовавшейся в нашем воображении, а относительно условий, при которых этот «земной рай» может осуществиться наяву, мы, кажется, больше полагались на то, что все в свое время «образуется».

Впрочем, не знаю, как думал об этом мой тогдашний товарищ наших задушевных бесед, но о себе могу сказать, что и тогда я искал разрешения проблемы не в одних фурьеристских attractions passionnelles и не в надеждах на филантропию миллионеров. Я и тогда сознавал, что разрешение социальной проблемы будущего и осуществление идеалов человечества лежит не столько в проповедях и пропаганде миссионеров человеколюбия и справедливости, не столько в зародившейся уже тогда идее о борьбе классов, сколько в прозаических успехах техники. Я верил в прогресс человечества, и не в смысле какого-либо метафизического закона поступательного движения в природе вообще, так как, будучи уже и тогда поклонником положительной философии О. Конта, я презирал метафизику и не верил в благожелательность какого-либо всемогущего «провидения». Но я наблюдал факты и видел колоссальную разницу, с точки зрения моих личных желаний и вкусов, между состоянием первобытного человечества, в котором и теперь еще обретаются натуральные племена, и состоянием народов, положим, в средние века, а затем между этим последним и современным мне европейским обществом, и эти различия главным, если даже не исключительным, образом заключались в успехах науки и ее приложении к технике, вооружающей человека в его борьбе с силами природы, и в их завоевании. По законам механики раз начавшееся движение при тех же условиях должно, в общем, итти по первоначальному направлению с прогрессивно увеличивающеюся и ускоренною силою. Глядя на громадные успехи науки и техники, достигнутые в первой половине и в начале второй половины XIX века, я не сомне-

вался в еще более колоссальных их успехах в ближайшем будущем и верил в близость времени, когда человек, вооруженный своим умом, совершено покорит силы внешней природы, станет действительным царем природы и заставит их покориться его воле и покорно работать на него, оставляя себе лишь роль руководителя, направляющего их к собственному своему благополучию. Только тогда возможно будет осуществление идеального социального строя без презумпции рабства, как у Платона, без предположения о предоставлении исполнения черных работ преступниками, как у Томаса Мора, так как тогда будут отсутствовать условия для образования преступников.

Труд вовсе не проклятие рода человеческого, а естественная потребность его организма. Приговор: «в поте лица добывай свой хлеб», произнесенный еврейским богом в грехе рожденным поколениям Адама, есть не более, как измышление невежественных и злых вероучителей, создавших своего бога «по своему образу и подобию», т. е. злым, мстительным и несправедливым. Каждый орган человеческого тела нуждается в соответственной умеренной работе и при ее отсутствии или недостатке чахнет и атрофируется. Поэтому соответственная умеренная работа не только не тягостна и вредна, но, напротив того, полезна для организма и доставляет человеку истинное наслаждение. Не даром столь практические индивидуалисты, как англичане, столь высоко ставят все виды спорта, а великие художники, ученые, изобретатели и путешественники не покидают своих работ, несмотря на полное свое материальное обеспечение. Только труд тяжелый, непосильный, подневольный и несоответствующий органическим, телесным и моральным склонностям трудящегося, составляет проклятие, но не рода человеческого, а несовершенства его строя.

Так или приблизительно так рассуждал я и мечтал, просиживая осенние теплые ночи у маленькой керосиновой лампочки, под открытым окном, в которое заглядывало грушевое дерево с его золотистыми, сочными, аппетитными плодами, в своей уютной комнатке, среди поэтической обстановки, на Blumengasse, в Цюрихе, в конце 1872 года.

III

Мои занятия в области политической экономии и социальных учений шли очень интенсивно лишь в первые месяцы моего пребывания в Цюрихе, изредка лишь прерываясь сначала — рассказанной уже неудачной моей попыткой почерпнуть знания

в кладезе университетской науки, а затем — некоторыми экскурсиями в другие области, о чем будет сказано в своем месте. Но по прошествии пяти-шести месяцев усиленных умственных занятий они постепенно отходили на второй план по мере моего вмешательства в общественные дела русской колонии, а затем, с приездом в Цюрих весною 1873 года моей младшей сестры Ольги вместе с ее матерью, а моей мачехой, почти совсем прекратились, так кая я вплотную занялся образованием и развитием сестры, молодой девушки 17-18 лет, только-что закончившей свое скудное образование в киевской женской гимназии.

Цюрихская колония русских студентов и студенток, в состав которой я вошел лишь постепенно, представляла собою явление совершенно исключительное и крайне оригинальное. К сожалению, в литературе я не нашел более или менее правдивого и беспристрастного ее описания. Публицист со Страстного бульвара Незлобин-Дьяков дал исполненный по заказу талантливо написанный в беллетристической форме клеветнический пасквиль, изобразив жизнь русских студентов и в особенности студенток как сплошную оргию всевозможных нравственных безобразий [10]. Бывший бакунист Земфирий Ралли-Арборе, в статье «Из моих воспоминаний о М. А. Бакунине», напечатанной в сборнике «О минувшем» за 1909 год, коснулся многих эпизодов тогдашней жизни этой колонии, но, задавшись целью обелить действия тогдашней группы «бакунистов», изложил события односторонне и далеко неполно. О степени его беспристрастия можно судить по тому, что кровавое избиение здоровяком «подполковником» Соколовым тщедушного и чахоточного Смирнова он просто назвал «оскорблением действием». Русская колония в Цюрихе сыграла столь выдающуюся роль как в истории нашего революционного движения, так и в истории женского образования и женской эмансипации, что нуждается в более правдивом и подробном изображении. Считаю своим нравственным долгом, по мере сил и умения, пополнить этот непозволительный пробел. Обладая не особенно острою памятью, я тем не менее, несмотря на протекшее с того времени полустолетие, могу ручаться, что эта память мне в данном случае не изменит, так как исключительные события того периода моей жизни слишком ярко запечатлелись в моем мозгу, и я слишком часто вспоминал различные эпизоды этой жизни впоследствии. Могу также ручаться и за беспристрастие, так как намерен правдиво изложить и свое поведение в некоторых эпизодах, которое я тогда же, по успокоении страстей, осуждал более строго, чем поведение других. Жалею лишь, что не обладаю надлежащим художественным дарова-

нием, чтобы с достаточной выпуклостью и ясностью изобразить словами те яркие образы, которые запечатлелись в моей памяти.

В состав этой колонии в период наибольшего ее процветания входило, наверное, не менее 300 душ, считая с чадами и домочадцами, мужчин и женщин, молодых, стариков и детей, так как в числе их были и семейные. Во главу угла здесь, конечно, прежде всего надо поставить эмигрантов, присутствие которых в Цюрихе, вероятно, и было притягательным центром для первого состава студентов и студенток, направивших свои стопы к Цюриху, за которыми по чувству стадности потянулись и другие, не исключая в том числе, разумеется, и меня, потянувшегося туда же, после неудовлетворивших меня посещений двух германских университетских городов — Гейдельберга и Лейпцига.

Среди эмигрантов — головой возвышавшиеся, и физически, и умственно, над другими два гиганта русской революции: вдохновенный «апостол всеобщего разрушения» Михаил Александрович Бакунин, гипнотически действовавший на толпу своими зажигательными речами, и еще более гениальный мыслитель и моралист Петр Лаврович Лавров, зажегший альтруистические чувства и дух самоотверженности в сердцах русской молодежи своими незабвенными «Историческими письмами». Оба они по два раза появлялись на цюрихском небосклоне, первый — для кратковременного посещения по своим революционным делам, второй — для обоснования в Цюрихе своего постоянного пребывания в качестве редактора революционного органа «Вперед!».

В круг бакунинской епархии входило несколько эмигрантов-бакунистов. Из них Росс, под именем которого скрывался Михаил Петрович Сажин, считавшийся другом и правою рукою Бакунина по его русскому департаменту, основатель цюрихской русской библиотеки и неизменный председатель общества, заведывавшего этой библиотекой до ее революционного разделения на две части. Рядом с Россом, в группе, его окружавшей, было еще три видных бакуниста, личных близких друга Бакунина, с которыми он был на «ты» и в общей квартире коих он останавливался в первый свой приезд в Цюрих; из них два были упомянутые уже мною сотоварищи Смирнова по пресловутому их побегу из России: Владимир Гольштейн и Александр Эльсниц, и третий — вышеназванный обличитель революционных приемов Бакунина — Земфирий Ралли. Был еще один бесцветный эмигрант-бакунист, скрывавший свое имя под псевдонимом Попова, известный среди товарищей своей будто-бы феноменальной силой и поразительной трудовой выносливостью, в которой мне лично пришлось

убедиться, как это будет рассказано дальше. В близких отношениях с бакунистами стоял также отставной подполковник русской армии, бывший сотрудник «Русского Слова» и автор конфискованной правительством книги «Отщепенцы», сыгравший печальную роль в последующим распрях, разгоревшихся вокруг русской библиотеки, — Соколов [11]. Кроме того, вокруг Росса группировалось еще некоторое число «бакунистов», мужчин и женщин. По воспоминаниям Сажина, их было до 35—40 душ, а по моим наблюдениям не более 17, включая вышепоименованных.

Из эмигрантов «диких», не входивших в бакунинскую партию, кроме упомянутого уже раньше секретаря библиотеки Валерьяна Николаевича Смирнова, могу назвать еще Александра Лонгиновича Линева, заведывавшего затем технической частью в типографии лавровского журнала «Вперед!» как в Цюрихе, так затем и в Лондоне [12], и Василия Александрова [13], переселившегося затем в Женеву или Лозанну и замешанного как-то в таинственную историю скоропостижной смерти сестры Писарева, Гребницкой [14], тоже бывшей в Цюрихе и переселившейся на берега Женевского озера. Оба эти эмигранта (Линев и Александров) были студентами одного из высших технических учебных заведений Петербурга и эмигрировали, кажется, после каких-то студенческих беспорядков.

Был еще один эмигрант — Турский [15], с которым мне не пришлось встречаться, так как он, еще до моего приезда в Цюрих или же вскоре после этого, выехал в Кларан или Монтрэ вместе со студенткой Рашевской, вскоре умершей там от туберкулеза. Эта Рашевская, говорят, обладала недюжинными музыкальными дарованиями и была популярна в Цюрихе, как автор распространенной и в России музыки на стихи Навроцкого об утесе Стеньки Разина:

Есть на Волге утес,
Диким мохом оброс...

Вслед за эмигрантами в особую группу можно включить профессоров высших учебных заведений в России, удостоивших Цюрих своим кратковременным или же и более или менее продолжительным посещением, вызванным, повидимому, тою же притягательною силою, которая собрала там такую массу молодежи. По странной случайности, Цюрих посещали в то время по преимуществу профессора Киевского университета. Впрочем, может быть, к такому заключению я пришел вследствие того,

что, как недавно, всего четыре года перед тем, окончивший Киевский университет, я был более или менее знаком с большинством профессоров этого университета и кратковременные наезды представителей других университетов остались мною незамеченными. Из числа же киевских профессоров упомяну прежде всего Михаила Петровича Драгоманова, которого, впрочем, можно было уже и тогда причислить к категории эмигрантов. Будучи профессором всеобщей истории в Киевском университете, Драгоманов за либеральный образ мыслей, за активное участие в киевской украинской «Громаде» и вообще за оппозиционное отношение к учебному начальству, был удален с занимаемой им кафедры всеобщей истории [16]. Формально он, впрочем, не числился в то время в составе эмиграции, так как блестящие его публицистические статьи печатались тогда еще за его собственной подписью, и даже в 1876—1877 гг. была в русском периодическом органе помещена за его подписью сильно оппозиционная статья по поводу вмешательства России в балканские дела, под заглавием «Чистое дело требует чистых рук» [17].

В Цюрихе при мне метеором дважды промелькнул осенью 1872 года, а затем весною 1873 года Григорий Матвеевич Цехановецкий, профессор политической экономии, перешедший тогда из Киева в Харьков. Это была очень светлая личность: когда в Харькове, во время его ректорства, вспыхнули было студенческие беспорядки, он, по рассказам очевидцев, вел себя с замечательным тактом, успешно защищал молодежь перед начальством и заслужил симпатии всего студенчества. Он был широко образован, очень сведущ и начитан в своей специальности и весьма красноречив на лекциях, и если не оставил серьезного следа в науке, то все же выпустил из своего семинария двух выдающихся экономистов: Василия Ивановича Касперова, к сожалению, рано и так позорно окончившего свою карьеру, что больно об этом вспомнить, и уже скончавшегося Михаила Ивановича Туган-Барановского, научные и общественные заслуги которого достаточно известны. Я был с Цехановецким очень дружен, всегда сердечно принят был в его семье и до конца дней своих сохраню добрую память об этом умном и благородном общественном деятеле.

В дружеских отношениях находился я также и с другим профессором Киевского университета, проживавшим тогда в Цюрихе довольно продолжительное время, известным русским криминалистом Александром Федоровичем Кистяковским. Избрав своей специальностью столь несимпатичную отрасль правоведения, как криминалистика, он сумел внести в нее элемент гуман-

ности. Два его известных исследования посвящены были борьбе против смертной казни и вопросу о борьбе с детскою преступностью посредством системы воспитания в специальных для этого заведениях, т.-е. по вопросу, который и меня занимал одно время и по которому я напечатал впоследствии небольшую брошюрку. В Цюрих он приехал с женою и двумя мальчиками сыновьями и прожил там чуть ли не два месяца. Поселился он в большом многоэтажном доме, сплошь населенном студентами, на улице Платте, неподалеку от моей квартиры. Хозяйка его пансиона кормила дешевыми обедами не только своих жильцов, но и посторонних, приходящих под условием предварительной записи. Я, не имея постоянного места для обеда, нередко приходил туда, чтобы обедать в его сообществе, и обыкновенно по окончании обеда заходил к Кистяковским на стакан русского чая, без самовара. впрочем, и мы с ним и его редкими гостями коротали время в сердечной беседе по животрепещущим общественным вопросам. Как он, так и профессор Цехановецкий многократно уговаривали меня избрать научную карьеру. После неудачных попыток посещения университетских лекций в Гейдельберге, Лейпциге и Цюрихе я уже изверился в осуществимости моей мечты об ученой карьере, и поэтому отвечал им, что, не думая в свое время при окончании университета посвятить себя науке и не мечтая о блестящей чиновничьей карьере, я не заботился об отметках на выпускном экзамене, благодаря чему у меня не вышло по этим отметкам надлежащей суммы, необходимой для кандидатского диплома, вследствие чего мне для научной карьеры пришлось бы вновь держать кандидатский экзамен по всем предметам университетского курса и вторично зубрить всякую дребедень, до «церковного законодательства» и «нравственного богословия» включительно, на что у меня мужества нехватило бы. Кистяковский возражал на это, что и он очутился в свое время в таком же положении, вынужденный для получения кафедры в Киевском университете вторично держать экзамен по всему факультетскому курсу. На это я ему отвечал, что он находился совсем в ином положении: он напечатал уже несколько монографий и статей по своему предмету и составил уже себе имя в науке, когда был приглашен на кафедру; кандидатский экзамен перед профессорами, пригласившими его в свою среду, был пустою формальностью.

Проживал в то время в Цюрихе и бывший профессор политической экономии того же Киевского университета Николай Иванович Зибер, выразивший своею отставкою из университета как бы протест против несправедливого увольнения Драгома-

нова[18]. Он жил в Цюрихе с женою, урожденною Шумовой, которая слушала лекции по медицинскому факультету и по окончании курса в Берне, овдовев, долгие годы занималась, под своей девичьей фамилией, выдающимися научными работами в Институте экспериментальной медицины на Аптекарском острове в Петербурге. С ними совместно жила и сестра ее, Шумова, также окончившая курс наук в Берне и впоследствии вышедшая замуж за профессора Петербургской военно-медицинской академии Симановского. Н. И. Зибер принимал некоторое участие во внутренних делах цюрихской колонии, и я его часто встречал в читальне, библиотеке и на собраниях по делам колонии. К нему мне придется еще не раз возвращаться в этих записках.

Случилось мне в Цюрихе однажды встретить также профессора римской литературы того же Киевского университета Модестова, которого я, впрочем, знал очень мало, а также киевского профессора всеобщей истории Ивана Васильевича Лучицкого, которого знал еще из гимназических времен и который занял в Киеве кафедру, освободившуюся после Драгоманова. В Цюрих он заезжал раз или два из Франции, где в то время работал в департаментских архивах, подготовляя выдающуюся работу по исследованию крестьянского вопроса во Франции в XVIII веке, работу, произведшую переворот во взглядах, господствовавших на этот предмет во французской научной литературе. Мне кажется, что И. В. Лучицкий принимал в то время некоторое участие в переговорах П. Л. Лаврова с кружком лиц, задумавших издавать за границей русский революционно-социалистический орган «Вперед!», причем его участие не имело успеха. К сожалению, эти переговоры остались вне поля моих наблюдений. Некоторые, признаюсь, весьма смутные представления об этих переговорах и об участии в них разных лиц, в том числе и о пресловутых трех программах П. Л. Лаврова, я составлял себе из многих разрозненных фактов. Несомненно и Лавров и Лучицкий, оба одновременно жили в Париже, оба они приезжали из Парижа в Цюрих, хотя, может быть, и не одновременно; П. Л. Лавров в своих воспоминаниях делал неопределенные, но весьма резкие намеки на какого-то «украинского общественного деятеля», не оправдавшего возлагавшихся на него надежд и не исполнившего данных им обещаний[19]; таким украинским деятелем могли быть Подолинский, Драгоманов или Лучицкий, но из них о Подолинском Лавров тут же отзывается с большою похвалою, Драгоманов не был тогда в Париже и занят был своими украинскими общественными делами настолько, что едва ли бы серьезно вмешался в сложное дело, да, наконец, и П. Л. Лавров

не решился бы так резко отозваться о Драгоманове, так что как-будто бы остается этим незнакомцем-украинцем один Лучицкий. С другой стороны, и И. В. Лучицкий в интимном разговоре при случайной нашей встрече в железнодорожном вагоне, по пути из Киева в Петербург в 1906 или 1907 году, делал некоторые неопределенные, но тем не менее резко неодобрительные отзывы о Лаврове и лицах, затевавших в 1872 году издание «Вперед!». Я очень желал в свое время выяснить эти неясные обстоятельства и вообще подробно ознакомиться с переговорами, предшествовавшими основанию в Цюрихе журнала «Вперед!». К сожалению, все лица, к которым я обращался с вопросами по этому предмету, по непонятной мне причине, под разными предлогами уклонялись от объяснений, пока они постепенно один за другими покончили свои дни, унеся в могилу свои тайны и мои сомнения, так что теперь немногие оставшиеся в живых очевидцы прошлых событий едва ли знают больше моего. Так и остался для меня невыясненным конфликт между отзывами Лучицкого и Лаврова (если в таинственном «украинце» Лаврова предполагать Лучицкого) друг о друге. Зная хорошо обоих, я уверен, что при удаче моих розысков они выяснили бы, что обе стороны действовали во всяком случае bona fide, и взаимные их резкие друг о друге отзывы могут быть объяснены исключительно лишь слишком субъективным отношением к кровно интересовавшим их событиям.

Из академических сфер других университетов, кроме Киевского, я помню только профессора Ивана Яковлевича Фойницкого, который посетил Цюрих еще в качестве стипендиата Петербургского университета по кафедре уголовного права. С ним я познакомился у Кистяковских, где встречал его несколько раз, причем об одной из этих встреч будет сказано дальше. Кроме того, помнится, в Цюрих наезжали еще два степендиата, кажется, Московского университета, и один из них — по кафедре философии, но с ними, кажется, я не знакомился и фамилии их не помню.

Особенно следует здесь отметить пребывание тогда в Цюрихе доктора Федора Федоровича Эрисмана, будущего профессора Московского университета по кафедре гигиены. По рекомендации В. Н. Смирнова, доктор Эрисман любезно снабдил меня медицинским свидетельством, которое я отправил во Владикавказский окружной суд с просьбой об отставке по болезни. Надо сказать, что, несмотря на это медицинское свидетельство и на другое, отправленное мною из Львова (в Галиции) с просьбой об отсрочке моего отпуска на два месяца, я был уволен в отставку «без прошения» за неявку в срок из отпуска, отомстив

мне этим незаконным распоряжением за причиненные мною ему неприятности. Доктора Эрисмана я счел себя в праве причислить к членам русской колонии, так как он, будучи уроженцем Швейцарии, по окончании Цюрихского университета, женившись на докторе медицины Сусловой, переехал в Россию, занимал кафедру гигиены в Московском университете и по поручению Московского земства производил статистико-санитарное описание фабрик и заводов Московской губернии. Будучи уволен русским правительством и выслан из России за либерализм, он затем временно приезжал в Россию в 1892 году на съезд врачей и земских статистиков в Москве, где мне удалось вновь встретиться с ним после двадцатилетнего промежутка и даже фигурировать вместе с ним на общей фотографической группе участников I съезда земских статистиков в Москве.

Наезжали в Цюрих временно или проживали более или менее продолжительное время и некоторые русские писатели и публицисты. О моей оригинальной встрече с Григорием Захаровичем Елисеевым я сообщу далее. Приезжала в Цюрих и, сколько помню, останавливалась прямо на квартире Смирнова и Идельсон при библиотеке Мария Константиновна Цебрикова. Проживал, кажется, довольно долго, проездом из Северной Америки в Россию, беллетрист Мачтет, тогда еще неизвестный молодой человек, бывший затем в ссылке в Сибири и, как и многие другие талантливые ссыльные, ставший потом, по возвращении из ссылки, симпатичным и популярным беллетристом [20]. Наконец, два, кажется, раза наезжал и проживал некоторое время, первый раз — с женою, соиздатель и соредактор Д. А. Коропчевского по выпуску в Петербурге научно-популярного журнала «Знание», Исидор Альбертович Гольдсмит; целью его приездов были, повидимому, переговоры с П. Л. Лавровым о сотрудничестве последнего в «Знании» [21], о печатании отдельных трудов Лаврова, между прочим, «Введения в историю мысли», и о порядке сношений редакции с автором в условиях недосягаемости для русской тайной полиции.

Остальная масса русских временных жителей Цюриха состояла преимущественно из студентов университета и политехникума, из студенток и из небольшого числа лиц, более или менее с ними связанных, которых можно заключить под общую скобку представителей русской интеллигенции вообще. Могу здесь вспомнить наиболее выдающихся из всей этой категории лиц или по своей деятельности в Цюрихе, или же по обстоятельствам дальнейшей их судьбы.

Между мужчинами наиболее выдающеюся личностью был Сергей Андреевич Подолинский, сын в свое время довольно известного поэта Пушкинской плеяды и состоятельного землевладельца Киевской губернии. Среднего роста, хорошо сложенный и даже, можно сказать, коренастый, но подвижный, довольно темный блондин, с легким пушком на бороде и щеках, с открытыми светлыми и умными глазами, он привлекал к себе людей уже одною своею приветливою внешностью и оживленным темпераментом. Окончив блестяще Киевский университет по естественному факультету и располагая весьма достаточными личными средствами, он выехал за границу с целью продолжать занятия по медицинскому факультету. В Париже он познакомился с Лавровым, а в Цюрихе подружился с Смирновым и Идельсон и стал энергичным участником переговоров этих лиц с представителями интеллигентного кружка молодежи в Петербурге, задумавшего предпринять и поддерживать издание за границей революционно-социалистического органа. Судя по воспоминаниям Лаврова, благодаря лишь энергичному участию Подолинского в этих переговорах и личной его материальной поддержке, задуманное весьма сложное и требовавшее затраты крупных сил и больших материальных средств предприятие могло осуществиться [22]. В Цюрихе Подолинский вел очень оживленный образ жизни, участвовал в организации журнала «Вперед!» и в составлении статей для первого его тома, посещал почти ежедневно читальню русской библиотеки, принимал живое участие во всех общественных делах русской колонии, посещая заседания кружков и общие собрания, всегда произнося на них горячие речи, иногда исполняя трудную роль председателя в этих многолюдных, возбужденных страстями собраниях и участвуя даже, вследствие молодого увлечения, в таких предприятиях, о которых впоследствии, по наступлении успокоения, подобно мне самому, он не мог искренно не сожалеть.

После рассеяния цюрихской русской колонии вследствие правительственного сообщения в апреле 1873 г. [23], Подолинский переселился в Париж, получил там диплом доктора медицины, женился на дочери полтавского землевладельца Андреевой и жил некоторое время в Монпелье, где, кажется, читал какие-то лекции. В 1880 году он поместил в журнале «Слово» очень интересную статью «Труд человека и его отношение к энергии», в которой пытался положить основы новой, совершенно оригинальной теории труда, как экономической категории, рассматриваемой под углом естественно-научных процессов. К сожалению, продолжение его интересных научных трудов в этом направлении

не могло состояться, и вообще вся научная карьера этого умного и начитанного экономиста-естественника трагически оборвалась: Подолинский сошел с ума; некоторые предполагали—вследствие неблагоприятно сложившихся условий его семейной жизни, а другие, давая более вероятную версию, утверждали, что он душевно заболел под давлением упреков в смерти своей любимой малолетней дочери, вследствие неправильного его диагноза, составленного им без совета с другими врачами, и неправильного ее лечения. Подолинского сначала поместили в психиатрическую лечебницу в Париже. Затем, когда выяснилась безнадежность его положения, родная мать его, испросив у правительства разрешение на беспрепятственное возвращение ее больного сына в Россию, поместила его в собственном их доме в Киеве, по Институтской улице, где медленно, в состоянии полного слабоумия, угасала эта светлая личность, столь много обещавшая и отечеству, и науке. Замечательно, что точно такая же судьба постигла и другого молодого ученого, подававшего самые радужные надежды в будущем, с которым я, вместе с Подолинским, делил многие счастливые часы в беседах по экономическим и социальным вопросам на улице Платте, — Н. И. Зибера, который также сошел с ума, привезен женою в безнадежном болезненном состоянии на родину, в Ялту, и там медленно угасал в полной физической и моральной прострации в доме сестры, содержавшей в Ялте библиотеку для чтения.

Из других более или менее молодых людей, выдвигавшихся из общей массы по более деятельному участию в делах колонии, считаю необходимым упомянуть следующих:

Ф и л и п п о в, муж Веры Николаевны Фигнер, с которым она впоследствии формально развелась, чтобы не втягивать его в опасные перипетии своей рискованной революционной деятельности, был в Казани судебным следователем. Страстно влюбленный в свою красавицу-жену, он не мог сопротивляться ее настойчивому стремлению ехать за границу учиться медицине и, не желая расстаться с нею, вышел в отставку и последовал за нею в Цюрих. Здесь он принимал живое участие в общественной сутолоке и, хотя и не пользовался симпатиями наиболее экспансивных элементов, как сторонник умеренных политических взглядов, но тем не менее, вследствие своей сдержанности и тактичности, случалось, избирался даже в председатели или секретари общих собраний колонии. Вернувшись в 1873 году в Россию, он вновь поступил на службу по судебному ведомству и, преуспевая в карьере на этом поприще, достиг к началу XX века важного поста председателя Самарского окружного суда. Бывая затем не

раз в Самаре, я соблазнялся было посетить его, чтобы посмотреть, каков он стал в роли судебного Юпитера-Громовержца, но не решился на свидание, не будучи уверен, как он примет непрошенный визит бывшего участника и очевидца его былых юношеских «шалостей».

В высшей степени симпатичной фигурой являлся князь Александр Алексеевич Кропоткин, родной брат известного революционера-анархиста Петра Алексеевича Кропоткина. Чрезвычайно сдержанный и корректный, он охотно выслушивался в собраниях, и спокойные и рассудительные речи его действовали успокоительно на самые разгоряченные головы. Его постоянно предлагали в председатели собраний, и ему, при мяги неприятной обязанности в разгоряченном страстями собрании. кости его характера, трудно бывало отвертеться от этой трудной Помню, как однажды, в ожидании особенно бурного заседания, я прогуливался с ним по улице вблизи места сборища в ожидании открытия собрания, желая избежать особенно тяжелой в данном случае председательской повинности. Он очень подружился с П. Л. Лавровым и охотно проводил многие часы в беседе с ним, так как, кроме революции и социализма, у них были еще и другие интересные для дискуссии темы из области математики и астрономии, коими Кропоткин специально занимался. По возвращении в Россию Кропоткин продолжал письменные дружеские сношения с Лавровым, и за письмо совершенно невинного содержания и, кажется, за фотографическую карточку Лаврова, пересланную без всякой конспирации по почте, Кропоткин был сослан административно в Минусинск, где и застрелился от угнетавшей его тоски. Револьвер, послуживший орудием его смерти, хранился как семейная реликвия у родственницы Кропоткина, Антонины Севастьяновны Святловской в Петербурге. По прошествии более 30 лет после смерти Кропоткина этот револьвер, без патронов и совершенно заржавленный и негодный к употреблению, во время обыска у ее сына был случайно усмотрен полицейским в вещах А. С. Святловской, обыску не подлежавших; тем не менее, по остроумной резолюции градоначальника, не помню — Дедюлина или Клейгельса, этот негодный револьвер был конфискован «в пользу казны», а Святловская оштрафована на 100 рублей за незаконное хранение «оружия». Святловская беспрекословно вынуждена была уплатить штраф, но безрезультатно требовала возврата ей револьвера, не как «оружия», для пользования явно негодного, а как семейной реликвии. Я пытался, через посредство одного довольно высокопоставленного администратора, повлиять на оригинальную логику

полицейского генерала; однако, эта логика оказалась твердокаменной и несокрушимой, и револьвер так и остался похороненным в архивных недрах полиции.

Доктор медицины Владимир Владимирович Святловский (отец) проживал в Цюрихе с женою Раисою Самойловною, изучавшею там медицину. Сыграв крайне некрасивую роль в столкновении Соколова и Смирнова, о чем речь будет далее, он, под давлением общественного негодования, вынужден был покинуть Цюрих. Вернувшись в Россию, он нигде не стяжал себе расположения лучшей части общества на всех разнообразных поприщах своей деятельности. Надо, однако, отдать ему справедливость, что в качестве фабричного инспектора в Харькове и Варшаве, старшего санитарного врача при управлении Минеральными водами в Пятигорске, исследователя кустарных промыслов Полтавской губернии, издателя медицинских книг в Петербурге, корреспондента и сотрудника «Нового Времени» А. С. Суворина и редактора «Приднепровского Края» в Екатеринославле, он всюду проявил в сильной степени свои знания, талант и трудоспособность.

В период наиболее острых несогласий и взаимной вражды, волновавших цюрихскую колонию, таинственно появилась и затем также исчезла еще одна оригинальная фигура, назвавшая себя псевдонимом «Журба» или «Щерба», но мне и немногим ближайшим к библиотеке лицам: Смирнову, Подолинскому и др. раскрывшая этот псевдоним, принятый им, по его словам, с целью, чтобы затем, по возвращении в Россию, его публичные выступления в Цюрихе не вызвали неприятных для него конфликтов с царской полицией. Настоящее его имя было Владимир Сергеевич Щербачев. Подобно Рихтеру и Мачтету, он завернул в Цюрих по пути из Северной Америки в Россию. Лет ему было около 35 и, следовательно, к числу учащихся причислен он быть не мог, а других целей или задач он так и не выяснил. Но я его часто затем встречал в России и близко знаком был с ним и его семьей, так что могу ручаться в благонамеренности его пребывания в Цюрихе. Приехал он в Цюрих с женою и годовалым сыном Владимиром, будущим довольно известным в Петербурге композитором, подававшим большие надежды, но, к сожалению, рано умершим. Щербачев аккуратно посещал все наши собрания, охотно вмешивался в дебаты, но по преимуществу ограничивался шутливыми и ироническими замечаниями или же более или менее меткими афоризмами. Так как юмор его был большею частью безобидный, то и вызывал не обиды или протесты, а только смех, и таким образом его участие в дебатах

составляло часто как бы увеселительную часть собрания. Впоследствии в России я не раз встречался с ним и его семьей в Полтаве и Петербурге. Он был небогатым землевладельцем Полтавского уезда и в 60-х годах занимал в своем уезде почетное место выборного мирового судьи. Женился он на княжне Ширинской-Шихматовой из села Мануйловки на реке. Псле. В Америке Щербачев имел табачную плантацию и теоретически и практически изучил табаководство, благодаря чему впоследствии занимал одно время должность специалиста по табаководству при министерстве земледелия.

Из остальных членов колонии могу вспомнить еще двух братьев Жебуневых, державших себя, вместе с несколькими другими молодыми людьми, довольно обособленно, так что я не имел случая с ними познакомиться. За какую-то высказанную ими сектантскую ересь, в pendant к «сен-симонистам», Смирнов назвал их «сен-жебунистами», каковая кличка последовала за ними и в Россию и даже, кажется, в ссылку, в далекую Сибирь [24]. Помню также высокого, обросшего большою черною бородою, наивного добряка Туманова, из крымских татар, скончавшегося затем в молодых годах, кажется, в харьковской больнице. Умирая, он завещал свою довольно обширную и богатую коллекцию книг городу Симферополю для основания городской общественной библиотеки. Насколько помню, мне передавали, что такая библиотека действительно была открыта в Симферополе и носила имя Туманова.

Обособленно держала себя группа молодежи, состоявшая из нескольких кавказцев (грузин или армян — не знаю) и нескольких русских, которую за какие-то подвиги, вероятно, за пьянство и буянство, окрестили нелестным именем «Негодницы», но в чем состояли их подвиги, точно сказать не могу [25]. Припоминаю еще: студента политехникума Москалева, жившего с семьею несколько на отлете от остальных, на улице Oberstrasse, и служившего затем инженером на Обуховском сталелитейном и орудийном заводе под Петербургом; студента Киевского университета, симпатичного юношу Чернышева, которого все звали «Ванечкой» [26]; юркого брюнета не первой молодости Мандельштама; затем Лобова, дальнего, кажется, родственника П. Л. Лаврова, административно затем высланного на родину в Воронежскую губернию за участие в общественной жизни цюрихской колонии [27]; затем студента-медика Александра Акимовича Дризо и кандидата прав Одесского университета Алексея Захаровича Попельницкого, с которыми затем я многократно встречался на многоразличных путях моей общественной

жизни в Одессе, Полтаве и Петербурге; далее, довольно популярного драматического писателя Владыкина, жившего с семьей недолгое время в Цюрихе [28], и студента серба Тодоровича, вращавшегося среди русских, а затем видного политического деятеля в Сербии, многократно занимавшего там министерские посты. Отдельно может быть поставлен студент-медик Н. В. Васильев, тип уже и тогда отживавшего «вечного студента», абориген Цюриха, член социалистического рабочего союза в Цюрихе, весьма опытный и популярный врач, охотно расточавший советы обращавшимся к нему за медицинской помощью [29]. Наконец, могу упомянуть еще петербургских студентов, участников лавровского кружка в Петербурге: Василия Егоровича Варзара и Льва Савельевича Гинзбурга, с которыми я, впрочем, в Цюрихе не встречался, с первым—вероятно, вследствие его отъезда до моего появления в Цюрихе, а с последним — вследствие того, что, приезжая в Цюрих для переговоров с Лавровым и Смирновым по поводу издания революционного органа «Вперед!», он должен был обставить свое пребывание там крайне конспиративно и поэтому почти не с кем не знакомился.

Женский персонал цюрихской русской колонии по своей численности едва ли уступал мужскому. Сколько ушатов помоев и грязи вылито было на головы этих злосчастных цюрихских «нигилисток»! Помимо «злобных» инсинуаций Незлобина и громоносных филиппик всей нашей консервативной печати, на них сыпались обвинения и из разных общественных слоев. Обвиняли их не только в политической «неблагонадежности», но и в безбожии, безнравственности, разврате и во всех возможных моральных пороках. А между тем, прожив в их среде почти в ежедневном общении около года, я, положа руку на сердце, могу положительно утверждать, что более высоконравственной среды мне не приходилось наблюдать ни среди русского студенчества, ни в среде писателей и журналистов в столицах, ни в земских сферах провинции, ни в судебных кругах Киева и Кавказа.

Голословные обвинения, подобные вышеприведенным, сыпались на головы цюрихских студенток не только из родных палестин, но иногда и со стороны местных цюрихских обывателей, в особенности со стороны женщин. Да это и понятно. Неожиданно в Цюрих хлынула какая-то невиданная орава странных молодых людей обоего пола, отличавшихся и особою внешностью, и оригинальными нравами. Все они, в числе до 300 душ, поселились на тесной территории среди двух небольших предместий города — Готтингена и Оберштрассе, протянувшихся узкой лен-

той вдоль подошвы Цюрихской горы, направо и налево от политехникума. Такое тесное размещение элементов, столь отличных от обычного вида немецких студентов-корпорантов, должно было невольно сосредоточить на себе внимание населения. Пришлые молодые люди одевались в неопрятные блузы, тужурки и даже косоворотки, часто носили высокие, нечищенные сапоги, которые швейцарцы надевают разве только для охоты на болотную дичь, но никак не для прогулок по городу. К этому присоединяются столь обычные у нас, в России, среди студентов и семинаристов длинные нечесаные волосы, темные очки и вечные папиросы в зубах. Какая поразительная разница сравнительно с подстриженными, бритыми, с иголочки одетыми корпорантами! С женским персоналом — еще того хуже: короткие юбки, не всегда тщательно вычищенные, без тренов и турнюров; широкие кофты без белых воротничков; стриженые короткие волосы в целях освободить себя от долгой возни с куафюрой; прямо смотрящие на людей, а не опущенные к земле глаза, как это полагается приличной «барышне». К этому надо прибавить хождение по улицам беспорядочными группами, с громкими разговорами и принципиальными спорами, сопровождаемыми часто неумеренной жестикуляцией, и, в заключение, horribile dictu, хождение молодых мужчин и молодых женщин друг к другу на холостые квартиры и засиживание в них за чтением и словесными спорами до глубокой иногда ночи без опеки и надзора обязательной в таких случаях в Швейцарии пожилой дуэньи. В России это обычное в университетских городах явление; здесь же, в Швейцарии, это кажется несообразным, диким, неприличным, даже безнравственным.

Надобно, впрочем, сказать, что неодобрительные и клеветнические отзывы о русских студентах и «нигилистках» я встречал лишь на страницах консервативных газет и в устах закорузлых, заплесневелых старых профессоров. Местные же готтингенские обыватели из числа содержателей и хозяек многочисленных chambres garnies и пансионов выражали иногда неодобрение внешней некультурности русской молодежи, но я обсолютно ни разу не встречал от них обвинения или же подозрения в безнравственном поведении членов нашей колонии и особенно женщин.

Повторяю, на основании личных, почти годичных ежедневных наблюдений могу свидетельствовать, что отношения между молодыми людьми обоего пола были совершенно корректны, вполне товарищеские, всякий флирт безусловно исключался, и не наблюдалось признаков ни ухаживания со стороны мужчин, ни кокетничания и заигрывания со стороны женщин. И это несмотря на то, что мужская половина была в самой поре наибольшего

развития пылких страстей, а между молодыми женщинами немало было красивых и даже красавиц. Достаточно вспомнить ангелоподобную фигурку Лидии Фигнер, точно прямо сошедшую с полотна Ботичелли [30], или же и других очень красивых женщин, как, например, сестра Лидии Фигнер — Вера Филиппова, или же жгучая брюнетка Фамильянт, вышедшая затем замуж в России за проф. Овсянико-Куликовского, или светловолосая еврейка Анна Макаревич [31], обе сестры Любатович [32], упомянутые раньше Идельсон, m-me Гольдсмит [33] и мн. др.

Подавляющая часть молодых девушек, собравшаяся в Цюрихе, выезжала с родины за границу с намерением посредством труда и знания завоевывать для женщин равноправие полов и право женщины на труд, преследуя при этом интересы главным образом женщин привилегированных классов, так как крестьянки и вообще женщины рабочих, трудящихся классов не нуждаются в добывании «права на труд», а напротив, в возможном облегчении и ограничении их труда. Явившись в Цюрих насыщенными альтруистическими чувствами, навеянными русскою гуманною литературою, в том числе и чтением недавно перед тем выпущенных в свет «Исторических писем» Миртова, они здесь встретились с новой идеологией, проповедываемой Бакуниным и другими социалистами, и, не изменяя своему прежнему альтруизму, переменили лишь фронт, всецело отдавшись борьбе против несправедливых общественных привилегий и за интересы угнетенных классов. Это направление задач и идеалов большинства представительниц женской половины цюрихской колонии отражалось и на отношениях к ним мужской половины, придавая этим отношениям характер простого товарищества, а никак не ухаживания.

Продолжая перечисление членов цюрихской колонии женского пола, имена которых сохранились в моей памяти, упомяну еще группу молодых и даже совершенно юных девушек, которые общей коммуной поселились в доме госпожи Фрич, почему всю эту группу окрестили названием «фричи». Кроме упомянутых уже сестер Фигнер и сестер Любатович, в эту группу входили девушки, фигурировавшие затем в числе обвиняемых по московскому процессу пятидесяти. Во главе их выделялась самостоятельным умом и талантливостью С о ф и я Б а р д и н а, прославившаяся своею речью на том процессе, многократно печатавшейся в революционных изданиях. Получив за эту речь высшую для женщин меру наказания в приговоре судебной палаты, а именно 9 лет каторги, замененную затем вечным поселением в Сибири, она вскоре бежала из ссылки за границу и в Париже в 1883 году, как говорят, от тоски и разочарования в ничтожности резуль-

татов ее самоотверженной деятельности, лишила себя жизни[34]. Рядом с нею в той же группе фричей фигурировали в Цюрихе: сестры Субботины[35], Александрова[36], вышедшая в ссылке замуж за М. А. Натансона, Варвара Батюшкова[37] и Бетя Каминская[38].

Затем, кроме уже раньше названной библиотекарши Розалии Христофоровны Идельсон, я вспоминаю сестер Переяславцевых, из которых одна, кончив курс естественных наук в университете, заведывала затем биологическою морскою станциею в Севастополе, а вторая стала наборщицей в типографии журнала «Вперед!», бросила занятия в университете и переселилась со всем персоналом журнала в Лондон, где вскоре скончалась от чахотки. Затем в моей памяти из знакомых мне цюрихчанок следуют: сестры Рашевские, из коих одна — уже мною упомянутая как автор музыки на песнь об утесе Стеньки Разина, и другая, тоже талантливая пианистка, Александра Григорьевна Рашевская вышла в России замуж за студента-технолога В. Е. Варзара и вошла в состав кружка лавровцев в Петербурге[39]. Вспоминаю, кроме того, родственницу Рашевских — Константинович[40], затем Сухову и Южакову[41], далее милых, но несколько наивных «барышень» — Богуславскую и Евецкую, далее симпатичную Надежду Николаевну Леонтьеву[42], вышедшую впоследствии в России замуж за моего приятеля, агронома и писателя Льва Аркадьевича Хитрово[43], столь же симпатичную Лазебникову, будущую супругу профессора всеобщей истории Новороссийского университета Афанасьева, и красавицу Фамильянт, будущую жену академика Овсянико-Куликовского. Из более пожилых женщин, кроме жен перечисленных раньше семейных мужчин, вспоминаю еще студентку Крюкову, Лаврову[44], кажется, дальнюю родственницу Кропоткиных, и Базилевскую, повидимому, принадлежавшую к фамилии богатых золотопромышленников Базилевских, делавшую обыкновенно более значительные сравнительно с другими взносы жертвуемых сумм при бывших некоторых подписках.

IV

Покончив на этом перечисление личного состава цюрихской колонии, сохранившегося в моей памяти, и общую характеристику господствовавших в этой колонии нравов, перехожу, в роли объективного историографа, к описанию событий и происшествий, свидетелем или участником которых мне пришлось быть в промежуток с августа 1872 года по май или июнь 1873 года.

В первое время по приезде в Цюрих я, по избытку мнительности, с особенною сдержанностью знакомился и сближался с живущими там русскими. Дело в том, что, как уже было упомянуто, мой приезд в Цюрих близко совпал с арестом Нечаева по требованию царского правительства о его выдаче швейцарским правительством. Я обратил внимание на то, что в моем заграничном паспорте, выданном мне полтавским губернатором на основании двухмесячного отпуска по болезни, полученного из Владикавказского окружного суда, звание мое обозначено было как «судебного следователя», с переводом на французский и немецкий языки: «Juge d'instruction» и «Untersuchungsrichter»; хотя в Швейцарии в то время предъявление паспортов и не было обязательным для приезжих иностранцев, но всегда мог со мной произойти какой-нибудь случай, вызывающий необходимость предъявления своей легитимации. Кроме того, я уже неосторожно обнаружил свое звание при упомянутом раньше получении медицинского свидетельства от доктора Ф. Ф. Эрисмана. Мне вообразилось, что, сопоставляя мое звание и мой приезд в Цюрих с арестом Нечаева, слишком «проницательным» русским, может быть, придет в голову заподозреть во мне агента русского правительства, командированного для переговоров с местными властями по поводу этого ареста. Избыток моего усердия в умножении знакомств в среде русских и в сближении с ними мог бы, мне казалось, подкрепить эти подозрения и поставить меня в положение, недопустимое для моего самолюбия.

Как это иногда бывает, чего остерегаешься, то именно и случается. Как раз и случилось, что первый русский, с которым я сблизился и подружился в Цюрихе, — Рихтер оказался неожиданно для меня участником в суде над предателем Нечаева — Стемпковским.

Этого мало: случайно обстоятельства сложились так, что я, помимо воли, оказался довольно близко прикосновенным к делу о выдаче Нечаева. Считаю долгом подробнее остановиться на этом эпизоде, оставшемся неопубликованным в свое время, о котором я лишь изредка сообщал на словах более близким мне людям.

Именно, через несколько дней по водворении моем в домике на Блуменгассе, как-то вечером мой хозяин, служивший техником в кантональном управлении, постучался ко мне в дверь и обратился ко мне с вопросом, как отношусь я к делу о выдаче Нечаева, волновавшему в то время все швейцарское общество. На этот вопрос я ему ответил, что с Нечаевым я незнаком и никогда не встречался, к партии его не принадлежу и совершенно не сочув-

ствую его безнравственным приемам революционной деятельности, насколько я с ними ознакомился по процессу его соучастников. Что же касается вопроса о его выдаче русскому правительству, то, как юрист, я безусловно стою против этой выдачи. Между швейцарским и русским правительством не существует специальной конвенции о взаимной выдаче преступников, и Швейцария всегда отказывала другим государствам в выдаче лиц, обвинявшихся в государственных и политических преступлениях, и всегда гордилась «правом убежища», которое предоставляла у себя всем изгнанникам и виновникам в противоправительственных деяниях в других государствах. А так как преступления, в которых обвиняется Нечаев, — распространение противоправительственной пропаганды и участие в убийстве студента Иванова, заподозренного в предательстве, — несомненно имеют характер безусловно политический, то поэтому швейцарское правительство имеет право и даже обязано отклонить требование России. Мой хозяин, выразив удовольствие в том, что я разделяю в этом случае мнение либеральной партии Цюрихского кантона, попросил меня зайти к нему в его комнаты и побеседовать по этому предмету с сидевшим у него в гостях его родственником. Последовав за хозяином, я застал у него благообразного господина средних лет с симпатичной интеллигентной внешностью, который отрекомендовался доктором медицины, психиатром, заведующим кантональной психиатрической лечебницей в окрестностях Цюриха, в деревне, название которой теперь забыл, но где впоследствии мне пришлось даже лично побывать. Выслушав вторично повторенное мною вышеприведенное мое мнение о Нечаеве, он заявил, что вся господствующая в Цюрихском кантоне либеральная партия придерживается того же взгляда и настаивает на отказе русскому правительству в выдаче Нечаева, но, к сожалению, член кантонального совета, заведующий внутренними делами и полицией, доктор Пфеннингер, по соображениям, повидимому, крайне неблаговидным, разошелся по этому вопросу со взглядами партии, благодаря чему в кантональном совете образовалось большинство, благоприятное домогательствам России [45]. Он только-что вышел из частного собрания выдающихся деятелей либеральной партии, на котором выяснилось, что единственное средство избежать решения, позорящего Швейцарию и идущего в разрез со всеми ее благородными традициями, это — снять настоящий вопрос вовсе с очереди, что может быть достигнуто только, если бы Нечаеву удалось бежать из цюрихской тюрьмы. Побег этот, по его мнению, организовать довольно легко, так как кантональная тюрьма устроена в непри-

способленном для нее старом здании упраздненного еще при реформации католического монастыря и надзор в ней, за отсутствием серьезных преступников, ведется довольно патриархально. При этом, по словам доктора, член совета, заведывавший юстицией и тюрьмой, государственный прокурор (Staatsanwalt) доктор Форер, как член либеральной партии, не имеет причин особенно усердствовать и изменять установившийся тюремный режим в угоду русскому деспотическому правительству. По мнению моего собеседника, побег Нечаева легко можно было бы устроить, если бы какая-нибудь принадлежащая к его партии русская студентка испросила разрешение на свидание с ним. Оставшись, по существующему в тюрьме порядку, наедине с Нечаевым в его камере, она могла бы обменяться с ним костюмами и в одежде Нечаева улечься на кровать, притворившись больною или спящею, Нечаев же, облекшись в женский костюм и предъявив сторожу выходной из тюрьмы билет, беспрепятственно вышел бы из тюрьмы, в особенности если побег приурочить к вечерним сумеркам, так как подслеповатый старик-сторож сосредоточит свое внимание на выходном билете, а не на женщине, предъявляющей этот билет. Побег арестанта мог бы обнаружиться лишь на другой день утром, когда Нечаев, при содействии своих друзей, мог бы находиться уже за пределами кантона и даже Швейцарии. Студентка, содействовавшая побегу Нечаева, рисковала бы при этом немногим. Ее, конечно, задержали бы в тюрьме, но затем, по рассмотрению ее героического поступка, она, по всей вероятности, как иностранка, была бы просто выселена из пределов государства.

Выслушав собеседника, я сказал, что участвовать в организации побега Нечаева я не намерен, но считаю своим долгом передать выслушанный разговор дословно и немедленно знакомым мне бакунистам, предоставив им самим, в случае надобности, снестись с ним непосредственно. Затем, не теряя времени, я отправился, несмотря на поздний час, на квартиру знакомых уже мне по библиотеке соучастников Смирнова в побеге из России студентов бакунистов Гольштейна и Эльсница. Последних я застал дома и исполнил свою миссию; присутствовал ли при этом третий соквартирант их, Ралли, я не помню, тем более, что с ним я не был знаком и не знал тогда даже о его существовании.

После этого я ежедневно с некоторым волнением открывал листы утренней газеты, надеясь найти сообщение об удачной или неудачной попытке Нечаева к побегу, пока, к крайнему моему удивлению, по прошествии двух-трех месяцев, в октябре или ноябре, я не нашел сообщения о состоявшейся выдаче Нечаева рус-

скому правительству; при этом в газетах было рассказано, что во время препровождения Нечаева под усиленным полицейским эскортом из тюрьмы на вокзал была на вокзальной площади усмотрена группа «русских нигилистов», из среды которых отделился молодой человек, оказавшийся студентом сербом, который ворвался в среду вооруженных полицейских и, схватив Нечаева за одежду, стал его тащить из группы окружающих его полицейских; но, конечно, серб был арестован, и Нечаев благополучно водворен в арестантский вагон для следования в Россию[46].

Долгие годы я оставался в недоумении, почему столь просто задуманная попытка освободить Нечаева не была использована. Разгадку этого недоумения нашел только через 40 и более лет, прочтя в воспоминаниях о Бакунине бывшего бакуниста Земфирия Ралли сообщение о том, что против попытки к освобождению Нечаева авторитетно высказался тогда сам Бакунин. Для доказательства привожу здесь в неприкосновенности подлинные слова Ралли *.

«М. А. [Бакунин] признал нужным задать мне головомойку относительно моего желания организовать освобождение Нечаева при его аресте в Цюрихе, указывая мне на тот факт, что он прекрасно знает обо всем этом участии и что именно потому и постарался удалить меня тогда из Цюриха, давши мне поручение на другом конце Европы — в Яссах. «Когда революционер стремится спасти кого-нибудь из беды, он должен сообразоваться, взвесить пользу, приносимую спасаемым, с одной стороны, а с другой — взвесить ту трату революционных сил, которые нужны для спасения,—заявил мне М. А.— В этом-то ты и виноват перед нами, так как за спасение Нечаева ты готов был тогда пожертвовать стольким, скольким не имел права жертвовать».—Формулировка этого обвинения, — прибавлял от себя З. К. Ралли, — поразила меня своею тождественностью с текстом старой нечаевской программы, которая, конечно, позже была перередактирована по-своему (на семинарский язык) Сергеем Геннадиевичем (т.-е. Нечаевым)».

Таким образом оказывается, что попытка освободить Нечаева из цюрихской тюрьмы не состоялась по настоянию Бакунина, применившего к этому случаю взгляды самого Нечаева на отношения революционера к своим же товарищам по партии, так что,

---

* См. статью З. К. Ралли-Арборе «Из моих воспоминаний о М. А. Бакунине». Исторический сборник «О минувшем», Спб., 1909 г., стр. 335—36.

повидимому, Нечаев погиб жертвою собственных же своих принципов.

Здесь будет кстати перейти к рассказу о моей личной первой встрече с Михаилом Александровичем Бакуниным, тем более, что это произошло в первые недели моего пребывания в Цюрихе.

Однажды во время обеда в пансионе, в котором поселился профессор А. Ф. Кистяковский, последний предложил мне непременно прийти к ним обедать на следующий день, дабы не упустить случая познакомиться с Бакуниным. При этом он рассказал, что, идя утром из Готтингена в город, он у витрины книжного магазина на набережной Лиммата увидел крупную фигуру высокого старика, с длинными седыми растрепанными волосами и бородой, рассматривавшего выставленные в окне магазина русские книжные новинки. Узнав в старике М. А. Бакунина по фигуре и по сходству его с виденными им портретами, он подошел к нему, представился и заявил желание повидаться. Бакунин, узнав, в каком пансионе остановился Кистяковский, вспомнил, что хозяйка того пансиона дает обеды приходящим, и попросил заказать на завтра пять обедов для него и для четырех его друзей. На следующий день мы уже уселись за стол, причем по обыкновению Кистяковский занимал председательское кресло в одном конце стола, а на другом приготовлено было пять пустых приборов для приходящих обедающих. Мы приступили уж к еде, когда, наконец, появился Бакунин в сопровождении четырех очень молодых итальянцев. Познакомившись с семьей Кистяковского и со мной, Бакунин занял место на другом конце стола, напротив Кистяковского, и разместил около себя своих четырех «друзей»—итальянцев, не проронивших за весь обед ни слова и, не понимая русской речи, неустанно восторженными глазами смотревших в глаза учителю. Бакунин быстро завладел разговором, избрав темой воспоминания о давнопрошедшем своем пребывании в кружке Белинского и Станкевича, изображая эти две светлые личности, особенно же Станкевича, в таких ярких образах и художественных характеристиках, что они как живые выступали перед нашим воображением, и мы, забыв еду, как очарованные, молча слушали, боясь проронить малейшее слово исключительно красноречивого рассказчика. Тогда-то мы поняли, какое действительно обаяние должна была вызывать к себе личность Бакунина среди окружающих его последователей. Подобно тем безмолвным молодым итальянцам, которых он привел с собою к нам обедать и которые, так сказать, пожирали

глазами своего обожаемого учителя, говорившего на непонятном для них языке, все его последователи во французской Швейцарии и северной Италии были загипнотизированы его горячими художественными речами, производившими гораздо большее впечатление, чем его печатные труды, отдававшие некоторой декламацией и искусственным пафосом, чего в речи не замечалось.

По окончании обеда Кистяковский пригласил Бакунина на стакан русского чая к себе в номер, куда вскоре пришел живший в то время в Цюрихе криминалист И. Я. Фойницкий. Здесь у собравшихся завязалась уже философская беседа на темы, близкие к специальности хозяина: о свободе воли и детерминизме, об ответственности личности за свои поступки, о праве общества защищать себя от так называемой «злой воли» отдельных своих членов, о целях и задачах наказания и т. п. Здесь в завязавшихся спорах первенство было уже не на стороне Бакунина. Хотя он, некогда разъяснявший Белинскому и Прудону учение Гегеля, и мог считаться вполне образованным человеком и сведущим в разных философских темах, но в дебатах с специалистами, особенно основательно изучавшими предмет беседы и вооруженными богатой эрудицией, он, конечно, должен был спасовать, и после часа с лишним оживленного разговора поднялся и ушел, видимо, недовольный визитом [47].

На другой день утром я счел для себя приятным и приличным долгом посетить Бакунина в знакомой уже мне квартире бакунистов Гольштейна и товарищей. Бакунин принял меня очень любезно и немедленно стал бранить «тупых», «заскорузлых» догматиков, погрязших по уши в застарелых предрассудках и заблуждениях, с которыми он вел накануне беседу. При этом он любезно выделял меня из этой ему несимпатичной компании, тем более, что я во вчерашних спорах почти не участвовал, ограничившись двумя-тремя незначительными замечаниями. На это я заявил, что философские вопросы, вокруг которых велись вчера споры, занимают меня теперь менее других, более мне интересных, о которых мне желательно слышать его суждения, как-то: о будущем социальном строе, к которому стремится культурное человечество, и о революционных и мирных путях к его достижению. Разговор поэтому обратился к вопросам бакунинской программы об анархии и государственности, о пропаганде словом и действием, об агитации и местных бунтах, и т. д. Здесь я, конечно, не вступал в споры с прославленным учителем и делал лишь частичные реплики в роде платоновских «диа-

лотов». Но уже одно то, что я не проявлял к его речам восторженного поклонения, к которому он, очевидно, привык, производило на Бакунина, как мне казалось, не вполне приятное впечатление.

Вторично я встретился с Бакуниным через несколько месяцев, когда он приезжал в Цюрих мирить бакунистов с лавровцами, о чем речь будет впереди, но тогда я лишь присутствовал при разговорах, не проронив ни слова, а между тем, когда летом 1873 года мой младший брат Александр, будучи тогда студентом Киевского университета, посетил Бакунина в Локарно, последний, находясь, очевидно, под влиянием наговоров против меня со стороны Росса и его сторонников, признал уместным довольно неодобрительно обо мне отозваться и предостеречь его от моего влияния.

В ту же осень, в первое время моего пребывания в Цюрихе, я имел случай встретиться при оригинальных обстоятельствах с знаменитым в то время в Петербурге публицистом и писателем Елисеевым. Однажды в утренние часы я шел с книжками под мышкой по Hirschgraben'у, т. е. по той широкой тенистой аллее, которая тянется у подошвы холма, украшенного мрачным зданием Цюрихского политехникума. Навстречу мне шла группа из трех лиц. Посредине солидно выступал высокий старик с седеющей бородой, по типу напоминающий солидного московского купца, пожалуй, даже из старообрядцев Рогожского кладбища. Справа он вел под руку немолодую даму, небольшого роста, очень экспансивную, как мне показалось, в своих движениях, а слева от старика чинно шла молоденькая девушка блондинка, лет 17, не более. Не доходя до меня шагов на десять, подвижная дама, оставив руку старика, быстрыми шажками приблизилась ко мне с вопросом: «Sagen Sie, ich bitte, wo ist die Universität?», причем последнее слово произнесла так, как по-русски называют «университет», из чего я тотчас заключил, что имею дело с русскими, а потому и отвечал ей по-русски: «Особого здания университета здесь нет, а лекции происходят в аудиториях политехникума, возвышающегося вот тут, перед вами, на горе».

Барыня сначала удивилась, что я признал в ней русскую, а когда я откровенно объяснил ей причину, то она заявила, что им нужен вовсе не университет, а лишь справка об адресе русской студенческой библиотеки. На это я сказал, что сам иду в библиотеку менять книжки и готов их проводить, после чего мы все пошли рядом, и у меня завязался разговор все с той же

говорливой дамой, тогда как старик, ее муж и девица продолжали итти с нами молча. Подойдя к библиотеке, барыня, подавая мне руку и благодаря за проводы, пригласила меня посетить их, говоря: «Мы остановились в гостинице «Schwann», спросите там Елисеевых». Услыхав эту фамилию, я еще больше утвердился в мысли, что имею дело с русской купеческой семьей, а, может быть, даже с тем, который торгует знаменитыми елисеевскими винами. Каково же было мое удивление, когда я увидел, с какими радостными приветствиями встретили Елисеевых Смирнов и Идельсон и какой чисто литературный разговор возник между ними. Мое недоумение рассеялось лишь тогда, когда кто-то разъяснил мне, что в библиотеку явился писатель «Грыцко», талантливыми и умными обозрениями коего я зачитывался и очень увлекался. По своему провинциальному литературному невежеству я и не знал, что под псевдонимом «Грыцко» скрывался Григорий Захарьевич Елисеев. Я, конечно, посетил затем Елисеевых в гостинице «Schwann», но опять-таки беседовал более всего с его женою, а не с ним.

Года через два я еще раз посетил Елисеевых в Петербурге, кажется, в его приемные часы, но также встретил с его стороны довольно холодное отношение. И замечательно, что почти со всеми главными сотрудниками «Отечественных Записок», с Н. К. Михайловским, Глебом Успенским, Скабичевским и другими при случайных встречах я как-то, вопреки своему желанию, не сближался и не завязывал прочных связей, за исключением лишь милейшего и благороднейшего С. Н. Кривенко, который впоследствии с «Отечественными Записками» разошелся.

Проявленное мною провинциальное невежество в сведениях из области литературных сфер повторилось при первом появлении в Цюрихе Петра Лавровича Лаврова, когда он в конце 1872 года приезжал туда на время, очевидно, для окончательных переговоров с Смирновым и делегатами петербургского кружка об издании журнала «Вперед!». Я обратил тотчас же внимание на появление среди русских высокого плотного старика, по типу напоминающего Бакунина, но не спешил знакомиться с ним, узнав, что это «известный философ» Лавров, так как некоторые статьи его в журналах хотя мною и читались, но особенно меня не заинтересовывали; и только когда до моего слуха дошло, что Лавров и Миртов, автор «Исторических писем», одно и то же лицо, я поспешил ближе познакомиться с ним и постарался по мере сил с ним сблизиться.

V.

Я уже раньше заметил, что мои занятия политической экономией и социологией прерывались разными экскурсиями.

Продолжительным пребыванием в Швейцарии я воспользовался, между прочим, и для некоторого ознакомления с различными сторонами местной общественной и государственной жизни.

Отрицательные воспоминания, вынесенные мною из трехлетней службы по судебному ведомству в Киеве и на Кавказе, побудили меня ознакомиться с условиями отправления правосудия в Швейцарии. Для этого я однажды зашел в Цюрихе в зал местного суда, где рассматривалось с участием присяжных несколько заурядных дел по мелким преступлениям и проступкам. По внешности разница против наших судебных порядков оказалась огромная. Здесь не было торжественного выхода в зал судей под громкий возглас судебного пристава: «суд идет»; не было ни золотом шитых мундиров, ни фраков или широких «тог» на защитниках, ни торжественной присяги по каждому делу; но не было также ни непозволительного глумления над подсудимым со стороны председателя суда, ни искусственного пафоса речей адвоката, как это наблюдается во французских судах. Присяжные держали себя простыми обывателями, изредка перешептываясь между собою, и иногда произносили приговор, не выходя из залы. Обвинителем выступал молодой симпатичный прокурор кантона, доктор Форер, о котором я слышал лестный отзыв еще на квартире моего хозяина и который вовсе не проявлял обычного у нас стремления прокуроров во что бы то ни стало добиваться обвинительного приговора. Здесь кстати могу вспомнить, что этот самый доктор Форер в 1914 году заканчивал свою общественную и государственную карьеру на высоком посту президента Швейцарской республики.

По окончании заседания суда я подошел к Фореру и познакомился с ним, отрекомендовавшись бывшим судебным следователем в России. Форер очень любезно меня принял, много расспрашивал о русских судебных порядках и в заключение предложил мне взять на дом несколько оконченных «дел» цюрихского суда для ознакомления с швейцарскими судебными порядками. Возвращая ему осмотренные дела, я получил от него карточку для осмотра цюрихской тюрьмы, куда я вскоре и отправился в сопровождении петербургского криминалиста И. Я. Фойницкого. Здание тюрьмы оказалось ветхим, запущенным, частью заколоченным, а порядки надзора примитивными, свидетельствовавшими, как легко было организовать побег для Нечаева. По-

казывая одну из полутемных келий, сторож заявил, что в этой камере содержался «der berümte russiche Nihilist Netschaieff».

Заинтересовавшись положением народного образования в цюрихском кантоне, я заручился рекомендательной карточкой председателя кантонального совета, заведывавшего школами, Зибера. Этот почтенный старец, родственник нашего профессора Н. И. Зибера, знаменит был тем, что в 1848 году, будучи школьным учителем в захолустной деревне, смело поднял знамя восстания против олигархии нескольких богачей, заправлявших делами кантона, увлек за собой всю демократию кантона, создавшую в Цюрихе самую либеральную распублику с референдумом, т. е. с всенародным голосованием всех законов. При содействии полученной карточки я посетил не менее десяти школ разнообразных типов и степеней как в Цюрихе, так и в кантоне.

В то время в Цюрихе было, кажется, не более 50 тыс. жителей и не было даже постоянного городского театра. На краю Гирштрабена, в отдаленной от центра местности, высилось какое-то невзрачное здание, чуть ли не деревянное; в нем по временам ставились какие-то спектакли, которые русская молодежь не посещала уже по одному плохому знанию немецкого языка. Один наивный антрепренер, учитывая значительное число русских обитателей в окрестностях этого здания, вздумал поставить там оперу Глинки «Жизнь за царя», и, конечно, не привлек ни одного русского зрителя.

Иные из студентов и студенток посещали изредка летние симфонические концерты в Ton-Halle на берегу озера, где под крышей у столика за кружкой пива цюрихчане коротали свои вечера. Впрочем, русские, особенно женщины, уклонялись от обязательного потребления горького пива и кислого вина, предпочитали брать напрокат лодку на реке Лиммате и подплывать к Ton-Halle со стороны озера, где во время концертов лавировало большое количество лодок с даровыми слушателями музыки.

Чаще всего в теплое время года, особенно во время университетских вакаций, наша молодежь устраивала веселые экскурсии за город, столь удобно устраиваемые в Швейцарии. Я помню многие из них, в которых сам принимал участие.

Человек десять, с семьею профессора Кистяковского во главе, ездили на Риги-Кульм любоваться восходом солнца с вершины горы, с которой на половине горизонта тянется сплошная цепь снежных вершин в 200 километров протяжением, от Монблана до Глерниша и Тёди, а на другой половине горизонта расстилается вся низменная и холмистая Швейцария с ее городами, деревнями, реками и всеми 12 озерами.

С другой компанией я ездил на целый день в курорт Баден, километрах в 30 — 40 от Цюриха.

Интересная экскурсия предпринята была 30—40 молодыми юношами и девушками на вершину Ютлиберга, примыкающего к Цюриху с юга. На вершине горы нас застали сумерки; спускаться с горы по головоломным тропинкам в ночной темноте было не безопасно; пришлось провести ночь в поисках вершины, не покрытой лесом, чтобы полюбоваться восходом солнца над отдаленными снежными вершинами.

Но самой веселой и разнообразной по дорожным приключениям была двухдневная прогулка в лодке по всему Цюрихскому озеру до Рапперсвиля[48] с его польским патриотическим музеем. Ночевать пришлось в деревушке, где праздновался крестьянский «бал» по случаю сбора винограда, причем две молоденькие наши спутницы удостоились танцовать с деревенскими парнями.

Так коротали наши цюрихские студенты и студентки свои досуги, свободные от занятий наукой и революцией.

Об одной экскурсии — не увеселительного или туристского характера, а некоторым образом научного значения — я хочу рассказать подробно.

С профессором Н. И. Зибером и С. А. Подолинским мы втроем задумали съездить в Мюльгаузен, расположенный в недавно перед тем отторгнутом Германией от Франции Эльзасе, для осмотра пользовавшихся в то время большою славою мюльгаузенских рабочих городков, так называемых cités ouvrières. Представители буржуазной политической экономии того времени видели в постройке таких «рабочих городков» не только меру устранения жилищной нужды в промышленных центрах, но якобы еще и радикальный способ устранения или, по крайней мере, отдаления на долгие годы социальной революции. Нам трем интересно было изучить этот вопрос не только по литературным источникам, но и по личным наблюдениям, что не представляло больших затруднений, так как из Цюриха в Мюльгаузен было не более 3—4 часов железнодорожного пути. Гг. Дольфюсы, совладельцы крупнейшей в Мюльгаузене текстильной фирмы Дольфюс, Миг и К°, эмигрировали из Эльзаса по его присоединении к Германии, не желая попасть в подданство враждебной им державы, а один из Дольфюсов занял кафедру в Цюрихском политехникуме. Подолинский отправился с визитом к этому профессору и заручился его рекомендациями, которые помогли бы нам войти в более детальное исследование формальной стороны предмета. Действительно, в Мюльгаузене нас встре-

тили очень любезно и предупредительно как представители фабричной администрации, так и сами рабочие, поселенные в построенных Дольфюсами рабочих домиках. Мы ознакомились с финансовым планом наделения рабочих жилищами, условиями погашения их стоимости срочными взносами, не превышавшими обычной квартирной платы за однородные помещения в той местности, осмотрели общественные учреждения в городке, как-то: школы, больницы и пр., побывали в десятке рабочих домиков, разговаривали с рабочими, живущими в них, и с их семьями. Беглый обзор всего виденного нами, несомненно, производил благоприятное впечатление от этого своеобразного опыта буржуазной благотворительности. Внешнее благоустройство городка с широкими улицами и площадями, обсаженными деревьями и освещенными газовыми фонарями, было лучше, чем в рабочих кварталах старого города; небольшие домики снаружи казались изящными, а внутри более гигиенично содержимыми сравнительно с грязными и темными помещениями рабочих других предприятий, ютившихся по чердакам и подвалам и по грязным окраинам старого города. Домики располагались или гнездами, по четыре дома с двумя светлыми сторонами и двумя глухими, общими с соседними домиками, или же рядами смежных домиков, примыкавших заднею стеною к такому же ряду домиков, окнами обращенных на противоположную сторону, причем при каждом домике отводился маленький палисадник. Первый тип построек давал больше света и имел больший палисадник, а второй страдал меньшим освещением комнат и очень узенькой полоской палисадника, слабо изолированного от соседей. В каждом домике было два этажа; в нижнем, кроме сеней и уборной, помещались кухня и общая семейная комната, т. е столовая и приемная, а во втором этаже были две или три спальни с кладовкой. Главный недостаток заключался в миниатюрности домиков и тесноте помещения, особенно для многосемейных, и в недостатке освещения. К тому же некоторые рабочие для увеличения своего бюджета сдавали в наем одну или две комнаты посторонним, преимущественно ремесленникам: портным, сапожникам, ювелирам, цирульникам и т. п., чем еще более сокращали площадь своего жилья. Некоторые из рабочих, осмелившиеся быть с нами более откровенными, указывали нам на существенный и главный порок всей системы, составлявший вместе с тем и главное ее достоинство с точки зрения капиталистов-предпринимателей. Рабочий, уплативший за свой домик ряд взносов, привязывался уже крепкими узами к предприятию, снабдившему его помещением, и становился в некотором смысле рабом его. Личный интерес

побуждал уже его уклоняться от защиты общих интересов прочих работников своей фабрики, и нужно было ему иметь много мужества и готовности к самопожертвованию, чтобы присоединиться к товарищам при возникновении всяких забастовок, споров, протестов и недоразумений с фабричной администрацией. Таким образом, эти, по внешности благодетельные для рабочих, cités ouvrières в конце концов являлись могущественным орудием притеснения рабочих и дисциплинирования их в интересах предпринимателей. Таково было и наше общее впечатление, вынесенное из этой поучительной поездки, и каждый из нас собирался писать по этому предмету исследование или, по крайней мере, статью или заметку в русские периодические издания, намерение, никем из нас, кажется, не выполненное, благодаря тому, что мы, а в особенности же я, захвачены были вихрем исключительных событий, розыгравшихся в общественной жизни цюрихской русской колонии, о чем речь будет далее.

VI

Приступая к возможно подробному описанию этих событий, замечу, что в русской публицистической и мемуарной литературе я не встретил более или менее обстоятельного, правдивого и беспристрастного изображения этих событий. В воспоминаниях одного из активных участников распри, розыгравшейся в русской колонии в 1872—1873 гг., Земфирия Ралли, помещенных в историческом сборнике «О минувшем», изданном в Петербурге в 1909 году, я нашел только краткое, но совершенно искаженное изложение этих событий. Как очевидец и активный участник упомянутой распри, считаю долгом представить свое более полное и, надеюсь, более правдивое их описание. А для того, чтобы беспристрастные читатели могли сами судить о степени правильности и логической последовательности того и другого рассказа, привожу здесь предварительно дословную выписку из воспоминаний Ралли. На стр. 292 и 293 означенного сборника он говорит:

«В Цюрихе все русское население разделилось на два враждебных лагеря. С одной стороны сгруппировалось большинство студентов и молодых людей вокруг Лаврова и Валерьяна Смирнова, с другой — не больше 15—20 лиц вошли в нашу группу, окрещенную именем бакунистов. Лавров звал молодежь учиться и тем подготовляться к полезной деятельности для народа, а бакунисты звали молодежь к революционной деятельности, к движению в народ... Взаимные отношения обеих групп быстро обострились; на несчастье, в это время В. Смирнов задумал издать за границей конфискованную в Петербурге книжонку Соколова «Отщепенцы», которая и

была отпечатана в типографии «Вперед!» в бытность ее еще в Цюрихе. Узнав о появлении своей книги, Соколов потребовал в качестве автора, не помню, какое количество экземпляров от издателей, в чем ему было отказано; желая лично объясниться по этому поводу, он обратился ко мне и В. Святловскому, прося нас быть свидетелями его свидания с Смирновым. На свидании, однако, оба вели себя крайне заносчиво, расплевались, разругались, и дело дошло до оскорбления действием. Оба свидетеля тотчас же бросились разъединять враждующих, уведя с собою озлобленного вояку Соколова. Вся эта крайне непривлекательная сцена, в которой виновны были обе стороны, произвела сильное впечатление на русскую колонию, которая усмотрела в скандале насилие со стороны бакунинцев, и, надо признать, имела на это некоторое право, так как Смирнов был хоть и большой задира, однако, человек тщедушный, слабый физически, между тем как подполковник Соколов был здоровенный детина.

Неприличное столкновение между Валерьяном Смирновым и Ник. Соколовым взбудоражило всю русскую колонию, которая большинством своих голосов решила потребовать изгнания из Цюриха Соколова, Святловского и меня, как виновных в скандале, хотя ни я, ни Святловский к совершенному насилию не были причастны, а напротив, прекратили его тотчас.

Конечно, никто из нас не согласился покориться такому решению, которое должно было быть хотя бы вердиктом третейского суда. Тогда часть делегации русской колонии обратилась в полицию, прося местного префекта Пфеннингера изгнать нас из города; под этим прошением в полицию помню хорошо подпись какого-то Мандельштама. Полиция, однако, прочтя нам просьбу, ограничилась заявлением, что мы, двое беспаспортных эмигранта, должны впредь вести себя так, чтобы на нас не жаловались паспортные путешественники, проживающие в Цюрихе. Тем дело и кончилось; нас собирались бить, составлялись целые группы, которые подстерегали нас в одиночку у нашего жилья, но почему-то никто из нас не был побит. Но если до этого не дошло, то, с другой стороны, благодаря взаимной распре между двумя лагерями публичная русская библиотека, созданная после долгих усилий исключительно нашей группой, должна была ощутить на себе всю тяжесть проявившейся розни. На собрании членов библиотеки большинство членов-читателей потребовало передать библиотеку Валерьяну Смирнову. Это требование, однако, было отвергнуто основателями билиотеки; большинство удалились из собрания, открыло новое собрание и послало на другой день Ал. Эльсницу решение, подписанное новоизбранным комитетом...

Протестовавшее большинство приняло, между прочим, следующее решение: «Русская библиотека в Цюрихе есть дело и достояние общественное, не могущее никогда составить собственность отдельных лиц или определенного кружка. На основании этого решения общество поручило нижеподписавшимся как принять от гг. Идельсон и Смирнова книги, документы и деньги, принадлежащие библиотеке, так и передать это решение лицам, продолжавшим заседать под вашим председательством... и войти в переговоры по поводу всего этого с уполномоченными от вас лицами...» В ответ на это требование вступить в какие-то переговоры по поводу библиотеки, организованной специально для политических беглецов за границу, наш кружок указал на статуты библиотеки, где определялись права членов-основателей. Таким образом, библиотека осталась в ведении нашего кружка, но это обстоятельство оказалось крайне гибелью для этого учреждения. Кружок распался и библиотека была продана одним из членов кружка эмигранту Элпидину в Женеве».

Этот рассказ изобилует неточностями, умолчаниями, искажениями истины и даже, могу сказать, сознательными неправдами. Прежде всего событиям дана ложная перспектива перестановкой хронологического их порядка, с целью придать библиотечной распре характер последствия дикого «столкновения» Соколова со Смирновым, лишив ее таким образом принципиального, общественного характера, тогда как в действительности события следовали в обратном порядке, и грубое насилие над Смирновым всею русскою колониею, за исключением малочисленной группы «бакунистов»,—правильно или неправильно, это другой вопрос, — было признано последствием библиотечной истории, или, точнее говоря, местью со стороны Росса, т.-е. М. П. Сажина, и его группы за то, что В. Н. Смирнов, избранный этою группою в секретари библиотеки, перешел на сторону читателей этой библиотеки и противников Росса.

При этом Ралли допустил еще против П. Л. Лаврова сознательную инсинуацию, утверждая, что в то время как бакунисты звали молодежь к революционной деятельности, к движению в народ, Лавров будто бы звал ее «учиться и тем подготовляться к полезной деятельности для народа». Это неправда. Такая характеристика взглядов Лаврова соответствовала, да и то не вполне, его идеям в то время, когда он еще жил в России и писал свои знаменитые «Исторические письма». Но затем, бежав из России и ознакомившись в Европе с рабочим движением и с социалистической литературой, он через 3 года явился в Цюрих уже сознательным социалистом-революционером и, приступая к редактированию журнала «Вперед»!», восклицал по адресу этой молодежи: «Вперед! к народу и через народ, к лучшим формам человеческой солидарности». Лавров боролся, правда, против проповеди невежества, утверждая, что интеллигентная молодежь должна нести народу знание, которого именно ему недостает; доказывал, что чем более пропагандист вооружен знанием, тем более будет он народу полезен, т.-е. говорил то же, что впоследствии утверждали все вожди русского социалистического движения, до Плеханова и Ленина включительно [49].

Как один из немногих, оставшихся в живых очевидцев и участников в событиях, имевших место в Цюрихе в 1872—1873 гг., я намерен изложить их в хронологическом и логическом их порядке, согласно действительности, не скрывая даже тех частностей, в которых лично участвовал и которые не мог сам не осуждать впоследствии, когда прошел угар и наступило успокоение взволнованных до крайности страстей.

Сперва о библиотечной истории, начавшейся еще до моего приезда в Цюрих.

Из рассказов раньше меня поселившихся в Цюрихе русских студентов я узнал, что библиотека была действительно учреждена Россом и его группой с целью пропаганды социалистических идей среди учащейся молодежи, а вовсе не «специально для политических беглецов за границу», как утверждает Ралли. Было создано для заведывания библиотекой особое общество и составлен устав, — или «статуты», как выражается Ралли, — по одному из параграфов которого в члены общества принимались новые лица по баллотировке, а остальные лица, пользовавшиеся библиотекой, числились лишь в разряде читателей и свои пожелания могли вносить в особую тетрадь, выложенную в читальне. Таким образом, никаких «членов-основателей» и «членов-читателей» не было, как говорит Ралли с целью еще более запутать и без того туманный свой рассказ, а были только правомочные «члены», распоряжавшиеся библиотекой и бесправные «читатели», могущие лишь заявлять о своих желаниях и нуждах. По мере наплыва русских учащихся в Цюрих средства библиотеки возрастали обильными взносами абонентной платы читателей, так что избыток ее доходов обращался на ее обогащение. Неизвестно мне, по чьему почину и распоряжению, но во всяком случае с ведома, очевидно, Росса и его кружка, библиотека была переименована в «библиотеку русских студентов в Цюрихе», заказаны были соответственные бланки для писем и такая же печать. На этих бланках и за этой печатью избранные собранием секретарь Смирнов и библиотекарша Идельсон рассылали в Россию многочисленные письма, просьбы и воззвания, приглашая редакторов, издателей и авторов присылать для нужд русской учащейся молодежи книги и периодические издания бесплатно или же по пониженной цене. Эти воззвания имели большой успех, и библиотека быстро обогащалась. Таким образом, в 1872—1873 году можно было сказать, что эта библиотека создана была вовсе не «долгими усилиями исключительно» группой Росса, как ложно утверждает Ралли, а главным образом, если не исключительно, взносами читателей, усердием Смирнова и Идельсон и сочувствием русского общества к нуждам русской молодежи, оторванной от родины.

Когда в 1872 г., незадолго до моего приезда в Цюрих, в состав членов библиотеки избран был по баллотировке С. А. Подолинский, то он обратил внимание на неестественность положения вещей, при котором заведывание «студенческой» библиотекой находится в руках группы из 18 душ «членов», а сотни

«читателей» остаются совершенно бесправными. В виду этого он и поднял вопрос о пересмотре устава и о предоставлении полного права участия в управлении библиотекой всем читателям, удовлетворяющим известному цензу. К этому мнению присоединились Смирнов и Идельсон, а остальные 15—17 членов, охраняя свои права и опасаясь усиления оппозиции, стали систематически забаллотировывать всех кандидатов, в том числе и поселившегося в Цюрихе бывшего киевского профессора Н. И. Зибера, социалиста и первого пропагандиста Карла Маркса в России. Благодаря такой политике «россовцев» бывшее общественное учреждение обратилось в монопольную собственность ограниченной группы. Этот конфликт взволновал всю русскую колонию. В тетрадь для замечаний и предложений читателей, выставленную в читальне, стали заноситься протесты и обширные статьи в защиту изменения существующих порядков заведывания и управления библиотекой. Помню, между прочим, статьи самого Подолинского и проф. Зибера, а талантливая студентка Софья Бардина, вскоре прославившаяся знаменитою защитительною речью на суде по московскому процессу 50-ти, поместила горячее и страстное воззвание к читателям под эпиграфом: «Das Volk stand auf, der Sturm brach los!» Я тоже поместил в тетради довольно обширную заметку, в которой, подобрав ряд подлинных цитат из произведений Бакунина, изучением коих был в то время занят, доказывал цюрихским «бакунистам» расхождение их поведения с принципами своего же учителя. Заметка эта понравилась многим, и со времени ее написания началось мое более интимное сближение с Смирновым и Идельсон, а через них и с большинством цюрихской молодежи. Наука, ради которой я главным образом и приехал в Цюрих, отошла на второй план, и я занялся преимущественно местной общественною деятельностью и вопросами, волновавшими молодежь: о социализме и революции, об Интернационале и борьбе Маркса с Бакуниным и т. д.

Вопрос о пересмотре устава был Подолинским официально внесен в предстоявшее в начале 1873 года годовое собрание библиотеки. Опасаясь захвата библиотечного имущества Смирновым и его сторонниками, Росс неожиданно, в декабре или январе, распорядился перенести книгохранилище и читальню из Frauenfeld'а, где она помещалась при квартире Смирнова и Идельсон, в большой многоэтажный дом против политехникума и его сквера, носивший замысловатое имя Bremerschlüssel. В этом доме, сплошь почти заселенном бакунистами, кстати нашелся большой и очень удобный зал для читальни и собраний.



Валерьян Николаевич
Смирнов

В этом зале в начале февраля 1873 г. и состоялось общее годовое собрание членов библиотеки для обсуждения, между прочим, и внесенного Подолинским предложения об изменении параграфа устава о баллотировке новых членов. К назначенному часу у длинного стола лицом к публике расселись 18 членов библиотеки, а остальная часть зала, очищенного от мебели для большей поместительности, заполнилась тесно стоявшими почти вплотную друг к другу, возбужденными бесправными читателями, число которых, вероятно, переходило за две сотни. Когда на очередь поставлен был вопрос о пересмотре устава, большинство «членов» библиотеки, т. е. 15 человек, категорически высказалось за сохранение существующего порядка. Многие из присутствовавших в зале «читателей» энергично отстаивали свои права. В разгаре споров сам Росс в сильно возбужденном состоянии вскочил на стул и объявил, что никаких изменений в уставе он не допустит. «До сих пор, — говорил он, — в библиотеке без моего ведома и согласия даже чернильницы не покупалось; так это было раньше, так останется и впредь!» Эта речь особенно возмутила публику.

Когда при баллотировке оказалось, что, как и можно было предвидеть, только три члена — Подолинский, Смирнов и Идельсон — высказались за изменение устава, а все остальные 15—17 членов, с Россом во главе, — за оставление устава в прежней редакции, тогда в свою очередь Подолинский вскочил на стул и, стоя над взволнованной толпой, громким голосом объявил, что «читатели» библиотеки, присутствующие в зале, с таким положением мириться не могут, и предложил последним немедленно перейти к заблаговременно уже нанятый зал на улице Платте, где, признав себя полноправными членами общественной библиотеки, продолжать прерванное заседание. За этими словами все «читатели», выйдя из Бремершлюсселя, шумною толпою, на виду изумленных мирных обывателей Готтингена, двинулись по широкой Платте, заняв всю улицу, до тротуаров включительно, и придя в указанное Подолинским помещение, открыли «продолжение» того же общего собрания, признали себя полноправными членами общества библиотеки и постановили: признать библиотеку русских студентов в Цюрихе «общественным достоянием, не могущим стать собственностью отдельного лица или кружка», обязать Смирнова и Идельсон, для снятия с них всякой личной ответственности за последующие действия собрания, сдать книги, документы, деньги и печать библиотеки избранной собранием комиссии, сообщить на бланках библиотеки и за ее печатью как почтовому ведомству, так и издателям и

редакциям новый ее адрес и, наконец, предложить всем читателям находящиеся у них на руках для чтения книги сдавать вновь избранному составу служащих в новое помещение. А так как этих книг окажется, надо полагать, недостаточно для удовлетворения духовных потребностей многочисленных абонентов, то немедленно же открыть среди читателей подписку пожертвований на ее пополнение. Воодушевление членов собрания было настолько велико, что к концу его подписка достигла крупной суммы (свыше 10.000 франков). Избранной комиссии, в состав которой вошел и я, поручено было вступить в переговоры с Россом и его группой о возможном мирном соглашении к обоюдной выгоде обеих сторон. Мы, с своей стороны, предлагали Россу и его сторонникам или примириться с совершившимся фактом, или же приступить к размену разрозненных изданий и к распределению всего книжного богатства библиотеки по источникам приобретения книг. К сожалению, группа Росса от переговоров уклонилась, вследствие чего в Цюрихе оказалось две русских библиотеки, обе с разрозненным книжным инвентарем, из коих одна все же располагала крупным капиталом и солидным бюджетом в лице 300 абонентов для своего пополнения, а другая осталась без средств и без читателей, что неизбежно должно было привести ее к гибели.

Надо здесь оговорить, что и до пополнения захваченной нами части библиотеки на счет собранного по подписке капитала ее нельзя было считать ничтожной по числу и составу книг. Дело в том, что удачно проведенный захват части библиотечных книг явился результатом предварительно составленного заговора. За неделю, приблизительно, до февральского собрания группа «заговорщиков», человек 8—10, среди которых был и я, собралась в Oberstrasse, на квартире студента политехникума Москалева, и там порешила в течение остающихся до собрания нескольких дней выбрать из Бремершлюссельской библиотеки и перенести к себе на дом под предлогом чтения возможно бо́льшее число книг, выбирая наиболее интересные для будущего состава отколовшейся библиотеки. В заговор этот были вовлечены Смирнов и Идельсон и еще несколько лиц из читателей, на скромность которых можно было рассчитывать. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, как мы, «заговорщики», в последние дни ежедневно выходили из читальни, неся под мышкой более или менее значительную охапку книг; но ослепление бремершлюссельцев, уверенных в своей силе, было столь велико, что они и не заметили, как из-под их надзора из Бремершлюсселя выносились наиболее ценные их сокровища. Таким образом,

вместе с вновь приобретенными за 10 тыс. франков книгами возрожденная библиотека являлась уже довольно богатым книгохранилищем.

Вот последовательный и правдивый рассказ о цюрихском библиотечном конфликте. Читателям моих воспоминаний предоставляется самим судить, которая из двух предложенных им версий заслуживает более доверия. Я здесь вовсе не ставил вопроса о том, которая из двух боровшихся партий была права. Несомненно, что обе они считали себя правыми. Бакунисты, конечно, не могли не отстаивать своих прав в учреждении, основанном ими для уловления последователей своей партии, для внедрения в их умы своего учения и для оберегания своих неустановившихся еще сторонников от заразы противоположных мнений. Неправы они были лишь в том, что пользовались неправильно именем библиотеки для своих партийных целей, провозили, так сказать, военную контрабанду под нейтральным флагом. С своей стороны и читатели считали себя в праве сбросить с себя ферулу кучки партийных людей, деспотически навязывающих им свои узкие партийные взгляды.

VII

После «февральской революции», как мы стали называть удавшийся библиотечный coup d'état, наступили для цюрихской колонии страдные дни. Пришлось выбрать новый состав служащих библиотеки взамен Смирнова и Идельсон и подыскать удобное помещение для читальни и книгохранилища, оборудовать это помещение, избрать комиссию для составления каталога книг, захваченных из старой библиотеки Росса, а также списка книг для пополнения пробелов этого каталога и т. д.

Рядом с этим возникло предположение об открытии в Цюрихе собственной русской студенческой столовой, что также повлекло за собой ряд собраний и подготовительных и исполнительных комиссий. Среди русского студенчества было много малосостоятельных лиц, для которых пансионные обеды, при всей их дешевизне, были все же не по карману, а многим из них и не по вкусу. Для удовлетворения этой потребности и была открыта в особо нанятом обширном помещении на той же улице Платте особая общественная столовая, где желающие могли получать обеды за дешевую плату с русскими блюдами. По подписке собрана была небольшая сумма на оборудование столовой и кухни при ней и приглашена для хозяйственного заведывания кухней студентка, кажется, Сухова. Пришлось также составить из

обедающих список дежурных, обязанных приходить в столовую заблаговременно, следить за чистотой и порядком в столовой, вести списки столующихся, выдавать талоны, собирать за них деньги и т. д. Я, хотя и не мог причислить себя ни к разряду особенно нуждающихся в дешевом обеде, ни к числу горячих поклонников отечественной «кухни», тем не менее из чувства солидарности тоже записался в число обедающих и само собою попал и в рязряд дежурных.

Вследствие обширности зала в столовой, в этом помещении стали устраиваться и общие собрания колонистов, а также и чтение лекций. К этому времени как раз и состоялось окончательное переселение в Цюрих Петра Лавровича Лаврова, принявшего на себя предложение приезжей из Петербурга депутации революционной молодежи об издании и редактировании революционного социалистического органа «Вперед!». Знаю, что Лавров в первый раз приезжал в Цюрих в конце 1872 года, вероятно, для окончательных переговоров со Смирновым и другими сотрудниками о помещении редакции, о типографии и пр. Затем он уехал по своим личным делам и вернулся уже в начале 1873 года. Был ли он в Цюрихе во время распри за библиотеку и присутствовал ли на февральском собрании, я этого не помню и мог его не заметить [50]. Дело в том, что я, будучи горячим поклонником «Исторических писем» Миртова, как провинциальный обыватель, и не подозревал, что Лавров и Миртов одно и то же лицо, и когда я узнал о его приезде в Цюрих, то отнесся к этому известию довольно пассивно, как к появлению заурядного петербургского литератора, коих в то время появилось в Цюрихе немало, и только после того как узнал, что Лавров и Миртов — одно лицо, я заинтересовался появлением среди русских пожилого близорукого, в сильных очках, старца; П. Л. Лавров, имевший в то время всего только 49 лет, по причине крайней близорукости и слабости ног выглядывал 65—70-летним старцем. Появление такого старца среди молодежи не могло быть незамеченным, и потому, если бы Лавров принимал какое-либо, даже малейшее, участие в библиотечной распре, то я не мог бы этого не заметить. Думаю, что вторичный приезд Лаврова состоялся уже после февральского библиотечного собрания. К этому времени Смирнов и Идельсон из прежней библиотечной квартиры в Frauenfeld'е переехали в Forsthaus, в небольшой уличке у подошвы Цюрихберга, в пригороде Fluelen, где с ними поселился и Лавров с типографией и редакцией журнала «Вперед!». В это время Лавров предпринял и чтение небольшого числа своих лекций «О роли славян в исто-

рии мысли» и др. Понемногу жизнь в Цюрихе приняла спокойное течение, как вдруг разыгралось новое происшествие, взбудоражившее всю колонию еще в гораздо большей степени, чем библиотечная распря. Произошло то отвратительное событие, которое бытописатель цюрихской жизни Ралли окрасил елейными чертами, назвав «неприятным» столкновением Смирнова с Соколовым, нанесшим первому «личное оскорбление», по поводу которого Н. К. Михайловский в письме к Лаврову заявил о своем отвращении к эмигрантским нравам, делающим возможными насилия, подобные произведенному над Смирновым [51]. С возможною для меня объективностью я и приступаю к правдивому и последовательному рассказу об этом событии.

Случайно в этот злополучный день я был дежурным по студенческой столовой, помещавшейся, как я уже сказал, в одном из домов на Платте, и пришел туда заблаговременно, до 12 часов, чтобы приготовить списки столующихся и талоны на кушанья. Едва я успел открыть конторку и выложить оттуда все документы и нашу кассу, заключавшуюся в нескольких наличных франках в старой жестяной табачной коробке, как вдруг в открытую с улицы дверь вбегает в столовую молодая служанка из Forsthaus'a, простоволосая и растрепанная, с выражением крайнего ужаса на лице и с неестественно повышенным криком: «Смирнова убили!» (Smirnoff ist getötet, или Man hat Smirnoff ermordet, — точно слов не помню).

Я в полном ужасе, бросив на произвол судьбы открытую конторку, деньги и документы, стремглав, без шапки, кинулся в Форстхаус, отстоявший от столовой на расстоянии 200—300 саженей, так что туда я прибежал первым из посторонних. Смирнова я застал лежавшим на кровати с лицом, сплошь покрытым ссадинами и кровоподтеками, издающим глубокие стоны. Две пожилых женщины, повидимому, соседки по квартире, хлопотали около него, смывали кровь с его лица и прикладывали к его голове холодные компрессы. Увидя Смирнова живым и в состоянии, очевидно, требовавшем прежде всего медицинской помощи, я, не тратя драгоценного времени на расспросы, тотчас же побежал назад, в город, за врачом. Встречая по пути многих русских, спешивших в Форстхаус вследствие быстро распространившейся вести о трагическом происшествии, я не останавливался для ответов на взволнованные расспросы, и только встретив П. Л. Лаврова, в припрыжку, без провожатых спешившего под гору домой, я успел ему крикнуть: «Смирнов жив, спешу за доктором». Поймав встречного извозчика, я скоро нашел врача и повез его в Форстхаус с наскоро захваченными кое-какими ору-

диями и медикаментами. Когда мы туда приехали, вся квартира оказалась переполненной взволнованной публикой, и около Смирнова уже хлопотал прибежавший на слух старый студент-медик Николай Васильевич Васильев, имевший обширную бесплатную медицинскую практику среди русских.

Наэлектризованная происшествием публика потребовала созыва общего собрания всей колонии, которое немедленно и состоялось, в составе по меньшей мере 200 душ, мужчин и женщин, не думавших об обеде, оставшемся в этот день, вероятно, у многих несъеденным. На собрании, со слов окружавших пострадавшего Смирнова лиц, было выяснено, что на его совместную с Лавровым квартиру, в отсутствии всех прочих жильцов, явился автор «Отщепенцев», эмигрант подполковник Соколов в сопровождении свидетелей: доктора Владимира Владимировича Святловского и эмигранта Земфирия Ралли и потребовал у него, Смирнова, объяснения, на каком основании он осмелился печатать книгу «Отщепенцы» без его, авторского, разрешения. На это Смирнов ему отвечал, что книга печаталась не по его личному распоряжению, а редакцией «Вперед!», желавшей использовать для революционного дела временно остававшиеся без работы силы своей типографии, и что испрашивать для этого напечатания разрешения у автора редакция считала необязательным, так как между Россией и Швейцарией нет литературной конвенции, и всякий швейцарец волен перепечатывать любое русское издание, тем более, что редакция «Вперед!» издавала книгу не для барыша, а для распространения идей автора, против чего ему не было причины возражать [52]. Возникший затем между ним и Соколовым горячий спор закончился тем, что Соколов так сильно ударил Смирнова наотмашь по уху, что Смирнов упал на пол, а Соколов, схватив его за длинные волосы, стал трясти его голову и бить его лицом об пол до тех пор, пока он потерял сознание. Очнулся Смирнов лишь на кровати, куда перенесли его сбежавшиеся на крик служанки и соседки.

Хотя Смирнов не мог подтвердить правдивость своего рассказа ссылкою на свидетелей, но соответствие его рассказа с действительностью и ложность показаний Земфирия Ралли вытекает из того, что редакция «Вперед!» не могла бы отказать автору в даровых авторских экземплярах, так как барыш, на который рассчитывать подпольному изданию было немыслимо, не был целью издания книги, напротив того, выдача автору известного числа экземпляров должна была лишь способствовать более успешному распространению издания, тем более, что в удовлетворении этого требования не отказала бы автору и любая

буржуазная фирма, в особенности вследствие бесплатности получения оригинала. Что же касается зверской жестокости расправы, учиненной над Смирновым, то она была очевидна для многих десятков лиц, перебывавших в квартире Смирнова, который пролежал в постели чуть ли не более двух недель, и, наконец, удостоверялась криком служанки, прибежавшей в столовую с извещением, что Смирнов «убит». Слишком нагло было со стороны Земфирия Ралли называть «оскорблением действием» избиение и даже истязание, в результате которого избитый слег в постель на две недели; слишком медленно «бросились» Ралли и Святловский «разъединять враждующих»: они вмешались, когда Смирнов уже лежал без сознания на полу.

Созванное немедленно собрание было очень бурно и сопровождалось многочисленными страстными и даже истерическими речами. На собрание явилась жена доктора Святловского, Раиса Самойловна, с целью оправдать присутствие своего мужа при этой расправе; но собрание не захотело ее слушать, и она вынуждена была уйти под крики: «Вон! Вон! Никаких объяснений! Никаких оправданий!». Вслед за нею, с восторженным лицом, забрызганным кровью, вбежала на собрание студентка Запольская или Заславская, — точно ее имя не упомню [53], — с криком: «Я отомстила за Смирнова! Я публично дала пощечину Россу! Встретив его на улице, окруженного своими сторонниками, я ворвалась в их среду и ударила Росса в лицо; он хотел в меня стрелять из револьвера, но окружающие удержали его, и он успел лишь ударить меня ручкой револьвера в спину с такой силой, что у меня хлынула кровь из горла!» Ее сообщение встречено было аплодисментами и криками одобрения, после чего ее увели из зала, чтобы смыть кровь с ее лица и платья.

После этого собрание продолжалось.

Из всего изложенного видно, что наибольшая сила общественного негодования обрушилась не на физического виновника насилия Соколова, а на главу цюрихских бакунистов, Росса, которого, без всякого соглашения или обсуждения, а как бы по наитию, все решительно сочли интеллектуальным виновником заранее задуманной расправы, как мести за измену Смирнова в библиотечной распре. Некоторым подтверждением этого обвинения послужило для собрания сделанное тут же заявление двух или более лиц, — кого именно, не помню, — которые будто бы в момент расправы видели Росса и двух его сторонников вблизи Форстхауза, куда им заходить не могло быть никакой надобности, так как эта улица была всегда довольно пустынна и не проходная. Кроме того, помню, указывалось еще на то, что для

расправы избрано было именно то время, когда Смирнов обычно оставался в квартире один.

Без дальнейшего расследования и не допустив даже жену доктора Святловского к объяснению, собрание единогласно признало виновными в зверском, заранее задуманном, насилии физического его виновника Соколова, двух его свидетелей—Владимира Святловского и Земфирия Ралли, которые, если, быть может, и не могли предупредить первого удара, то не должны были спокойно взирать на дальнейшее истязание слабого и больного человека, и, наконец, Росса и двух его товарищей, стороживших во время исполнения их общего адского замысла. Без возражений, а, следовательно, единогласно, а не большинством, как утверждает Ралли, собрание постановило потребовать удаления из Цюриха всех упомянутых 6 лиц.

Когда в собрании возник вопрос о том, какими же мерами можно понудить осужденных обществом лиц подчиниться решению, то кто-то предложил обратиться по поводу совершенного незаконного насилия к цюрихской полиции, но собрание энергично воспротивилось этому, и, не помню по чьему предложению, постановило: «приведение означенного постановления в исполнение предоставить частной инициативе». Таким образом и в этом случае Ралли солгал, утверждая, что часть «делегации» русской колонии обращалась с жалобой к Пфеннингеру и в полицию. Если такая жалоба и была подана Мандельштамом с товарищами, — а о такой жалобе, сколько мне помнится, были тогда слухи, — то одна подана была во всяком случае не «делегацией» колонии и не частью «делегации», а совершенно частными лицами вопреки постановлению собрания [54]. Настаиваю на этом не потому, чтобы признавал обращение к защите полиции более зазорным для русской колонии, чем откровенный призыв к учинению насилия в отметку за насилие, а исключительно для большего оттенения пристрастности рассказа Ралли, так как он приписал эту жалобу «делегации» от колонии для того, чтобы уколоть собрание, которое, выдавая себя за революционное, тем не менее унизилось до призыва полиции на свою защиту. В невысокой степени «революционности» колонии, многие из членов которой, вернувшись в Россию, стали усердными слугами царского правительства, конечно, не может быть сомнения, тогда как Росс и его группа были отборными революционерами; я указываю только на это противоречие с действительностью, как на лишнее доказательство пристрастия З. Ралли в его повествовании о былых событиях.

Лично я был вполне солидарен со всеми решениями собрания, тем более, что, насколько помню, если не председательство-

вал на этом собрании, то во всяком случае входил в состав президиума. Впоследствии, придя в более нормальное состояние, я, конечно, понял, что к безапелляционному признанию Росса интеллектуальным виновником злодеяния не было достаточно неопровержимых доказательств. Точно так же недостаточно доказанным было обвинение секундантов Соколова Владимира Святловского и Ралли в сознательном и преднамеренном участии в преступлении, тем более, что собрание не пожелало даже выслушать оправданий Раисы Святловской. Наконец, не мог я не признать, что как обращение к защите цюрихской полиции, так и призыв к насилию не соответствовали достоинству общества. Для насильников достаточным наказанием являлось единогласное их осуждение обществом, и заботы о приведении этого осуждения в исполнение были совершенно излишни; но мы тогда действовали в состоянии полной невменяемости, и я лично, должен признаться, усердно участвовал не только в призыве к насилию, но и в нескольких, к счастью, неудавшихся, попытках выполнения этого позорного постановления.

Из группы осужденных обществом только Соколов и Владимир Святловский подчинились приговору: по крайней мере оба они исчезли с горизонта местной жизни. Остальные приняли лишь меры к самозащите. Росс выходил из Бремершлюсселя не иначе как под эскортом толпы своих сторонников, а Земфирий Ралли я сам однажды видел идущим по улице с правою рукой, завернутою в плед, с целью прикрыть заряженный револьвер в руке. Впрочем, никто его бить не намеревался, а вся сила общественной ненависти и злобы сосредоточилась на личности одного Росса.

Тотчас же после собрания группа молодых людей, большею частью, кажется, кавказцы, прозванная «Негодницей», вызвалась выслеживать выходы Росса из Бремершлюсселя и чуть не ежедневно докладывала о результатах своих наблюдений.

В первые же дни после собрания она донесла, что Росс часто по каким-то конспиративным делам выходит из дома ночью без охраны. Сейчас же вызвались охотники подстеречь его в этих рискованных ночных экскурсиях и, к стыду своему, должен признаться, что в числе этих охотников оказался и я. Несколько ночных часов просидел я с заряженным револьвером в руке в густых кустах сквера против подъезда Россовской резиденции. Этот постыдный подвиг тем более удивителен для меня самого, что вследствие одного частного, счастливо кончившегося, случая в моей юности я на всю жизнь сохранил отвращение к огнестрельному оружию, никогда не прикасался даже к нему и не за-

пасался револьвером даже во время многократных своих экскурсий по Кавказу, иногда пешком и в одиночку. По счастью, ночные засады у Бремершлюсселя оказались безрезультатными, и «пристукать» Росса не удалось.

В другой раз эмигрант Александров, проявлявший в этом деле подозрительную рьяность, собрал наиболее энергичных мстителей за обиду Смирнова, в том числе и меня, на вечернее конспиративное совещание. Собралось нас душ 8 или 10. Так как комната, где мы собрались, расположена была в нижнем этаже и окнами выходила на улицу, то для пущей конспирации мы, точь-в-точь как в каком-нибудь итальянском разбойничьем романе, уселись в кружок на полу. Александров доложил, что через одно лицо, ведущее с Россом таинственные переговоры по революционным делам, он имеет возможность вызвать его шифрованною запиской на тайное ночное свидание в определенном пункте в лесу, растущем на Цюрихберге. Если вблизи условленного места устроить засаду, то можно будет его накрыть в одиночку и основательно с ним расправиться. Мысль эта была одобрена, и Александров уполномочен был приступить к ее выполнению, причем один из присутствовавших при общем одобрении заметил: «Если бить, так уж бить так, чтобы на простыне его вынесли». План этот не был осуществлен, по мнению некоторых, просто потому, что инсценирован он был Александровым только лишь для поднятия своего престижа.

Дней через 8, если не через 10, после происшествия, когда взволнованные страсти должны были бы уже несколько остынуть, состоялась еще одна, наиболее крупная — по числу участников, и наиболее нелепая — по плану, попытка, к счастью, тоже окончившаяся неудачей. «Негодница» донесла, что в указанный день, около 12 часов дня, Росс самолично должен посетить одного столяра, живущего в конце Oberstrasse, для переговоров по случаю заказа деревянных «касс» для устраиваемой бакунистами типографии. Решено было устроить засаду в пивной, задними дверями сообщавшейся с двориком, где помещалась столярная. С точки зрения военной тактики трудно было найти более удобную позицию, так как застигнутый во дворе с двух сторон — с улицы и из пивной, Росс не имел бы пути к отступлению, и скандальное побоище произошло бы не на улице, а во дворе, не на глазах уличной толпы, что было бы менее зазорно. Поодиночке или парами, все «заговорщики», числом не менее 15 душ, собрались, не обнаруживая своего сговора, в пивной и расселись по столикам за кружками пива. Надо сказать, что в группу заговорщиков входила не одна только легко воспламеняющаяся моло-

дежь, но и лица более солидные, и между ними, кроме меня, могу вспомнить Подолинского, затем бывшего следователя, мужа Веры Фигнер — Филиппова и даже — horribiile dictu — редактора петербургского научного журнала «Знание», Исидора Альбертовича Гольсмита, случайно в это время приезжавшего в Цюрих для переговоров с Лавровым о его сотрудничестве в «Знании». Самый юный из заговорщиков, Ванечка Чернышев, хвалившийся остротою зрения, оставлен был на улице вестовщиком, чтобы, увидя за полверсты и более идущего к столяру Росса, предупредить своевременно остальных заговорщиков. Прошло с полчаса; на соседней колокольне пробило полдень, а Ванечка все не дает знать о появлении в конце малолюдной Оберштрассе фигуры Росса. Прождали еще некоторое время и, наконец, решили предпринять рекогносцировку, послав наиболее солидных и сильных среди нас—Подолинского и Филиппова—в мастерскую столяра под предлогом переговоров о каком-нибудь заказе. Не прошло и полминуты по их выходе через задние двери пивной, как в той же двери появился Подолинский с побледневшим лицом и объяснил, что в мастерской они уже застали Росса, прошедшего туда, очевидно, окольными путями, по задворкам. Увидя их, Росс быстро направил револьвер на вошедших и объявил хозяину, что вошедшие люди намерены его бить. По знаку хозяина его работники быстро кинулись запереть входную дверь, так что Подолинский едва успел выскочить, а Филиппов очутился в плену. Таким образом, экспедиция потерпела фиаско, и мы остались в пивной, молча выжидая событий. Вскоре мимо окон пивной по улице прошел по направлению к Бремершлюсселю один из рабочих столяра с запиской Росса, а не более как через четверть часа оттуда мимо пивной прошел весь личный состав россовской группы, человек до 15 мужчин и женщин, которые, окружив толпою Росса, торжественно проследовали обратно мимо пивной. Только после этого из столярной с унизительными наставлениями выпущен был Филиппов, проведший более 15 тяжелых минут, размышляя о том, будут или не будут его бить за попытку учинить скандал во владениях свободного цюрихского гражданина. По счастью, этого не случилось. Повидимому, Росс сам не захотел затевать скандала, который мог бы повредить и ему самому, и его делу.

На этом закончились неудачные, к счастью, попытки членов цюрихской колонии отомстить Россу за насилие над Смирновым, но зато была сделана со стороны партии Росса неудавшаяся попытка внести дух примирения в среду враждовавших в Цюрихе русских. С этой целью в Цюрих вскоре приехал из Локарно

сам Бакунин и пожелал иметь свидение с Лавровым и его «сторонниками». На это свидание в комнате Лаврова в Forsthaus'е был приглашен и я. Собралось человек около 10, из коих я помню только Александра Кропоткина. Лавров и Бакунин сидели рядом на диване, выказывая друг другу внешние знаки почтения и уважения, но отпуская, однако, по временам более или менее ядовитые шпильки друг против друга; м ыже все расселись вокруг на стульях. Бакунин красноречиво доказывал необходимость примирения в интересах сбережения сил для борьбы с общим врагом — русским царизмом, и указывал на неосновательность обвинения Росса и его группы в предумышленном нападении на Смирнова. Лавров возражал, ссылаясь на факты, уличавшие, по его мнению, эту группу в предумышленности враждебных действий и доказывал невозможность совместной деятельности с группой, прибегающей к столь диким способам политической борьбы. Говорили затем и некоторые другие из приглашенных на совещание; особенно горячо и красиво говорил Кропоткин, содержание речи которого, к сожалению, не сохранилось в моей памяти.

Попытка Бакунина так и не удалась, и вражда двух партий и направлений, потеряв некоторую остроту, сохранилась и впредь, отразившись в неприязненных нападениях бакунистов на издававшийся под редакцией Лаврова журнал «Вперед!» и даже по прошествии многих лет сказавшись на неверном освещении фактов в воспоминаниях З. Ралли.

VIII

Предыдущие страницы были мною написаны в 1924 — 1925 году, когда я имел в виду лишь изданные в России воспоминания о цюрихских событиях Земфирия Ралли, в которых нашел отмеченные мною выше отступления от истины, сравнительно довольно легкие инсинуации по адресу «нереволюционности» Лаврова и некоторое смягчение обстоятельств гнусного насилия силача Соколова над тщедушным Смирновым. Но через 4 года, в конце 1928 года, я познакомился с воспоминаниями о Лаврове самого Росса, т. е. М. П. Сажина, напечатанными Витязевым (Ф. И. Седенко) в октябрьской книжке «Голоса Минувшего» за 1915 год, где нашел гораздо большие отступления от истины, в том числе явные клеветы по адресу Лаврова и резкое искажение событий и их хронологии с целью изобразить П. Л. Лаврова в карикатурном виде мелочного интригана и человека без твердых убеждений. Хотя эти воспоминания подписаны в печати Витязе-

вым, а не Сажиным или его псевдонимом, но тем не менее авторство Сажина не может подлежать сомнению; во всяком случае, раз клевета опубликована, она должна быть разоблачена помимо вопроса о личной ответственности клеветника.

«К 1872 году, — говорится в этих воспоминаниях, — русская колония в Цюрихе очень расширилась, чуть ли не до 150 человек. Центром «русского Цюриха» был «з н а м е н и т ы й» (подчеркнуто мною. — *Н. К.)* дом, известный под названием «Bremerschlüssel». Верхний и нижний этажи этого дома были заселены исключительно русскими, и в нижнем этаже находилась библиотека колонии, а дом почти целиком заселен был «россовцами».

Здесь мы видим яркий образчик своеобразной умственной аберрации, при которой ближайшие к автору предметы и события неестественно преувеличиваются и ошибочно становятся грандиозными, «знаменитыми» и т. д. В действительности ничего подобного описанному здесь автором не было. Как я уже изложил выше, я приехал в Цюрих в августе 1872 года, и в день приезда разыскал русскую библиотеку в доме под названием Frauenfeld, где две передние комнаты квартиры секретаря и библиотекаря, Смирнова и Идельсон, заняты были под читальню и книгохранилище библиотеки. В читальне я застал много русских и затем, почти ежедневно посещая библиотеку и читальню, всегда заставал там большое оживление и перезнакомился с большинством членов русской колонии, так что если говорить о тогдашнем «центре русского Цюриха», то он, конечно, окажется в Frauenfeld'е, а не в Bremerschlüssel'е, или же, если хотите, в квартире Смирнова и Идельсон, а не в квартире «россовцев». О «знаменитом» Bremerschlüssel'е я в течение 4—5 месяцев жизни в Цюрихе вовсе и не слыхал, а в первый раз услышал это название, когда, придя в Frauenfeld, узнал, что по распоряжению Росса (или «россовцев») библиотека переведена в дом, где сосредоточились квартиры бакунистов, вследствие не лишенного основания их опасения, что библиотека может быть захвачена большинством «читателей», недовольных своим бесправным в ней положением.

Таким образом, если по справедливости библиотеку и можно было назвать «центром русского Цюриха», то «знаменитым» домом должен был бы быть назван «Frauenfeld», где помещалась библиотека, не знаю сколько времени до меня и не менее 4 месяцев при мне, а не «Bremerschlüssel», где она пробыла не более 1—2 месяцев до своего распада и могла придать «знаменитость» этому дому лишь в глазах автора воспоминаний.

Считаю излишним подробно опровергать все инсинуации Сажина, касающиеся кардинальных изменений взглядов Лаврова, высказывавшихся в разных программах журнала «Вперед!», так как сам Лавров в своем сочинении «Народники-пропагандисты» рассказал историю трех программ, не его «личных взглядов», а различных журналов, редактором которых он готовился сделаться: один — для издания за границей статей русских либеральных и радикальных писателей, не соответствующих требованиям русской цензуры; другой, — в который он рассчитывал привлечь Бакунина и его последователей; и третий, — к которому он приступил, убедившись в невозможности совместной работы с бакунистами [55]. Можно было лишь удивляться наивности Лаврова, надеявшегося на более или менее прочный союз с Бакуниным и его партией. Бакунин нигде и никогда не примирился бы со второю ролью в журнале «Вперед!», как не выдержал второй роли в «Колоколе» и затем в Интернационале. Скажу только, что я считаю грубой клеветой Сажина ту часть его «Воспоминаний», где он, передавая свои парижские беседы с Лавровым, утверждает, что последний говорил о намерении своем охранять русскую молодежь от вредного влияния агитаторов, отвлекающих ее от научных занятий к революции [56]. Еще в начале 60-х годов, во время студенческих беспорядков в Петербургском университете, Лавров, в мундире профессора Артиллерийской академии, лично выступал на студенческих сходках; немыслимо, чтобы он по прошествии более 10 лет, покончив свои счеты с русским правительством, вступив открыто в ряды Интернационала и более активно отнесясь к Парижской Коммуне, чем сам Сажин, мог проводить такие дикие охранительные взгляды [57].

В конце концов оказалось, однако, что даже по воспоминаниям Сажина не разногласие в программе вызвало окончательное прекращение переговоров, а категорическое отклонение Лавровым домогательств Сажина и его товарищей на самостоятельную роль в редакции журнала, так как Лавров не намерен был делить с кем-либо полномочия, лично полученные им из России.

После описания провала переговоров в воспоминаниях Сажина начинается самое беззастенчивое измышление фактов, умышленное искажение хронологии событий, бездоказательное приписывание Лаврову неблаговидных намерений, которыми, по собственному признанию, руководились цюрихские последователи Бакунина. «С этого момента, т.-е. со времени провала переговоров,—говорится в «Воспоминаниях»,—и началась борьба между «лавристами» и «бакунистами». Первое проявление этой борьбы сказалось вокруг цюрихской библиотеки...». «Надо сказать

откровенно, — говорится далее, — что библиотека попросту была ширма, за которой здесь группировались исключительно сторонники Бакунина... Вокруг нее главным образом происходило объединение всех русских. Было ясно (!), что хозяева библиотеки в сущности являются хозяевами всей колонии...» «Лавров, конечно (!), прекрасно понимал это обстоятельство. Стараясь привлечь молодежь на свою сторону, Лавров, — инсинуируется там далее — должен был (!) притти к выводу, что ему прежде всего надо найти доступ к библиотеке, которая помещалась в Bremerschlüssel'е, в этой главной цитадели бакунистов. Лавров начал (?) вести среди молодежи агитацию, указывая, что библиотека есть явление общественное, существует на средства всех подписчиков, а не только «россовцев». Агитация Лаврова приобрела многочисленных сторонников».

На эти выписки я должен возразить, что если «россовцы» считали возможным обращать общественную библиотеку в «ширму» для проведения своих партийных целей, и Сажин не считал зазорным «откровенно» признаваться в этом, то это не давало еще ему права приписывать те же мысли и намерения Лаврову. А между тем этими неосновательными предположениями подкрепляются здесь сообщения о небывалых фактах. В действительности, не Лавров «начал» вести агитацию по библиотечным спорам, а споры эти, как я уже говорил, были в полном разгаре в августе 1872 года, во время моего приезда в Цюрих, т.-е. за 4 или 5 месяцев до появления Лаврова на цюрихском горизонте, до переговоров его с бакунистами о программе и до срыва этих переговоров. К этому надо прибавить, что борьба в библиотеке шла не между «лавристами» и «бакунистами», так как до опубликования программы «Вперед!» вообще «лавристов» не могло и быть, а борьба шла между правомочными «членами» библиотеки и ее бесправными «читателями». Лавров не только не был инициатором этой борьбы, но и вообще, как мне кажется, не принимал в ней почти никакого участия. Говорю «кажется» и «почти никакого» — исключительно побуждаемый добросовестностью. Пока я не узнал, что Лавров и Миртов одно и то же лицо, я не сосредоточивал на нем моего особого внимания и не могу ручаться, что он не произнес когда-либо своего суждения по этому предмету; но должен прибавить, что Лавров, во всяком случае представлял среди цюрихской публики столь заметную фигуру, что активное его участие в каком бы то ни было деле не могло для меня остаться незамеченным.

Отмечу еще одну неточность в воспоминаниях Сажина по поводу библиотеки. Там сказано, что «россовцев» в Цюрихе

было 35—40 душ, я же помню, что всегда, говоря о «россовцах», считали их 17 душ, что также подтверждал и Ралли в своих воспоминачиях. После отклонения в общем собрании библиотеки вопроса о пересмотре устава и ухода «читателей» в другое приготовленное помещение, в зале собрания в Bremerschlüssel'e, по словам Сажина, осталось около одной трети собравшихся, а по моим впечатлениям не более 15—20 душ; вся же масса «читателей», до 200 душ, двинулась по Platte в новое помещение.

Что касается истории насилия над Смирновым, то в воспоминаниях Сажина также встречаются неточности. Там говорится, что тотчас после события «Лавров собрал собрание и произнес громовую речь против кружка бакунистов, в особенности нападая на него, Росса, и предавая его чуть ли не анафеме». В действительности требовали немедленного созыва собрания все, сбежавшиеся в Forsthaus на слух о нападении на Смирнова, в том числе и я, как первый прибежавший туда, а Лавров никакой инициативы здесь не проявлял. Не помню я также, говорил ли на собрании «громовую» речь Лавров. Я так был взволнован событием, что мало что и запомнил из всего происходившего; не помню даже, присутствовал ли Лавров на собрании. Вернее думать, что он остался дома и хлопотал около избитого, требовавшего немедленной помощи; но если и говорил громовую речь, то это было вполне понятно: ведь Смирнов жил на одной с ним квартире, и избиение произошло в собственном его помещении. Во всяком случае поведение Лаврова не выделялось, а горячились более всего, кажется, Подолинский, Александров, так называвшаяся «Негодница» и главным образом женская половина присутствовавших.

Не прав также Сажин, утверждая, что группа «лавристов» посылала «депутацию» с жалобой к начальнику полиции Пфеннингеру. Туда ходило несколько лиц по собственной инициативе и даже вопреки категорическому решению собрания. И Ралли, и Сажин останавливаются на посылке депутации к Пфеннингеру с целью уличить своих противников в том, что, прикидываясь «революционерами», последние все же сочли для себя возможным прибегнуть к защите полиции. По поводу этого обвинения я уже дал исчерпывающий ответ при разборе воспоминаний Земфирия Ралли и не нахожу необходимым еще что-либо к нему прибавить.

Такое же желание осмеять Лаврова проявил Сажин в дальнейших своих воспоминаниях о Лондоне. Он рассказывает, что когда Лавров перенес редакцию «Вперед!» в Лондон, а Сажин туда же перевез свою типографию, то в Лондон приехал Петр

Никитич Ткачев для переговоров с Лавровым о своем сотрудничестве в журнале «Вперед!» и остановился в квартире Лаврова. Разойдясь принципиально во взглядах с Лавровым, Ткачев, продолжая пользоваться гостеприимством первого, писал против него памфлет под заглавием «Задачи революционной пропаганды в России» и сдал ее в печать Сажину. Когда брошюрка была отпечатана, Ткачев собрался уезжать из Лондона и перед самым отъездом послал свою брошюру Лаврову по почте. Лавров и Смирнов, ничего не подозревая, поехали на вокзал провожать Ткачева; так истинно культурные люди только и могли обойтись с своим «гостем», хотя бы и разошлись с ним в переговорах о совместной работе. Но Сажин в воспоминаниях осменвает «комичное» положение Лаврова, который, любезно прощаясь с гостем, не подозревал, что, вернувшись домой с проводов, он найдет у себя на столе «знаменитую» брошюру Ткачева. Замечая комичность положения Лаврова, Сажин не отметил в то же время фальшивости поведения Ткачева, строившего козни против Лаврова в то время, когда пользовался его гостеприимством. И почему, спрашивается, Сажин назвал брошюру Ткачева «знаменитой»? Очевидно, потому, что она печаталась в типографии Росса в Лондоне, точно так же, как и дом в Цюрихе под фирмой Bremerschlüssel был в его глазах «знаменит», потому что в нем жили «россовцы» [58].

IX

Едва успели утихомириться страсти, взволнованные зверским нападением на Смирнова, как в среде русской цюрихской колонии возобновились разговоры по не вполне разрешенному вопросу об удешевлении жизни для особенно нуждающихся русских. Открытием русской столовой разрешена была только половина вопроса и оставался еще вопрос жилищный. Нам, русским, вовсе не нужны были ни пружинные матрацы и мягкие кресла, ни занавеси на окнах и вязаные салфеточки на столах, ни даже «еженедельная» перемена постельного белья и тому подобная «роскошь», требующая, однако, своей оплаты, от которой мы могли бы избавиться, если бы в нашем распоряжении был собственный «русский» дом. К тому же немецкие «хозяйки» не допускают скопления в одной небольшой комнате 3—5 и более жильцов, протестуют против спанья на диванах и стульях, против шумных споров до глубокой ночи об условиях быстрого водворения человеческого счастья на земле. Кроме того, колония встречала большие затруднения в найме помещения для своих

многолюдных собраний, потребность в которых возросла с переходом библиотеки в общественное ведение и особенно — с открытием лекций Лаврова. В Цюрихе, как и в Германии, существует обычай не взимать никакой платы за отдачу обширных помещений под собрания; они устраиваются в поместительных пивных, где каждый член собрания, явившийся туда, садится за стол и требует кружку пива, и если собрание затягивается, то он охотно одолевает и вторую, и третью кружки; таким образом, хозяин зала получает плату за помещение в виде дохода с потребителей пива. Русская же публика, особенно женщины, к этим порядкам не приспособились, пива на собраниях и лекциях не пили, и в найме обширных помещений на 200—300 душ встречали исключительные затруднения. Все это естественно привело к мысли о приобретении покупкой или арендой собственного русского дома.

Случайно такой дом нашелся в самой бойкой части Готтингена, вблизи перекрестка, образуемого улицей Платте и главной улицей, служащей сообщением этой части города с центральными кварталами города. Кажется, за 96 тыс. франков (около 32 тыс. рублей) продавался большой деревянный, сильно запущенный двухъэтажный дом с 10—15 комнатами, пригодными под номера, в верхнем этаже и в нижнем с несколькими обширными залами, достаточными для помещения в них библиотеки, читальни, столовой и особого еще зала для устройства общественных собраний. Приобретение столь ценного имущества облегчалось тем, что на нем лежала ипотека, чуть ли не в 88—90 тысяч франков, переходящая на покупателя, который для покупки этого имущества должен был внести наличными деньгами всего только около 7—8 тысяч франков, т. е. немного более 2—2½ тысяч рублей. Открыта была предварительная подписка, быстро покрывшая потребную сумму, опять-таки, насколько помнится, благодаря участию в ней, как и при подписке на пополнение библиотеки, члена нашей колонии Базилевской[59].

Предстояло приступить к составлению купчей крепости. Затруднение, однако, встретилось в том, что русская колония не составляла юридического лица и покупку пришлось заключить на фиктивного собственника. Лавров настолько увлечен был мыслью о приобретении колонией собственонго дома, что обратился ко мне с предложением, не соглашусь ли я дать свое имя для заключения купчей крепости в виду моего юридического образования, некоторого знания немецкого языка и моего личного знакомства с некоторыми членами кантонального правительства, как Форер и Зибер. Я решительно отклонил от себя эту честь.

Едва достигнув 17-летнего возраста, я сбросил с себя бремя недвижимой собственности, продав при разделе свою часть наследственного имущества сестре, и негоже было мне вновь запрягаться в ярмо собственника, да еще и фиктивного. Но, как юрист, несколько знакомый с формальными условиями юридических актов, и как имеющий знакомства в официальных цюрихских сферах, я предложил свое посредничество для совершения этого акта. Охотником принять на себя бремя фиктивного собственника оказался некто Лобов, отставной русский офицер и, кажется, родственник Лаврова, который за эту услугу поплатился впоследствии. По возвращении в Россию он, как я слышал, был административно сослан под гласный надзор полиции в Воронежскую губернию, на родину.

За рекомендацией сведущего и добросовестного поверенного, который взялся бы совершить купчую, я обратился к доктору Фореру, который так любезно обошелся со мною в предыдущем году и затем раза два, при случайных встречах, демонстрировал свое ко мне расположение. Застав его на службе занятым, я получил от него предложение зайти для переговоров с ним между часом и двумя пополудни в пивную Гамбринус, где он имеет обыкновение в своем кружке выпивать обычную послеобеденную кружку пива. Эту пивную с огромною вывеской над дверью, изображавшей толстого старика Гамбринуса, сидящего верхом на огромной пивной бочке, залпом допивающего огромную же кружку, я легко нашел, так как часто проходил мимо нее. Но когда я вошел в эту пивную, то подумал, что ошибся, разыскивая «члена кантонального совета», т.-е. очень важное начальство, в помещении, сплошь занятом извозчиками, посыльными и тому подобным людом. Тем не менее, в виду очень определенного назначения Форером именно этого места для свидания, я обратился к сидельцу, стоявшему у конторки, с вопросом, где я могу повидать доктора Форера, и получил предложение подняться по деревянной скрипучей лестнице на второй этаж. Там я нашел такую же большую комнату, как и внизу, уставленную такими же деревянными некрашенными и без скатертей столиками и скамьями и человек 15—20 посетителей, между которыми я узнал Форера и еще двух знакомых мне членов кантонального правительства; они беседовали, сидя за кружками пива, а в одном из углов несколько душ сидели за шахматной доской. Форер, увидев меня, пригласил меня сесть с ним за один из свободных столиков и объяснить мое дело. Когда я рассказал ему это дело, не скрыв фиктивную роль покупателя, он заявил, что он сам на-днях уходит из кантонального совета в отставку и зачисляет себя в со-

словие частных адвокатов и что, если русская колония согласна отложить дело недели на две, то он готов взять на себя поручение совершить купчую согласно существующим в республике законам. Я, конечно, отвечал, что колония не может пожелать лучшего поверенного, но все же просил указать, какое он потребует за эту услугу вознаграждение для заблаговременных соображений покупателей. — «О! — отвечал он, — это будет стоить недорого; я возьму по таксе и представлю доверителям счет по окончании сделки». Собрание русской колонии, конечно, приняло это предложение, и недели через 3 или 4 колония получила в собственность очень удобный для ее потребностей дом, а Форер представил счет всех расходов по делу, до невероятности незначительный, причем в свою пользу за труд он приписал к счету небольшую сумму, кажется, в 25 франков, т. е. около 8 рублей.

Вскоре после покупки собственного дома все общественные учреждения русской колонии — библиотека, читальня, столовая и обширное помещение для общих собраний — переселились в этот длинный, невзрачный по виду дом. Номера верхнего этажа оборудованы были кое-какою примитивною мебелью; часть комнат занята была по удешевленной цене некоторыми из членов русской колонии; остальные комнаты стояли пустыми за недостатком охотников и на случай приезда в Цюрих русских посетителей. Конечно, отсутствие какого бы то ни было минимального комфорта и вышколенной по-заграничному прислуги, запущенная повсюду грязь, пение в номерах в неурочные часы, вечный шум в коридоре — все это оттоняло от этих номеров даже наиболее нуждающихся. Да и занятые номера давали мало дохода, так как квартирная плата поступала туго, и вся тяжесть расходов по оплате переведенного долга и городских налогов легла на бюджеты библиотеки и столовой, так что в конце концов финансовая операция по приобретению собственного помещения едва ли оказалась выгодной для этих общественных полублаготворительных учреждений. Надо даже признаться, что, может быть, приобретение собственного дома повлияло несколько на распущенность нравов некоторой части молодежи, которая сдерживала проявление своих инстинктов, пока жизнь ее шла на виду у немцев, и перестала стесняться, попав под родную кровлю. М. П. Драгоманов, приезжавший в это время по каким-то делам из Женвы в Цюрих, может быть, для переговоров с Лавровым о сотрудничестве в журнале «Вперед!», сообщал в моем присутствии о своих впечатлениях при посещении русского дома:

— Думая — говорил он — найти для себя помещение на несколько дней в этом доме по цене более дешевой, чем в гостинице, я зашел наверх посмотреть номера. Вхожу в одну комнату — вижу неубранную постель, невынесенные помои и грязь на полу; перехожу в другую — лежит «мертвое тело» на голой кровати; в третью — то же мертвое тело, но в сапогах на постельном белье.

Весьма, конечно, может быть, что Драгоманов наткнулся на мертвецки пьяных жильцов. Но, вероятно, это было исключением. Вообще же, насколько я помню, особых безобразий или признаков каких-либо оргий в этот первый период владения русским домом я не замечал и ни от кого не слыхал. В читальне же и столовой, куда мне часто приходилось заглядывать, чистота и порядок поддерживались в достаточной мере. Прилегающий же к дому довольно обширный садик с старыми тенистыми деревьями служил очень удобным и приятным местом встреч и отдохновений для многих русских, особенно по вечерам. Помню, как по вечерам в этом садике сходились любители хорового пения. Человек 20, иногда 30 и более собирались в кружок, эмигрант А. Л. Линев становился в середину и с палочкой в руке дирижировал импровизированным хором. С каким удовольствием выслушивались тогда окружающими милые звуки родных песен: «Вниз по матушке по Волге», «Ах вы, сени, мои сени» или же украинские «Виют витры», «Гречаники». Вдруг Линев начнет запевать:

Англичанин мудрец,
Чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик,
Коль работа невмочь,
Так затянет родную дубину.

И хор подхватывает:

Эй, ухнем... и т. д.

Эти хоровые песни, напоминая нам далекую родину, сладостно отзывались в наших сердцах. Не знаю только, так же ли сладко было от них соседям, окружающим со всех сторон русский дом, особенно, если это пение затягивалось до позднего вечера.

Впрочем, хоровое пение в крупных размерах надолго не затягивалось; их организатор и запевала А. Л. Линев своевременно должен был итти домой спать, чтобы на другой день утром рано и бодро подняться и приступить к работе. В феврале или марте

1873 года П. Л. Лавров, поселившись в Форстхаузе вместе с Смирновым и Идельсон, устроил при редакции «Вперед!» русскую типографию или, точнее говоря, наборню, для организации и заведывания которой и пригласил А. Л. Линева. По поводу последнего Лавров впоследствии в своих воспоминаниях считал нужным отметить, что без содействия Смирнова — по литературной части, а Линева — по технической журнал «Вперед!» не мог бы осуществиться [80].

X

Разумеется, деятельное мое участие во всех перипетиях общественной жизни русской колонии в Цюрихе способствовало моему сближению с большинством членов этой колонии и в особенности более тесному общению с кружком, образовавшимся вокруг П. Л. Лаврова. Правда, почти ежедневные встречи с Смирновым и Идельсон прекратились с уходом их со службы в русской библиотеке и с переездом в Форстхауз. Я знал, что в Форстхаузе закипела горячая работа по составлению и печатанию журнала «Вперед!» и был настолько деликатен, что остерегался без особенной нужды отвлекать обитателей Форстхауза от их занятий. Мою сдержанность, однако, победила моя дружба с Рихтером. Последний, как натура в известной мере женственная, легко привязывающаяся к другим, быстро сошелся на вполне дружескую, товарищескую ногу со всем кружком Лаврова, в том числе и с заведывавшим технической частью типографии журнала «Вперед!» Александром Логгиновичем Линевым, и даже временно поступил в наборщики этой типографии. При посредстве Рихтера и я постепенно втянулся в число более интимных друзей этого кружка.

Однажды я вел под руку П. Л. Лаврова из Форстхауза на лекцию в русском доме. Лавров настолько был близорук и слаб ногами, что обыкновенно кто-нибудь должен был его провожать под руку. Повидимому, Лавров особенно озабочен был в это время подыскиванием сотрудников для своего журнала, так как, как я узнал впоследствии, он получил отказы в этом сотрудничестве от всех либеральных и радикальных русских писателей, к которым обращался, от М. П. Драгоманова, Н. И. Зибера, В. В. Лесевича и, наконец, Н. К. Михайловского. Ему оставалось, следовательно, обратить свои надежды на сотрудничество зеленой молодежи, не испытавшей еще своих сил на литературном поприще. Он и ко мне обратился с предложением написать статью для его журнала.

Конечно, на это предложение я отвечал, что очень польщен

этим предложением и искренно желал бы ему последовать, но меня останавливает неуверенность в моих силах и сознание отсутствия всякой опытности, так как, не считая двух или трех ничтожных заметок, помещенных мною во времена студенчества в полуграмотной киевской газетке, я не имел случая испытать свои способности на поприще литературы и публицистики. Лавров на это возразил, что главнее всего надо, чтобы в голове были мысли, заслуживающие опубликования, а ошибки и промахи в изложении, зависящие от неопытности автора, легко могут быть исправлены редактором. На это я ответил, что недостатка в материале в моей голове не может быть, так как по окончании университета я три с половиной года служил по судебному ведомству, исправляя должность судебного следователя, и за это время достаточно насмотрелся на всевозможные случаи самого безобразного отношения лиц судебного ведомства к своему делу, равнодушия к интересам общества и незнатных частных лиц, лицеприятия, прислужничества, мздоимства, своекорыстия и т. д. Поступая на службу, я находился под гипнозом уверений публицистов, что вновь изданные судебные уставы составляли последнее слово юриспруденции, но очень скоро убедился, насколько эта слава не соответствует действительности. Целый ряд отдельных эпизодов в моей судейской практике очень скоро убедил меня, насколько деятельность органов правосудия не соответствует идеальному моему о ней представлению, и даже больше, насколько нормы права, защита коих возложена на судебные учреждения, не соответствуют идее правды и справедливости. Все это вынудило меня уйти из гнилого болота, в котором я завяз по своей неопытности и наивности, и бежать из судебного ведомства, отряхнув прах с своих ног. «Что ж, — ответил мне на это Лавров, — и попробуйте написать ваши впечатления и ваши выводы, а мы постараемся придать им надлежащую форму, если окажутся какие-либо дефекты в вашем изложении».

Кажется, чуть ли не в тот же день Смирнов передал мне для ознакомления корректурный оттиск окончательно составленной П. Л. Лавровым «программы» журнала «Вперед!», которая затем была опубликована во главе первого тома журнала под заглавием «Наша программа».

В моих бумагах случайно сохранилась тетрадка, в которой вкратце приведено содержание этой программы. Так как первый том журнала «Вперед!» составляет ныне библиографическую редкость, то считаю полезным изложить здесь вкратце главные положения этой программы, занимающей более 25 страниц убористой печати.

Вот краткое изложение этой программы:

Просвещенный, критически мыслящий человек не должен стоять вне происходящей ныне на арене общественной жизни ожесточенной борьбы, с одной стороны, реального, научного миросозерцания против метафизических, богословских заблуждений, и с другой — борьбы труда против праздного пользования плодами этого труда, равноправия против монополии, рабочих против их эксплоататоров.

Борьба эта должна вестись на основе точных фактов и при посредстве строгой критики, не фразами или нападением на отдельные личности и на частную жизнь, а строгим анализом современной общественной и экономической жизни.

Прежде всего редакция заявляет, что она не будет придерживаться принципа, по которому «цель оправдывает средства», уже по одному тому, что этот афоризм теряет смысл, если к нему присовокупить дополнение: «кроме средств, подрывающих цель».

Она будет придерживаться товарищеского отношения ко всем партиям и деятелям, стремящимся к решению социального вопроса в интересах рабочего класса и крестьян, каковы бы ни были с ними частные разногласия.

Вопросы политические ставятся ею в подчиненное положение перед вопросами социальными и в особенности экономическими.

Все нынешние государства безусловно враждебны рабочим, они должны разложиться, чтобы дать место новому общественному строю, где самая широкая свобода личности будет совмещаться с солидарностью и стремлением к достижению общей цели, что может быть достигнуто лишь в будущем.

Все нынешние политические программы враждебны редакции «Вперед!», хотя вопрос о степени участия рабочих в современном политическом движении оставляется ею открытым.

Русская сельская община с ее общинным землевладением должна лечь в основу при выработке нового справедливого социалистического строя.

Это переустройство общественной организации должно быть совершено с ц е л ь ю народного блага, и не только д л я самого народа, но и п о с р е д с т в о м народа.

Искусственно вызвать революцию невозможно. Поэтому создавать революционное движение без надежды на его успех нецелесообразно уже в видах сохранения сил от бесплодной их гибели. Но если движение возникло где-либо помимо и даже против воли самого революционного деятеля, то он, по долгу

революционера, обязан принять в этом движении участие, хотя бы и был убежден в его безнадежности.

Для участия в движении революционер должен себя основательно подготовить к этой задаче, чтобы быть полезным в этом движении для народа и вызвать к себе его доверие.

Чего народу недостает для успешного осуществления революции — это знания и умения достигнуть цели; вследствие этого революционер из интеллигенции обязан запастись возможно большими знаниями для того, чтобы принести народу возможно большую реальную пользу. Поэтому всякая проповедь систематического невежества должна встретить на страницах журнала самое решительное противодействие.

Стремления либеральных буржуазных партий к достижению всяких свобод, а также гласности и ограничения произвола администрации, конечно, могут содействовать целям социалиста-революционера; но входить в контакт с этими партиями социалисту-революционеру невозможно уже во имя одного только человеческого достоинства, как с партиями, враждебными народу.

К партиям, преследующим национальные цели и задачи, журнал будет относиться отрицательно, хотя это не исключает сочувствия к угнетенным славянским народностям в их борьбе против обветшалой культуры Турции и против гнета буржуазных правительств Германии и Австрии. Союзными с нею редакция может считать только те из этих славянских партий, которые рядом с политическими задачами ставят себе и задачи социальные.

Что же касается Польши, то редакция считает себя солидарной только с одной партией хлопов, ведущей борьбу против шляхты. Защитников же шляхты и союзников католицизма она категорически считает своими врагами.

Вот эта программа Лаврова, которую осмеивал М. П. Сажин. Я изложил ее вкратце, кажется, довольно близко к оригиналу и едва ли допустил существенные отступления в самом изложении.

Она, эта программа, в особенности понравилась мне своею аполитичностью, т.-е. отрицательным отношением к либерализму и радикализму, которым я еще так недавно отдавал дань уважения, а также тем, что основой для деятельности революционера-социалиста она ставила этический принцип, а не злобу и ненависть, подобно партии Бакунина и Нечаева.

Ознакомившись с этой программой, я признал, что она по всем пунктам почти вполне соответствует моим собственным взглядам, и потому решился примкнуть к сторонникам Лаврова

и его журнала «Вперед!», и как первый акт моей солидарности с этим органом решился энергично приняться за составление статьи, предложенной П. Л. Лавровым. Но работа моя по изготовлению заказанной статьи несколько затянулась благодаря случайным обстоятельствам.

Как раз в это время в Цюрих вторично приехал из Петербурга редактор журнала «Знание» Исидор Альбертович Гольдсмит. Повидимому, он приезжал для переговоров с Лавровым по поводу сотрудничества последнего в журнале «Знание» и для того, чтобы сговориться с ним о конспиративных адресах, псевдонимах и т. п., так как открытое участие эмигранта Лаврова в русском журнале было тогда недопустимо. Встретившись с Гольдсмитом, я сообщил ему, что, покончив с надеждами на ученую карьеру, я решаюсь возвратиться в Россию, по всей вероятности, в Петербург, чтобы заняться литературой и публицистикой.

Хитрый и ловкий Гольдсмит не упустил случая заполучить для своего журнала начинающего и поэтому наивного сотрудника. Он сообщил мне, что как раз теперь состоит вакантной должность секретаря редакции «Знание». «К сожалению,—поспешил он прибавить,—материальные дела этого журнала не блестящи», вследствие чего он не может предложить мне в вознаграждение за труд более 50 руб. в месяц. «Это, конечно, немного, но у секретаря редакции работа несложная и у вас будет оставаться много свободного времени для добавочного заработка».

При этом Гольдсмит заинтересовал меня еще одним сообщением. Он совместно со своим соредактором Коропчевским задумали открыть при журнале свою типографию. В эту типографию они думают набрать наиболее развитых и сознательных рабочих, постепенно втягивать их затем в заведывание самой типографией и, наконец, образовав из этих рабочих кооператив, сдать ему все это дело.

«Если вы будете нашим секретарем, то, может быть, возьметесь осуществить этот замысел».

Я ответил, что вижу в этом предположении попытку осуществить идею Веры Павловны из романа «Что делать?» и с удовольствием посвящу свои силы этому опыту. Только препятствием является то, что я задумал остаться в Швейцарии на все лето и могу приехать в Петербург лишь осенью.

Так как эта отсрочка не противоречила интересам редакции, то на этом мы и окончили наши переговоры, и я в целях заблаговременного ознакомления с типографским делом решился поступить на 2—3 недели в типографию «Вперед!». Это решение

несколько задержало начало моей работы по составлению задуманной статьи для журнала «Вперед!».

Второе обстоятельство, которое также несколько задерживало окончание начатой затем статьи, был приезд в Цюрих из Дрездена моей младшей сестры Ольги с ее матерью, с моею мачехой.

Наконец, я окончил задуманную статью для «Вперед!» и отнес Лаврову. Через несколько дней Лавров сообщил мне, что статью он прочитал, нашел ее подходящей, но просил разрешения внести в нее поправки, не нарушая ничего в ней существенного. Сестру мою П. Л. Лавров, Смирнов и Идельсон приняли очень ласково и любезно.

Как раз в это время, в русском апреле 1873 года, в «Правительственном Вестнике» было опубликовано объявление русского правительства, угрожавшее репрессиями тем русским цюрихским студентам и студенткам, которые не подчинятся его требованию о выезде из Цюриха.

Немедленно началось массовое бегство русских из Цюриха.

Мне также не имело смысла оставаться больше в Цюрихе. В последнее время я, правда, настолько сошелся с П. Л. Лавровым и кружком журнала «Вперед!», что решился связать окончательно свою судьбу с судьбою журнала, но по зрелом обсуждении признал, что буду полезнее для журнала, вернувшись в Россию, пока еще не потерял своего легального имени. Пока я предположил провести 2 — 3 летних месяца в Швейцарии вместе с сестрой и матушкой. К нашей компании вскоре присоединился мой младший брат Александр, студент Киевского университета. Во время нашего пребывания в Лугано брат предпринял пешеходное паломничество с моею рекомендациею к М. А. Бакунину в Локарно. Престарелый революционер-анархист принял моего брата приветливо, но обо мне отозвался неодобрительно.

Заехав на возвратном пути в Цюрих, я познакомил брата Александра с кружком Лаврова и с самим Лавровым, и так как брат мой до конца университетских вакаций имел еще около месяца свободных, то он остался на это время в Цюрихе и поступил временным наборщиком в типографию журнала «Вперед!», где заканчивалось печатание первого тома этого журнала. Сестра моя, сделав прощальный визит в Форстхауз, выехала с матушкой обратно в Дрезден оканчивать прерванные свои занятия по немецкой литературе и музыке. Я же собрался окончательно вернуться в Россию с тем, чтобы совместно с петербургским кружком, основавшим журнал «Вперед!», посвятить главным образом свою деятельность содействию распространению его в России

среди революционных кружков, а также добыванию средств на его издание и сбору для него статей и корреспонденций. На прощание Смирнов снабдил меня адресом в Петербурге студента Медико-хирургической академии Льва Савельевича Гинзбурга, через которого я могу получить связь с петербургским лавровским кружком.

Окончательно покидая в этих воспоминаниях Цюрих с его незадолго перед тем заглохшей кипучей общественной деятельностью, считаю уместным сказать несколько прощальных слов о судьбе тех общественных учреждений цюрихской колонии, в зарождении или в жизни которых я принимал горячее участие.

После правительственного разгона учившихся в Цюрихе русских студенток и студентов цели и средства существования этих учреждений отпали. Студентки, а за ними и студенты быстро рассеялись. Наиболее втянувшиеся в научную работу, особенно перешедшие на старшие семестры, перебрались в другие университетские города, преимущественно в Берн. Другие, увлекшись революционными идеями и подкрепивши их еще больше кратковременной поездкой в Шо-де-фон на конгресс социалистов-федералистов (бакунистов), направились на родину, чтобы там принести себя в жертву жестоким условиям русской политической жизни и, после кратковременного опыта пропаганды своих идей в народе, попасть в тюрьму, на многолетнюю каторгу и ссылку в страны гиперборейские. Остальные, наконец, под давлением родных, вернулись домой, чтобы разделить обычную судьбу русской интеллигентной женщины. Русский Цюрих поэтому быстро опустел, и даже Лавров со своими сотрудниками, а за ним и его антагонист Сажин, переселились в Лондон.

Созданные колонией общественные учреждения потеряли не только смысл своего бытия, но и источник своего существования. Заезжая еще два раза в 1873 году в Цюрих на самый короткий срок, я наводил о судьбе этих учреждений справки, результаты которых не твердо сохранил в памяти.

Разумеется, прежде всего закрыта была студенческая столовая за отсутствием достаточного числа столующихся; кто приложил свою руку при ее ликвидации — не знаю.

Затем наступила очередь для ликвидации русского дома. Когда наступил срок взноса процентов и погашения по ипотечному долгу, то взнос этот не был внесен за отсутствием юридического владельца этого имущества Лобова, коротавшего свои серые дни в административной ссылке в глубине России. Соответственно установленному порядку, назначены были, очевидно, торги на это имущество, и оно перешло в другие руки. Если в процессе

продажи очистились какие-либо суммы, в чем можно усомниться в виду запущенности дома, побывавшего в заведывании русских хозяев, то этот излишек, как случайный доход, обращен городом, вероятно, в пользу бедных. По прошествии 41 года, а именно в августе 1914 года, убегая от немцев в Швейцарию после объявления Вильгельмом II войны оРссии. я вновь на два-три дня очутился в Цюрихе и, конечно, не удержался, чтобы не посетить места былых юношеских впечатлений и увлечений, и, разумеется, совсем не узнал этих мест. Улицу и домик, где я прожил почти год, я даже не нашел: все было перепланировано и перестроено, и на месте кокетливых швейцарских châlets высились многоэтажные дома промышленного типа. Конечно, и от «русского дома» тоже не осталось и следа.

Дольше всего, кажется, просуществовала русская библиотека. Россовская ее часть была будто бы продана в Женеву, а о жалком прозябании нашей половины до меня доходили какие-то темные слухи, которые не сохранились в моей памяти, и куда девались книги — мне неизвестно [61].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«ВПЕРЕД!» И ВПЕРЕДОВЦЫ
(1873 — 1880 гг.)

I

Распростившись в начале августа 1873 года с П. Л. Лавровым и его сотрудниками и пообещав им свое энергическое содействие их делу в России, расставшись с сестрою Ольгой, выехавшей с матерью в Дрезден заканчивать свои занятия языками и музыкой, а также с братом Александром, решившим использовать остающийся у него свободным месяц вакационного времени для работы в качестве наборщика в типографии «Вперед!», я выехал, наконец, из Цюриха в Россию через Вену и Волочиск, где мне предстояла задача совершить некоторый опыт переправы через русскую границу запрещенной литературы.

Дело в том, что в течение года моего пребывания в Цюрихе у меня накопилась небольшая библиотечка книг, не пользующихся правом свободного обращения в России. Здесь были издания русских эмигрантских типографий Лондона и Женевы, сочинения и брошюры Герцена и Бакунина; затем на французском языке сочинения французских социалистов Фурье, Луи Блана, Прудона и др., и, наконец, на немецком языке труды Маркса, Энгельса, Лассаля, Либкнехта, Бебеля и др. Всего набралось, я полагаю, 30 — 40 книжек и брошюр, весом более пуда. Ввезти эти книги в дорожном своем чемодане в пределы России было немыслимо, так как все эти сочинения были бы неминуемо задержаны на границе и затем конфискованы заграничной цензурой в Петербурге.

Что было делать с этой библиотекой? Сбыть ее за деньги было немыслимо в короткий срок. Пожертвовать в цюрихскую общественную библиотеку было уже бесполезно, так как почти

все эти издания имелись там в избытке, тем более, что и дальнейшая судьба библиотеки после разгрома цюрихской колонии оставалась под сомнением, а бросить их на квартире было жалко.

Зашел я в Forsthaus посоветоваться по этому поводу и говорю: «Почему бы все эти книги и кое-какие мои рукописные заметки, накопившиеся при моих занятиях в Цюрихе в течение истекшего года, не попытаться переправить через русскую границу при помощи контрабандистов? Это был бы интересный опыт, который, может быть, пригодится и для будущего, ибо вскоре придется нам все издания редакции «Вперед!» переправлять таким образом в Россию. Риск лично для меня, собственно говоря, должен быть не особенно велик. Не удастся опыт — придется бросить книги через окно вагона, но ведь все равно ценность их я не могу реализовать. Быть пойманным на этой попытке контрабанды не опасно: ведь я везу не транспорт книг для преступного их распространения, а коллекцию в единичных экземплярах, для собственного, очевидно, употребления, о чем свидетельствуют многочисленные карандашные заметки на полях моею собственной рукою и приложенные к книгам черновые выписки и отметки. Книжки, конечно, конфискуют, а меня пожурят и отпустят».

Так и было решено. По приезде на пограничную австрийскую станцию Подволочиск я вышел с своим багажем с поезда, взял извозчика и поехал в местечко на постоялый двор. Заказав в номере самовар, я пригласил к себе на «чашку чая» хозяина постоялого двора. Явился благообразный еврей, лет 50, чисто одетый в длинный черный сюртук, с обязательными еще в то время в Галиции пейсами (локонами) около висков.

Я откровенно объяснил ему мою нужду, показал ему содержимое моего чемодана, рассказал, что занимался экономическими науками в немецких университетах, думаю продолжать те же мирные занятия в России, но русское невежественное правительство мешает этому, отбирает нужные мне книги, и мне приходится прибегать к помощи доброхотных людей для защиты от такого насилия. Я просил его порекомендовать мне человека, который возьмется помочь мне в этом деле, за что я готов выдать авансом 25 рублей.

Хозяин мой отнесся к моему предложению как к делу для него, повидимому, обычному, и через полчаса прислал ко мне в номер дюжего молодого еврея, который без лишних разговоров получил от меня чемоданчик с книгами и кредитный билет в 25 рублей (или гульденов?), с обещанием вручить мне чемоданчик на другой день утром по ту сторону «кордона». При этом

было условлено, что так как станция Волочиск кишит шпионами, жандармами и таможенниками, то было бы небезопасно передавать на станции контрабандный товар из рук в руки, а было бы благоразумнее передачу эту перенести за 2—3 станции от границы, напр., в Проскуров, за что я обещал особо оплатить проездной билет туда и обратно.

На другой день в таможенном зале Волочиска, раскрывая таможенникам свой багаж, я среди любопытствующей публики, окружавшей обыскиваемых пассажиров, заметил ехидно улыбающегося моего молодого контрабандиста, любовавшегося, как надсмотрщик безнадежно перелистывал найденные в моем багаже «путеводители» по железным дорогам и «бедекеры», не подлежавшие конфискации.

В Проскурове, при выходе из вагона, я на перроне станции получил в целости свой чемоданчик с книгами. Таким образом опыт обходного движения против заставы, созданной государством для самозащиты, удался вполне и показал, насколько этот обход прост и легок в исполнении.

Приехав в Белоозеро, родовое наше гнездо в Полтавщине, которое при семейном разделе уступил старшей своей сестре М. Г. Булюбаш, я стал ждать там возвращения сестры Ольги из Дрездена и брата Александра из Цюриха. Сестра Ольга после первых слов приветствия говорит мне: «А я привезла тебе гостинец из-за границы», и передает мне при этом небольшой пакет, обернутый в белую бумагу и накрест перевязанный шелковой цветной ленточкой, на манер коробки конфект. Разрываю с недоумением пакет и нахожу только-что перед тем вышедший в свет в Цюрихе первый том журнала «Вперед!» с моей в нем статьей «Фикции судебной правды».

— Как удалось тебе, Оля, перевезти эту книгу через границу? — спросил я ее.

— Да так и перевезла, держа пакет в руках, — ответила она:—таможенные чиновники наши настолько благовоспитанны, что не посмели обеспокоить молодую барышню выражением сомнения в ее лояльности.

Может быть, этот том «Вперед!» был первым экземпляром, попавшим на запретную для него территорию Российской империи.

Вскоре после моей сестры в Белоозеро приехал и вернувшийся из Цюриха брат мой Александр. Передавая мне привет жителей Forsthaus'а, он сообщил, что покинул их в самом радужном и праздничном настроении не только по случаю благополучного окончания печатания первого тома журнала, но и вслед-

ствие счастливого приезда из России в Цюрих Германа Лопатина.

П. Л. Лавров питал особенную любовь и дружбу к Г. А Лопатину, который самоотверженно и необыкновенно удачно способствовал его побегу из ссылки за границу. После этого Лопатин занялся организацией побега из Сибири Николая Гавриловича Чернышевского. Эта последняя попытка была неудачна. Лопатина узнали на улице в Иркутске и арестовали. После нескольких неудачных попыток к собственному бегству из Иркутска, в заграничных кругах знакомых и друзей Лопатина за границей, в том числе Лаврова и Маркса, стало известно, что ему удалось, наконец, скрыться от стороживших его сбиров, но оставалось под сомнением, удастся ли ему незаметно пробраться из Сибири в Россию и затем за границу, что очень волновало П. Л. Лаврова, пока, наконец, Лопатин благополучно попал в объятия своих друзей в Цюрихе.

Разговор наш о Лопатине и Чернышевском совпал с извещением о разрешенной моему брату банковской ссуде, на 2 или 3 тысячи рублей бо́льшей сравнительно с его потребностью; это навело моего брата на мысль о том, чтобы этот излишек пожертвовать в фонд для новой попытки к освобождению томящегося в неволе великого нашего мыслителя-революционера Н. Г. Чернышевского. Я одобрил мысль брата и обещал ему в ближайшем будущем съездить из Петербурга в Париж, где намерен был поселиться Лопатин, для переговоров с ним по этому предмету.

В Петербург я попал только к концу октября или началу ноября 1873 года и, не помню по чьей рекомендации, нашел себе отвратительную комнату в старом, запущенном, многоэтажном доме по Кузнечной улице, в немногих саженях от Большой Владимирской улицы. Дом этот был лишен водопровода, и отхожие места были до невозможности загажены. Над фекальными ямами возносились там до пятого этажа широчайшие трубы, через которые снизу дул ветер и распространялось зловоние по лестницам и во всем доме; вечно снующие по лестнице кошки еще дополняли этот аромат своим собственным запахом. Не помню, чтобы когда-нибудь и где-нибудь я имел столь отвратительное жилье.

Кое-как устроившись в этой отвратительной квартире, я по данному мне Смирновым адресу отправился на Фурштадтскую улицу, в квартиру студента Медико-хирургической академии Льва Савельевича Гинзбурга. Его я застал дома. Он меня принял крайне приветливо и объявил, что хорошо знает меня по письмам В. Н. Смирнова из Цюриха и по рассказам Д. И. Рих-

тера, незадолго перед тем приехавшего из Цюриха в Петербург. Благодаря этим рекомендациям петербургский кружок молодежи, поддерживающий журнал «Вперед!», заочно уже избрал меня в число действительных своих членов. Я, конечно, выразил свою горячую благодарность за оказанное мне доверие и готовность посвятить все свои силы и способности для оправдания такого доверия. При этом я объяснил, что пока приехал в Петербург лишь на короткое время, так как вынужден вскоре выехать в Париж по личному делу на несколько дней, и лишь по возвращении из этой краткосрочной поездки могу вполне посвятить себя делам кружка.

Затем я зашел в редакцию журнала «Знание» на Литейном проспекте и также заявил там о предстоящей моей парижской поездке.

Оставшиеся до выезда в Париж три-четыре недели свободного проживания в Петербурге я употребил на знакомство с членами своего кружка и с основами и характером их деятельности, вполне совпавшими с моими ожиданиями, о чем подробнее я буду говорить при описании собственной моей деятельности в кружке по возвращении моем из парижской поездки, осложнившейся целым рядом неожиданностей.

Заходил я также в это время несколько раз в редакцию «Знания» для ознакомления с характером моей будущей службы в роли секретаря редакции. Узнав, что по дороге из Парижа я намерен заехать в Цюрих, чтобы повидаться с Лавровым и его сотрудниками, редактор «Знания» И. А. Гольдсмит просил меня взять с собою для передачи П. Л. Лаврову рукопись его статьи «Кому принадлежит будущее», которую он взялся поместить в какой-нибудь из петербургских журналов, что ему не удалось исполнить из-за цензурных затруднений [62].

II

Выехал я из Петербурга в Париж 24 ноября 1873 года. Дата эта особенно запомнилась мне, так как в этот день, день св. Екатерины, состоялось открытие памятника императрицы Екатерины II на Александринской площади в Петербурге, в присутствии императора Александра II, приехавшего к этому дню из Ливадии в Петербург и прямо с вокзала направлявшегося на это торжество. Благодаря этому обстоятельству я встретил затруднение в получении полицейского удостоверения о неимении препятствий к моему выезду за границу. «Паспортист» полицейского участка за скромную мзду в 20 коп. изготовил мне тре-

буемую бумагу, но получить ее немедленно я не мог, так как пристав и его помощник, которые только и имели право подписать эту бумагу, были «в наряде» на Невском проспекте, охраняя императорский проезд. Я вынужден был лично отвезти бумагу на Невский, где, розыскав требуемого пристава, получил необходимую его подпись. С добытым таким образом разрешением я в паспортном отделении канцелярии обер-полицеймейстера Ф. Ф. Трепова получил заграничный паспорт, с которым в тот же день вечером и выехал по Варшавской железной дороге за границу.

Надо еще заметить, что за день до моего выезда за границу ко мне на квартиру явился молодой человек лет 20 — 22, назвавшийся студентом Николаем Васильевичем Чайковским, тем самым, который дал нарицательное название распространенной в то время группе радикальной молодежи, фигурировавшей под кличкою «чайковцев» [63]. Спросив меня, действительно ли я еду за границу, он передал мне письмо в запечатанном конверте с адресом на немецком языке «в город Кенигсберг» и просил по переезде через границу приложить к этому письму немецкую почтовую марку и бросить в почтовый ящик. Я с удовольствием согласился исполнить его просьбу и сунул письмо к себе в боковой карман.

На Варшавский вокзал я приехал за полчаса до отхода поезда и встретил там провожавшего меня Д. И. Рихтера. Сдав свой дорожный мешок с рукописью П. Л. Лаврова в багаж, я вышел с Рихтером на платформу, где, прогуливаясь, стал с ним беседовать, не помню уже о чем, но, вероятно, о разных делах в Цюрихе, куда я предполагал заехать на обратном пути. Прохаживаясь с ним по платформе, я вдруг заметил, что по тому же пути прогуливался какой-то офицер в николаевской шинели с пелеринкой, закрывавшей его форму. При этом он как будто бы замедлял свои шаги при встрече с нами и прислушивался к нашему разговору. Это назойливое любопытство, объясняемое, может быть, дошедшим до его уха обрывком нашего разговора, побудило нас оставить платформу и зайти внутрь вокзала, где мы стали продолжать беседу, прохаживаясь в зале I класса. Вскоре, однако, и подозрительный офицер также вошел в зал и попытался, как нам показалось, снова ходить по одной дорожке с нами. Но в это время раздался звонок, и я отправился занять место в вагоне III класса. Настроенный подозрительно поведением этого офицера, я обратил внимание на моего соседа, вошедшего вслед за мной в вагон и занявшего свободное место рядом со мною. По внешности это был, повидимому, железнодорожный

служащий, но не в форме, что вскоре подтвердилось его постоянными выходами на каждой станции для разговора со станционным персоналом.

Эти наблюдения вызвали, конечно, у меня подозрение, что за мной устроена слежка, хотя этому предположению не соответствовало мое сознание, что за мною еще не было никаких грехов, кроме литературного моего участия в журнале «Вперед!», что было известно только двум-трем вполне надежным лицам. Не возбуждая поэтому никаких сомнений относительно моей личной неприкосновенности, я тем не менее не мог не подумать о судьбе рукописи П. Л., хранившейся в багаже, и особенно о судьбе письма Чайковского, лежавшего в моем боковом кармане. Если относительно рукописи можно было думать, что ее арест или потеря не могли представлять важности, так как она, переданная для попытки ее напечатания в подцензурных изданиях, не заключала в себе, очевидно, ничего «преступного», и Лавров, несомненно оставил у себя ее копию, то относительно письма дело представлялось гораздо сложнее. Содержание его было мне неизвестно, но несомненно заключало в себе тайны, не подлежавшие обнаружению. Было с моей стороны непростительною оплошностью не уничтожить письма и допустить его арестование, если у меня были основательные подозрения, так как арест письма мог иметь своим последствием провал важного предприятия и гибель многих лиц, доверивших свою судьбу в мои неопытные руки. С другой стороны, если мои подозрения неосновательны, и я, уничтожив письмо, благополучно выеду за границу, каково будет мое положение перед Чайковским и его товарищами? Они имели бы полное право считать меня трусом, из-за воображаемой опасности уклонившимся от исполнения самого элементарного поручения, или же, что еще хуже, заподозрить во мне злостного вредителя, из-за соперничества учинившего им пакость.

Поезда в то время двигались медленно, и я все время мучился неразрешимой дилеммой, наблюдая все накопляющиеся признаки несомненной слежки. С целью уклониться от неприятного соседа я переменил место и сел так, чтобы ему не было меня видно; но он вскоре также пересел так, что я вновь оказался в поле его наблюдения. Через несколько станций он исчез, но вместо него, как мне казалось, появился новый субъект с тою же повадкой. Были еще и другие признаки, подтверждавшие как будто бы мои подозрения. Но почти окончательно я убедился в опасности моего положения на другой день к вечеру, когда

на одной из станций между Вильно и Ковно я вышел на несколько минут из вагона, а затем, войдя назад, я услышал на платформе, у самой стенки моего вагона, разговор двух лиц, из коих один на какой-то вопрос другого отвечал: «Да, уже сел в вагон». После такого явного указания на несомненность моего подозрения я уже не сомневался в необходимости принять меры к спасению письма. И вот тогда меня осенила блестящая идея. Когда уже в сумерки поезд остановился на станции Ковно и выходящая из вагона публика поднялась с своих мест, я, захватив в одну руку заранее приготовленный ручной багаж, а в другую — железнодорожный билет, быстро юркнул в толпу выходящих и, обгоняя соседей, направился через вокзал к выходу. В дверях вокзала стоял железнодорожный служащий, отбиравший билеты, но я, показав ему свой билет, заявил, что еду дальше, и он меня пропустил беспрепятственно. На дворе моросил мелкий дождик. Сев на извозчика, я раскрыл зонтик. Среди шума и криков какой-то человек, заглядывая мне под зонтик, спрашивал: «Пан едзе до «Европы»?»; я ему отвечаю: «Да, да», а извозчику приказываю везти себя в недорогую гостиницу в центре города. Заняв там номер и заказав ужин и самовар, я потребовал письменные принадлежности с конвертом. В этот конверт я заклеил письмо Чайковского и надписал сверху: Herrn Rosenkranz, Berlin, Friedrichstrasse, Negendanks-Hôtel, вспомнив оригинальное название гостиницы, в которой я останавливался в Берлине 5 лет тому назад. Наклеив заграничную марку, случайно оказавшуюся в моем кошелке, я вышел на улицу в поисках почтового ящика. Выйдя на одну из главных улиц, я неожиданно остановлен был появившимся передо мной солдатом с ружьем на плече и с криком: «Кто идет?» или «Куда идешь?». Отскочив от этого окрика с тротуара на середину мостовой, я увидел, что нахожусь против казенного здания (губернаторского дома или казначейства), у которого поставлен солдат сгонять прохожих с панели на середину улицы. Не сумев отыскать почтового ящика, я вынужден был взять за двугривенный извозчика «до почты», выждать за дверями почты, пока извозчик не удалился настолько, чтобы не видеть, для чего нужна была мне почта, и только обеспечив конспиративность своего поведения, я решился опустить письмо в ящик. Гарантировав, таким образом, сохранность письма Чайковского, я подумал и о безопасности рукописи Лаврова, которая шла в багажном вагоне до Эйдкунена, находящегося уже за границей. Для этого я багажную квитанцию засунул под обои моего номера. На другой день утром я продолжал свой путь, взяв новый билет. Остановившись в Берлине в упомянутой гостини-

це, под именем купца Розенкранца, я получил адресованное мною же письмо и благополучно исполнил поручение Чайковского.

Так для меня и осталось невыясненным, была ли замеченная мною слежка плодом моего воображения или же действительно жандармский офицер, подслушавший подозрительный мой разговор с Рихтером на Варшавском вокзале, устроил за мной слежку, которую я ликвидировал своею удачною диверсиею в Ковно.

Не задерживаясь долее в Берлине, я выехал прямо в Париж, где направился к С. А. Подолинскому, жившему в Латинском квартале, близ Одеона, в Hôtel de Génève, Rue Génève. Подолинский свел меня с Германом Александровичем Лопатиным, с которым я имел две продолжительные беседы в одном из café в окрестностях Одеона.

Лопатин, только незадолго перед этим благополучно бежавший из Сибири, подробно рассказал мне о вполне фантастических и романтических подробностях своих двух побегов из Иркутска, которые, к сожалению, остались неопубликованными. Его рассказ сохранился живым в моей памяти до настоящего времени, несмотря на протекшие более 55 лет; но я не считаю себя, к сожалению, в праве опубликовать его слова, в виду, как мне передавали, положительно выраженной им воли. По поводу же моей миссии он сообщил мне, что лично он настолько «популярен» по всей Сибири, что ему не представляется возможным предпринимать новые попытки к организации бегства Н. Г. Чернышевского из Вилюйска и что вообще он не рекомендует предпринимать новые для этого попытки. Бегство из Вилюйска сопряжено, по его мнению, с неодолимыми почти трудностями; сам Чернышевский относится к побегу отрицательно, и новая, по всей вероятности неудачная, попытка для этого должна отразиться очень тягостно на судьбе Чернышевского.

Отказавшись в виду такого категорического утверждения от мысли об оказании содействия к освобождению Чернышевского, я решился высказать это мнение моему брату и теперь уже не помню, куда он обратил те две-три тысячи рублей, которые он жертвовал на это дело. Может быть, он обратил эти деньги на издание журнала «Вперед!».

Возвращение мое из Парижа в Петербург сопровождалось осложнениями, гораздо более серьезными и имевшими более печальные последствия, чем описанное выше путешествие в Париж.

Из Парижа я направился в Цюрих для передачи редакции журнала «Вперед!» данных мне из Петербурга поручений. Между

прочим, я узнал там, что моя корреспонденция, посланная из Полтавы, благополучно дошла до редакции и уже набрана в изготовляемом к печати втором томе этого журнала. Когда я рассказал в Цюрихе, каким образом я переправил в Волочиске через границу контрабандным путем свои книги, не дозволенные к обращению внутри России, редакция журнала предложила мне сделать опыт такой же перевозки небольшого количества экземпляров «Вперед!» через тех же уже знакомых мне контрабандистов в Подволочиске. Я изъявил согласие и взял с собой при возвращении в Россию два тюка различных изданий редакции «Вперед!», всего весом около 10—12 пудов.

На пути в Россию мне пришлось провести несколько часов в Вене в ожидании поезда. Пристроив свой багаж на Северном вокзале, я для развлечения отправился в город побродить по улицам и посидеть в кафе за газетами. Был тогда уже конец декабря по новому стилю; погода стояла сравнительно не холодная, но по временам моросил дождик. Возвратиться на вокзал я задумал омнибусом, а не фиакром, но по случаю дождя все проходившие мимо меня омнибусы были переполнены публикой, и мне пришлось несколько раз под дождем выбегать из-под навеса какого-то подъезда на середину площади и возвращаться под навес обратно, пока отыскалось свободное место в проезжавшем омнибусе. Затем вечером я сел в поезд и не обратил внимания, что одежда моя была несколько подмочена дождем. Вагоны оказались нетопленными, а поезд направился на север, через Карпаты в Галицию, где все уже было покрыто снегом. Ночью я страшно продрог, а на другой день почувствовал себя так плохо, что решился остановиться дня на два во Львове. Пролежав два дня в постели в гостинице и хорошо пропотев обе ночи, я почувствовал некоторое облегчение в моем здоровье и двинулся дальше, но, доехав до Подволочиска, почувствовал вновь приступ болезни. Тем не менее я вышел из поезда и поехал на тот постоялый двор, в котором останавливался четыре месяца тому назад. Хозяин постоялого двора, помня мою тароватость в предыдущей сделке и в особенности дополнительное, не обусловленное раньше, вознаграждение сопровождавшего меня человека до станции Проскуров, встретил меня, как старого знакомого, и, узнав, что я предполагаю вновь переправить через границу книги, тотчас же вызвал ко мне прежнего контрабандиста. Я очень скоро сошелся с ним в цене и сдал ему свои два тюка. Но так как болезнь моя усилилась и лишила меня всяких сил, и начался даже бред, то я успел лишь объявить, что уеду немедленно в Киев и оттуда пришлю

в Волочиск доверенное лицо для получения перевезенных через границу книг и для окончательного расчета за перевозку.

Заручившись адресом в самом Волочиске для получения перевезенных книг, я немедленно сел в поезд и на следующий день был уже в Киеве. Незнакомая мне дама, увидя, что я был в горячечном бреду, пришла мне на помощь. При содействии носильщиков она посадила меня на извозчика, привезла в гостиницу «Одесса», на Бибиковском бульваре, против Ботанического сада, взяла для меня номер и уложила в постель. Узнав, что у меня имеется брат, студент университета, она разыскала в университете его адрес и сообщила ему о моем бедственном положении. Мой брат Александр немедленно прибежал ко мне и, найдя меня почти в бессознательном положении, пригласил профессора Хржонщевского, жившего в собственном доме почти рядом с гостиницей. Хржонщевский констатировал у меня воспаление легких в тяжелой форме и посоветовал перевезти меня из гостиницы на частную квартиру в виду вероятного длительного характера моей болезни.

Мой брат перевез меня в тот же день в студенческий квартал, на Мало-Васильковскую улицу, в дом, сколько помнится, Милевского, носивший название «Hôtel des pauvres diables» и сплошь заселенный студентами. Моими соседями по комнате оказались студенты: Всеволод Лопатин, родной брат Германа [64], и затем медики-черниговцы: Тесен, Эмме [65] и Рашевский Иван Федорович [66]. Эти студенты горячо приняли к сердцу мою беду и усердно исполняли при мне роль сиделок; их усердию я, повидимому, обязан сохранением жизни, хотя не могу не упомянуть с чувством глубокой благодарности имя популярного в Киеве профессора Покровского, который заявил, что будет лечить меня бесплатно, и действительно ежедневно заезжал ко мне до поворота моей болезни на улучшение.

Когда я рассказал брату о неоконченной мною операции по перевозке через границу изданий «Вперед!», то он вызвался съездить в Волочиск и привезти эти книги. Больше недели он отсутствовал из Киева, и я уже начинал беспокоиться о благополучии его миссии, как вдруг однажды рано утром я увидел его входящим в мою комнату в сопровождении городового. Брат мне объяснил, что был арестован в Волочиске за отсутствие паспорта, так как имевшийся у него в кармане студенческий матрикул был недействителен вне Киева. Из Волочиска его повезли под арестом в город Староконстантинов, а оттуда в сопровождении присутствовавшего тут же городового отправили в Киев в распоряжение полицеймейстера фон-Гюббенета. По пути

в Киев они оба смерзли в вагоне, почему брат мой и убедил своего стражника, что полицеймейстер, к которому он должен был доставить арестованного, спит до 9 часов и поэтому они будут иметь достаточно времени заехать ко мне, напиться чаю и согреться.

Наивный городовой изъявил на это предложение свое согласие и даже, взяв от меня деньги, бегал в соседнюю лавочку за хлебом, колбасою и другими продуктами, может быть, даже за «водочкой», хотя этого я не помню. Согревшись, они отправились к полицеймейстеру, а часа через два мой брат с веселым и успокоенным видом возвратился ко мне и рассказал свою Одиссею. Оказывается, что полиция и жандармерия сразу обратили в Волочиске на него внимание и потребовали паспорт. Когда же его не оказалось, то подвергли допросу о цели приезда; мой брат заявил, что он приехал в Волочиск для того, чтобы справиться о ценах на хлеб; но когда для проверки его показания ему предъявили зерна различных хлебов, то он не сумел отличить ячменя от овса и ржи от пшеницы. Разъяснению его, что он владелец собственного имения в Полтавской губ., не занимающийся хозяйством, но сдающий свою землю в аренду зятю, который задерживает уплату аренды под предлогом низких хлебных цен, каковое оправдание арендатора он и приехал проверять в Волочиск, как в пункт вывоза нашего русского хлеба за границу, местные власти, однако, не поверили и отправили его под конвоем городового в Киев в распоряжение полицеймейстера.

В Киеве полицеймейстер Борис Яковлевич фон-Гюббенет (отец артистки Яворской), не выспавшись после ночи, обычно проводимой им в кафе-шантанах и других злачных местах, разразился глумлением по адресу властей. живущих в «диких волынских дебрях», которые, повидимому, никогда не видели студента, и сразу отпустил моего брата на все четыре стороны.

О книжках и контрабандистах при аресте моего брата не было речи. Транспорт «Вперед!» надо было считать погибшим, так как после истории с арестом моего брата было уже слишком рискованно отправляться вызволять книжки, и отрадно было хоть то, что лично мой брат не пострадал жестоко. Впрочем, дело брата этим не ограничилось. Другие власти отнеслись к этому случаю не так легко. Прошло еще несколько дней; я стал уже поправляться и вставать с постели. как вдруг ко мне прибежало несколько студентов, товарищей моего брата, разыскивая его. Они сообщили удивительную вещь: некая дама (опять благодетельная дама!), кажется, их знакомая, приехав только-

что в Киев по железной дороге, проходила по вокзалу с перрона к выходу и случайно услышала разговор двух офицеров, из коих один приглашал другого к себе на вечер, а другой отвечал ему, что он не свободен, так как ночью должен произвести обыск «у студента Кулябко-Корецкого». Она, будучи несколько прикосновенна к радикальным сферам, конечно, без замедления поспешила предупредить о предстоявшем обыске знакомых ей студентов, которые разыскивали моего брата, чтобы очистить его квартиру от могущей оказаться у него «нелегальщины». Не найдя моего брата дома, они зашли ко мне, а затем все же открыли его комнату подобранным ключом и привели ее в надлежащий порядок, так что обыск окончился для брата вполне благополучно.

Тем не менее эпизод этот не прошел ему даром. В связи, может быть, и с другими фактами, он послужил поводом к тому, что в конце семестра мой брат был неожиданно уволен из Киевского университета без права перехода в другой университет.

На следующий семестр мой брат приехал в Петербург, где пытался обойти запрет; когда же это не удалось, то он поступил в Дерптский университет, причем ему пришлось переменить факультет с юридического на медицинский.

III

Оправившись от болезни, я в конце января или начале февраля 1874 года вернулся в Петербург, пробыв таким образом в отлучке 2 или 2½ месяца вместо предположенных 10—12 дней.

Немедленно по приезде я подробно доложил в кружке о своей неудаче в предпринятой по собственной инициативе попытке провезти через границу в Волочиске небольшой транспорт изданий журнала «Вперед!». Эта неудача, смутные сведения о которой доходили в Петербург и раньше, не могла, конечно, не огорчить моих товарищей, но не была и не могла быть поставлена мне в вину, так как явно была результатом действия так называемой force majeure, с которой революционерам приходилось сталкиваться чуть не на каждом шагу.

Явился я тогда же и в редакцию «Знания», помещавшуюся на Литейном проспекте, вблизи Невского, чуть ли не в том самом доме, где впоследствии жил К. П. Победоносцев, или в соседнем с ним, где затем помещался книжный склад Александры Михайловны Калмыковой. Зашел я узнать, сохранилось ли за мною место секретаря редакции, несмотря на мое продолжитель-

ное отсутствие; редакторы И. А. Гольдсмит и Д. А. Коропчевский выразили мне соболезнование по поводу приключившегося со мною несчастия.

Чтобы уже не возвращаться в будущем к описанию моей деятельности в качестве секретаря редакции «Знания», остановлюсь здесь на краткой характеристике моего положения на этом посту и моей там деятельности с тем, чтобы затем посвятить внимание всецело моей деятельности как члена кружка впередовцев.

Пятьдесят рублей жалованья, получавшиеся мной ежемесячно от редакции, давали мне возможность скромного существования в Петербурге и были почти единственным для этого источником, так как в последнюю мою неудачную поездку в Париж я истратил, кажется последние остатки пятитысячного капитала, доставшегося мне при разделе отцовского наследства десять лет тому назад. За небольшую комфортабельную комнату у одинокого синодского чиновника, безнадежно страдавшего tabes dorsalis, я платил 17 рублей в месяц; обед в разных кухмистерских обходился в 12—15 рублей, а остаток в 18—20 рублей вполне покрывал мои остальные скромные нужды, так как бельем и платьем я на много лет обеспечил себя во время годичного пребывания в дешевой Швейцарии.

Мои занятия в редакции были довольно сложны, но не обременительны. Ежедневно я просиживал в редакции 3—4 определенных часа для приема посетителей; но их появлялось очень немного, и я без существенного ущерба мог, с ведома редакторов и даже помимо того, отлучаться как в приемные часы, так даже иногда и на несколько дней, причем посетителей принимал тогда один из редакторов, или же проситель отсылался на другое время. Прикрепленных к журналу сотрудников было немного, главным образом переводчики, так как журнал преимущественно заполнялся переводными научными статьями и обзорами иностранных научных журналов. Подписчиков также было не густо: кажется, число их немногим превышало тысячу, так что доходы журнала далеко не удовлетворяли широким аппетитам редакторов, особенно почтеннейшего Исидора Альбертовича, убежденного последователя философа Эпикура, а также и молодой, красивой и жизнерадостной супруги Гольдсмита, часто наезжавшей к мужу из подмосковной деревни своих родителей. Корреспонденция с подписчиками, ведение бухгалтерских счетов, получение и отправление денег лежали на обязанности конторы, помещавшейся на Галерной улице, в ведении конторщика, по фамилии Жук, которого я, кажется, даже ни разу не видал.

На мою долю приходилось подготовлять рукописи статей и заметок для предстоявшего номера журнала, под руководством, разумеется, и наблюдением редакторов, а во время их отсутствия подчас и на собственный свой страх; затем на мне лежали проверка и исправление переводов на русский язык немецких и французских статей переводчиками, приобретавшимися «по дешевке», очень часто несведущими и даже малограмотными по русскому языку; затем проверка последней корректуры, дабы не пропустить в печать какой-нибудь грубой опечатки, и, наконец, наблюдение за правильным выполнением типографией указаний и директив редакторов, для чего приходилось иногда бегать в типографию Демакова, помещавшуюся в Новом переулке, у Мариинского дворца.

Из этого видно, что моя деятельность в редакции «Знания» действительно была очень многообразна: я был и переводчик с иностранных языков, и корректор, и метранпаж, и подчас самостоятельный редактор журнала. Но вся эта разнообразная работа едва ли поглощала у меня более 15 —18 часов в неделю; да и из этих часов, наверно, более половины уходило на частные разговоры с редкими посетителями редакции или же чтение лично для меня интересных статей в иностранных специальных журналах, коих редакция выписывала большое количество.

Сами редакторы посвящали журналу еще меньше времени. Д. А. Коропчевский, известный в свое время этнограф, редко даже показывался в редакционной комнате, а сидел и занимался наукой у себя в кабинете или же месяцами проживал на родине, в городе Красном Холме, Тверской губернии. И. А. Гольдсмит, официально числившийся, кажется, присяжным поверенным, наоборот, вечно суетился и о чем- то хлопотал во время своего пребывания, с женой или без нее, в Петербурге, но тоже часто отсутствовал или в имении тестя, в Бронницком уезде Московской губернии, или же в заграничных поездках, частью для жуирования с женой или вне ее наблюдений, а частью для выискивания по пути интересных для журнала материалов в научных и литературных сферах.

Спрашивается, как это при такой беспризорности мог существовать весьма интересный, полезный, вполне солидный и научный периодический орган. Надо ответить на этот вопрос, что избранный редакторами круг знаний для издаваемого ими журнала значительно способствовал научному успеху издания. То было время появления в Англии доктрины Дарвина, время расцвета во Франции школы антропологии под главенством Поля Брока, выпуска талантливых трудов Геккеля в Германии,

издания описаний самоотверженных подвигов Ливингстона, Стэнли, Эмин-Паши и многих других исследователей, проникавших внутрь Африки для обнаружения тайн «черного» материка, время первого бесстрашного поселения Миклухи-Маклая среди диких людоедов и т. д. Книжные рынки всех культурных наций были переполнены популярными изданиями новинок из области этих наук, и редакторам «Знания» немного труда стоило переполнить книжки своего журнала вполне солидным матерьялом по дешевой цене, благодаря отсутствию в то время литературной конвенции с другими государствами. Скажу даже больше. При научных познаниях и трудоспособности Коропчевского и при подвижности и оборотливости Гольдсмита они могли бы создать блестящее дело, открыв типографию и организовав издательство при журнале, подобно Суворину, Стасюлевичу и другим. Однако, Гольдсмит в Петербурге ни разу не заикнулся мне о так красиво расписанном в Цюрихе проекте создания кооперативной типографии. Очевидно, что ко времени моего водворения при журнале издатели его значительно охладели к делу. Думаю даже, что они, кажется, охотно готовы были от него избавиться. В этом меня особенно убедило следующее происшествие.

Была середина глухого летнего сезона. Оба редактора кейфовали в своих Монрепо, и в редакции распоряжался я самостоятельно. В один из жарких дней в редакции появляется чиновник Главного управления по делам печати и, предъявляя официальный пакет, требует расписки в его получении. Оказалось, что цензурное ведомство объявило журналу «второе предостережение». Повод для взыскания был нелеп даже для лонгиновской цензуры [67]. В одной из переводных статей по психологии животных автор бегло сравнил чувство покорности и преклонения собаки к своему хозяину с религиозным чувством верующего человека к своему владыке и создателю — господу богу.

Меня это распоряжение сильно взволновало, тем более, что книжку журнала я выпустил в отсутствии редакторов и являлся как бы ответственным в допущенной неосмотрительности. Я немедленно телеграфировал обоим редакторам в Красный Холм и в Бронницы и два дня ждал распоряжений оттуда. Как оказалось впоследствии, мне не было нужды волноваться и пороть горячку, а надо было спокойно отправить грозную бумагу в типографию для напечатания при следующей книжке журнала, как это требуется по цензурному уставу. Из равнодушного отношения редакторов к цензурной каре я не мог не вывести заключения, что она для них явилась благодатной водой на их мель-

ницу. Доходы журнала, очевидно, их не удовлетворяли, и они готовы были ликвидировать предприятие благовидным способом: стоило лишь усилить «неосторожность» и «непредусмотрительность», чтобы накликать на себя «третье» предостережение с приостановкой на время провинившегося издания; тогда у издателей явится стихийный повод для окончательного закрытия журнала. Ведь гораздо лучше «с честью» пасть в борьбе с произволом, чем позорно захиреть от собственного худосочия.

Но к этому предположению я пришел лишь постепенно, впоследствии, а в то время ломал лишь голову, соображая, почему не получаю от редакторов ответов на мои телеграммы, и, наконец, решил ехать в Бронницкий уезд на свидание с Гольдсмитом, с которым обычно совещался по делам журнала.

Мой кружок, узнав о предположенной мною поездке за Москву, просил меня продолжить несколько эту поездку и исполнить какие-то срочные поручения в Харькове или в другом каком-то городе по этому тракту.

Если раньше я позволял себе иногда отлучаться из редакции на день или два, не замещая себя, то теперь, не зная времени возвращения из поездки, я пригласил замещать себя моего цюрихского знакомого Алексея Захаровича Попельницкого, который, будучи педагогом по натуре, по возвращении из-за границы занял было место воспитателя порочных мальчиков в исправительной колонии близ Петербурга за «Пороховыми».

Как бывший слушатель гуманного криминалиста А. Ф. Кистяковского, автора диссертации «Молодые преступники», я интересовался вопросом об исправительном воспитании, и с этой целью отправился однажды пешком через Охту и Пороховые погреба на осмотр этой колонии, руководимой известными в то время педагогами Резенером и Гердом. Там я нашел Попельницкого, который и демонстрировал мне систему воспитания, введенную в исправительной колонии этими педагогами. Но вследствие несчастного случая, компрометировавшего взгляды Резенера и Герда в глазах невежественных людей, эти педагоги оставили заведывание учреждением [68], а вслед за ними службу в колонии покинул и Попельницкий, который как раз к этому времени оказался таким образом безработным.

Сдав редакционные дела на время своего отсутствия из Петербурга А. З. Попельницкому, я выехал в Бронницкий уезд, в имение тестя Гольдсмита, имя коего забыл. Поездка эта, предпринятая без ведома редакторов, не вызвала неудовольствия Гольдсмита, но, подобно предыдущей парижской поездке, окончилась катастрофически.

Семья Гольдсмита встретила меня приветливо и отправила своим экипажем на вокзал после раннего деревенского обеда. Сам Гольдсмит успокоил меня, уверяя, что не следует принимать цензурное распоряжение трагически. Участь журнала, по его словам, все равно предрешена и может быть избегнута лишь с переменою режима, на что надежды мало. Он, Гольдсмит, сам собирается на следующий день ехать в Питер и оставит Попельницкого при редакции до моего возвращения. Перед отъездом я предупредил Гольдсмита, что на другой день я выйду к нему навстречу на Курский вокзал в Москве, чтобы проводить его на Николаевский вокзал и в течение двух часов перерыва его пути обсудить еще некоторые редакционные дела.

Вернувшись в Москву, я остановился у нашей родственницы Екатерины Петровны Сильверсван, у которой вновь гостила моя сестра Ольга, в Гороховском переулке Басманной части. На другой день к назначенному часу я отправился навстречу Гольдсмиту на Курский вокзал прямо с Гороховского переулка, который в то время не был отгорожен от вокзальной территории.

Двигаясь по этой территории, я встретил на моем пути длинный, мирно стоящий товарный поезд. Перебираясь через него при посредстве кондукторской площадки, я оступился и полетел с этой высокой площадки на землю, попав левой ногой на рельс. Удар был настолько силен, что я на несколько секунд потерял сознание. В момент падения я видел человека, идущего ко мне навстречу, шагах в 30, а когда я пришел в сознание после падения, человек этот стоял уже надо мной, помогая мне подняться; следовательно, я был без сознания только то время, пока этот человек прошел или пробежал 30 шагов.

Несмотря на нестерпимую боль в ступне левой ноги, я тем не менее поднялся при помощи того прохожего и прихрамывая добрел до вокзала, где в ожидании поезда прогуливался по перрону в надежде «перегулять» ушиб. Дождавшись прихода ожидаемого поезда, я встретил Гольдсмита и проводил его на вокзал Николаевской линии, разговаривая с ним на извозчике о редакционных делах. Далее боль стала настолько нестерпима, что я вынужден был оставить собеседника и поехать домой, в Гороховский переулок. Там пришлось разрезать мне сапог; приглашенный известный тогда в Москве хирург Соборов констатировал у меня растяжение связок ступени, оказал первоначальную помощь и через несколько дней наложил на больную ногу неподвижную гипсовую повязку. С этой повязкой я вернулся в Петербург, где пролежал в своей постели около двух

месяцев, а затем месяца два ходил с костылем и потом около года обязательно с палкой.

В течение двух месяцев моей болезни обязанности секретаря редакции «Знания» исполнял А. З. Попельницкий и, конечно, получал за меня причитавшееся секретарское вознаграждение.

Вспоминая это время, я помню, однако, что, повидимому, я не испытывал в то время особенной нужды в средствах, несмотря на болезнь. По крайней мере, вращаясь среди студенческой голытьбы, я слыл среди них в числе «богачей», могущих всегда «позычить», говоря по-украински, каким-нибудь двугривенным или полтинником «на извозчика» или на обед в студенческой столовой или греческой кухмистерской.

Спрашивается, каким образом я покрывал этот дефицит в моем бюджете? По всей вероятности, я именно в это время поместил за скромный гонорар несколько анонимных рецензий в «Отечественных Записках» и какую-то экономическую статью в «Знании». Предмет статьи, ее заглавие и псевдоним автора исчезли из моей памяти, но о существовании этой статьи я впоследствии осведомился по следующему курьезному случаю

Лет через 25 или 30 после описанных событий я как-то разрабатывал какой-то экономический вопрос и, собирая литературу этого вопроса, набрел на статью в старинном журнале «Знание», по своему заглавию соответствующую моим поискам. Вытребовав на просмотр эту книжку «Знания» в Петербургской публичной библиотеке, я, к крайнему своему удивлению, убедился, что искомая статья принадлежит моему же перу.

Подобная авторская самозабывчивость случалась со мною, впрочем, не раз. В первые годы Октябрьской революции, переживая в Сочи чуть ли не девять сменявших друг друга правительств, я много раз принужден был заполнять разные анкетные листы, где, между прочим, для установления своего революционного стажа считал нужным перечислять статьи свои, печатавшиеся в лавровском журнале «Вперед!», и ни разу не упомянул в этих анкетных листках о забытой мною статье «Неизбежная вражда» в третьем томе этого журнала. Такую же забывчивость обнаружил я в автобиографии, поданной мною в Ленинградский музей революции при обсуждении вопроса о моей пенсии. Когда же Витязев, издатель (под фирмой «Колос») трудов П. Л. Лаврова, для побуждения меня к писанию своих мемуаров предоставил в мое распоряжение коллекцию изданий лондонского журнала «Вперед!», я в прощальной статье, помещенной Лавровым в № 48 двухнедельника «Вперед!», прочел,

что в числе моих трудов, напечатанных в этом органе, имеется статья «Неизбежная вражда». Лишь тогда я вспомнил, что действительно эта статья написана мною.

Заканчивая на этом описание моей работы в роли секретаря редакции «Знание», перехожу к изложению моей деятельности и моих впечатлений в качестве члена революционной группы лавровцев, в том же Петербурге.

IV

Взявши на себя роль историографа лавровского кружка в Петербурге, я должен оговориться, что не считаю себя вполне компетентным для выполнения этого дела. Я вступил в кружок на второй, а, может быть, даже на третий год его существования. Уважая лишь любознательность, а не любопытство, я из прошлой жизни кружка осведомлялся обыкновенно лишь о том, что было важно для текущего момента. Кроме того, в бытность мою членом кружка я часто отсутствовал из Петербурга по делам кружка, и о том, что происходило в мое отсутствие, знаю только по рассказам товарищей. Не могу поэтому ручаться, что не пропустил без внимания чего-либо важного. Но могу лишь гарантировать, что я нигде не отступил от истины и, сообщая что-либо, известное мне лишь из вторых рук, я всегда это обстоятельство отмечал весьма определенно.

Еще в первый мой приезд в Петербург в октябре 1873 года, когда без проявления с моей стороны какой бы то ни было инициативы я оказался принятым в состав членов тайной революционной организации, я не мог не обратить внимания на некоторую, если можно так выразиться, аморфность этого кружка. Кружок этот казался мне какой-то «организацией» без организации. Он не имел никакой конституции, никакого устава, в нем не было установлено никаких хотя бы общих правил для деятельности членов и для взаимных их отношений друг к другу, не велось никаких протоколов или записей, никаких счетов, списков и т. п. Также, по возможности, избегалась там всякая переписка, и разные сношения как между членами кружка, так и с членами других революционных организаций велись по возможности путем личных свиданий, и только в крайности допускалась конспиративная переписка химическими чернилами, или при посредстве лекала, или шифром.

Только благодаря этому строгому воздержанию от переписки кружок, я полагаю, избег больших потерь в своих столкновениях с властями. В то время как в других организациях,

как, напр., у долгушинцев, в московском кружке Бардиной и др., обыск или арест одного члена влек за собой обыкновенно провал всей организации, в кружке лавровцев все провалы легко локализировались и оканчивались единичными жертвами. Так, забегая несколько вперед, укажу на то, что арест и осуждение на каторгу члена кружка, помощника присяжного поверенного Евгения Степановича Семяновского не вызвали других обысков и арестов, несмотря даже на то, что Семяновский взят был на коммунальной квартире и даже в общей комнате, которую он занимал со мною, но, по счастью для меня, в момент моей командировки по делам кружка в Кишинев. Не вызвало дополнительных арестов и привлечение меня к делу московского кружка в Кишиневе, а также обыски, аресты и высылки Александра Семяновского и Таксиса в Петербурге, Рихтера в Твери и Бурлина в Москве.

Своей особой программы кружок не имел, за исключением «программы», составленной П. Л. Лавровым и напечатанной в первом томе журнала «Вперед!». Этой программы придерживались все члены кружка только в общем, несколько расходясь иногда в оттенках толкования острых вопросов того времени, как, напр., о роли «знания», о «бунтарстве» и т. п.

Практическая деятельность кружка заключалась в попытках организации революционных социалистических кружков среди петербургских рабочих, что в то время представлялось делом очень трудным, в распространении как среди рабочих, так и в кружках молодой интеллигенции народнической и социалистической, легальной и нелегальной литературы; главным же образом — в материальной и литературной поддержке журнала «Вперед!», в доставлении ему статей и корреспонденций, в контрабандной перевозке внутрь России изданий его редакции и в распространении этих изданий повсеместно в России.

Вследствие увлечения в то время «хождением в народ» этому виду социалистической и революционной пропаганды отдали некоторую дань и наши члены. Так, в 1874 году летом члены кружка Варзар и Таксис ходили под видом косарей в Донскую область, а в следующем году я делал неудачный опыт такого же «хождения» под видом письмоводителя деревенского адвоката в Орловской губернии, о чем будет в своем месте сказано более подробно.

Труднее всего членам кружка доставалось добывание материальных средств для содержания журнала «Вперед!» и его типографии, на что тратилось, я полагаю, не менее пяти или шести тысяч рублей в год, а может быть, и значительно больше.

Кружок при моем в него вступлении состоял приблизительно из 30 душ, большею частью студентов высших учебных заведений Петербурга: Медико-хирургической академии, Технологического института, университета. Постараюсь перечислить их в порядке учебных заведений.

Из студентов-медиков на первом месте по приобретенному в своей среде авторитету, по инициативности роли в кружке и горячему отношению к делу надо поставить Гинзбурга, Льва Савельевича, уроженца города Чернигова, впоследствии ординатора-хирурга Александровской больницы в Петербурге, специалиста по зубным болезням и лектора в зубоврачебном институте, скоропостижно умершего в Петербурге от нервного переутомления осенью 1916 года, за несколько месяцев до Февральской революции. Затем следуют его близкие друзья и однокурсники: Ильин Василий Михайлович, уроженец г. Полтавы, чрезвычайно умный человек, в конце концов погибший от увлечения морфинизмом и алкоголизмом и умерший в конце 80-х годов в Кременчугской земской больнице; его товарищ Иванов страдал тем же недугом и умер года через два по окончании академии, в должности земского врача в Орловской губернии. Его жена, родная сестра Ильина, Иванова Евгения Михайловна, из первого выпуска женщин-врачей Петербургских курсов, пользовалась по смерти мужа большою популярностью в Орле как сведущий и гуманный врач-практик. Образцов Василий Парменович, уроженец, кажется, Вологодской губернии, ставший известным и популярным профессором-терапевтом Киевского университета. Копосов Василий Александрович, известный психиатр, работавший в Новгороде при докторе Синани, затем в Саратове, где принимал живое участие в радикальных кругах, и, наконец, заведывавший психиатрической лечебницей в Симбирске. Чудновский Мирон, бывший затем врачем, кажется, в Николаеве Херсонской губернии. Кривуша, уроженец Бессарабии, впоследствии некоторое время занимавший место прозектора в Николаевском госпитале в Петербурге. Цвибак, по окончании академии служивший военным врачем в Карской области, в Закавказьи. Худадов, грузин, активный деятель в революционном движении на Кавказе в 1904—1905 гг., председательствовавший на митингах протеста и зарезанный кинжалом на улице в Тифлисе каким-то черносотенцем.

Представителями Технологического института в кружке были: Таксис Антон Феликсович, уроженец Полтавы, сын учителя французского языка Таси (Taxis) и матери украин-

ки, много лет живший в эмиграции в Париже и Берлине, где обучался электричеству, и затем, в качестве электротехника, служивший в Богословском заводе на Урале и по страхованию в Петербурге в компании «Надежда» и в обществе «Россия». Варзар Василий Егорович, уроженец Чернигова, автор популярной революционной книжки «Хитрая механика», многократно издававшейся в лондонской типографии «Вперед!» и обращающейся на книжном рынке до наших дней, земский деятель Черниговской губернии, земский статистик, автор капитальных статистических работ о наших фабриках и о стачках в России, а ныне живущий на пенсии в Москве. К этой же группе членов кружка надо причислить жену Варзара, Александру Григорьевну, урожденную Рашевскую, тоже уроженку Чернигова, умершую в глубокой старости в Чернигове, в 1929 г.

Представителями университета в нашем кружке были: Семяновский Евгений Степанович, сын штаб-лекаря и мелкого домовладельца в Киеве, кандидат прав, написавший интересную диссертацию «О праве литературной собственности», осужденный на каторгу за «пропаганду среди гвардейских писарей» и застрелившийся на Каре 1 января 1881 года [69]. Семяновский Александр Степанович, брат предыдущего, кандидат прав, земский статистик, служивший затем в Дворянском банке, на который, судя по его письмам ко мне, смотрел как на учреждение, содействовавшее ускорению ликвидации крупного дворянского землевладения, два раза бывший в административной ссылке, кажется, в Вятской и Пермской губерниях. Бубнов Александр Александрович, впоследствии кандидат прав и видный в Петербурге присяжный поверенный-цивилист. Чернышев, впоследствии учитель математики в гимназии в Орле, и жена его, деятельная сотрудница кружка в первые годы, София Ивановна.

Из других не студенческих сфер в числе членов кружка могу вспомнить следующих: Криль Александр Александрович, женатый на сестре Ткачева, Татьяне Никитичне, отец писательницы Т. А. Богданович, железнодорожный служащий; по смерти жены перевелся на службу в Сибирь [70]. Мурашкинцев Александр Андреевич, занимавший довольно видный пост в центральных учреждениях министерства финансов. Литошенко Василий Абрамович, студент Харьковского университета, живший в Петербурге в год моего туда приезда, впоследствии сведущий цивилист, присяжный поверенный в Харькове. Линтварев Дмитрий, по болезни

уехавший на юг и, не помню, принимавший ли участие в делах кружка после своего отъезда.

Из членов кружка, живших вне Петербурга, могу упомянуть следующих: Бутурлин Александр Сергеевич, живший в Москве, — человек, заслуживающий особой биографии. В 60-х годах он, будучи студентом Московского университета, был исключен по «полунинской истории», затем привлекался к нечаевскому делу, сидел в тюрьме, но по суду был оправдан; в 80-х годах был сослан в Западную Сибирь на 5 лет, из коих около 3 лет отбывал ссылку в Симбирске; некоторое время был эмигрантом в Лондоне. После ссылки, когда сыновья его поступили в университет, он сам тоже надел студенческий мундир, пробыл в университете 5 лет и выдержал экзамен на лекаря, хотя практической медициной не занимался, а жил последние свои годы ученым анахоретом, изучая греческий и еврейский языки, и помогал Льву Толстому в его евангельских изысканиях, не разделяя, впрочем, толстовских религиозных заблуждений. Он был очень деятельным членом нашего кружка. Через его руки и его московскую квартиру проходили все дела кружка по Москве и за Москвой. Его квартира на Пречистенке, точно постоялый двор, вечно кишела приезжими, где устраивались свидания и передавались письма и посылки. Он оказывал довольно значительную помощь деньгами на издание журнала «Вперед!», но, к сожалению, был сильно ограничен в этом отношении. Его мать, урожденная Гагарина, очень богатая помещица Симбирской губернии и московская домовладелица, прожившая до 80-летнего возраста, выделяла узаконенные наследственные доли своего крупного состояния двум своим старшим сыновьям, проходившим блестящую военную карьеру, вольнолюбивому же и благородному младшему сыну Александру до своей смерти выдавала лишь на прожитие только некоторую часть причитавшегося ему имущества, дабы он не мог кормить «нигилистов».

Мой цюрихский друг Рихтер Дмитрий Иванович, вскоре по возвращении из-за границы, войдя в состав петербургского кружка лавровцев, поступил на службу просвещенного Тверского земства, сначала по страховому делу, а затем по статистике и жил сначала в Корчеве, затем в Торжке и, наконец, в Твери. Здесь он принимал деятельное участие в трудах кружка, поддерживая сношения с Петербургом и Москвою, куда он часто отлучался. Между прочим он участвовал в Москве в организации удачного побега из московской полицейской части доктора Ивановского («Ивана Великого»), эмигрировавшего в Румынию, на сестре которого был женат Вл. Гал. Короленко[71].

Подозрительное поведение Рихтера при частых его наездах в Москву вызвало его арест и привлечение к делу о взрыве царского поезда в Москве осенью 1879 года. Освободился он от этого обвинения, доказав свое alibi ссылкой на официальные акты, лично им совершенные по службе в Торжке. Между прочим в Твери он привлек к делам кружка Покровского Василия Ивановича, известного земского статистика и влиятельного и просвещенного общественного деятеля Тверского земства [72].

В городе Александрове, Московской губернии, или же в Александровском уезде проживал владелец текстильной фабрики по фамилии кажется Баранов или Соловьев, который оказывал материальную помощь кружку по содержанию журнала «Вперед!» [73]. Некоторые, кажется, считали этого фабриканта членом кружка, но едва ли это верно. Пересматривая составляемый мною список членов кружка, я усматриваю, что все они принадлежали к одному общественному классу интеллигентных пролетариев, среди которых владелец фабрики явился бы какою-то белою вороной. Его, может быть, можно считать лишь сочувствовавшим кружку и оказывавшим ему материальную помощь, каковых в то время должно было быть немало, если иметь в виду крупные суммы, собиравшиеся кружком на содержание журнала «Вперед!».

С этим фабрикантом вел сношения исключительно, кажется, один Гинзбург, который по временам ездил к нему на фабрику за субсидией. Одна из таких поездок его чуть не окончилась трагически, но, по счастью, вызвала лишь шутливую легенду о том, что «знаменитая» брошюра П. Н. Ткачева, напечатанная М. П. Сажиным в Лондоне, «Задачи революционной пропаганды в России» оказалась столь убедительной критикой взглядов Лаврова, что самый верный последователь Лаврова в России, Л. С. Гинзбург, не только изучил эту брошюру, но в порыве увлечения даже съел ее. Дело в том, что Гинзбург, отправляясь в Александров, захватил с собой в дорогу для прочтения только-что появившуюся тогда брошюрку Ткачева. На его беду, на одной из небольших станций, где он должен был переменить поезд, его заподозрили в пропаганде два жандарма, командированные владимирским жандармским полковником для поимки какого-то пропагандиста. Потребовав у Гинзбурга предъявления паспорта и видя, что предъявленный им студенческий матрикул не может служить документом вне Петербурга, они задержали Гинзбурга для предъявления его полковнику во Владимире. В ожидании поезда они его поместили на станции в дамской

комнате, где Гинзбург, улегшись на диван и закрывшись пледом (еще улика в нигилизме!), пытался съесть брошюру Ткачева, которая, попав на глаза полковника, должна была погубить Гинзбурга. Конечно, брошюра оказалась несъедобной, но была затем измельчена под пледом в мелкие куски и благополучно спущена в уборной. Не найдя против Гинзбурга никаких улик и отпуская его на свободу, полковник прочитал лишь наставление молодому человеку о необходимости большей осторожности в «наше смутное время». Рассказанный самим Гинзбургом, этот эпизод и послужил поводом для легенды.

В состав кружка входило еще несколько душ, живших за границей, Из них на первом месте надо поставить Смирнова Валерьяна Николаевича, главного, в то время почти единственного сотрудника Лаврова по литературной части, а затем его жену, Идельсон Розалию Христофоровну, проживавшую частью в Лондоне, частью в Берне, где получала от мужа ежедневно письма, настоящие бюллетени об всем происходившем в редакции, а потому бывшей всегда au courant всего касавшегося редакции, а отчасти и петербургского кружка. Из сотрудников типографии «Вперед!» я должен здесь назвать двух наборщиков, ближе всего стоявших к Смирнову и по закрытии журнала вернувшихся в Россию для кружковой работы, а именно: Яицына Михаила Ивановича, носившего в Лондоне кличку «Капитана», и бывшего кочегара на пароходах Русского общества «Ропит» по линии Одесса—Лондон. Вощакина Якова Васильевича. Кроме того, активным и крайне полезным для кружка деятелем был проживавший большей частью в Пруссии, на границе с Россией, Зунделевич Аарон, устраивавший как для нашего кружка, так и для других групп контрабандную перевозку через границу книг в Россию и политических эмигрантов из России, попавший затем в лапы жандармов, сосланный по суду на каторгу, где и умер [74].

Из 31 перечисленного члена кружка (включая в их число и меня) не все, конечно, принимали в трудах его одинаковое участие. Насколько я мог заметить при моих частых, а иногда и продолжительных отлучках из Петербурга, некоторые из членов проявляли довольно слабую активность, а иные по окончании образования в своем высшем учебном заведении, уезжая в провинцию, разрывали всякую связь с прежними товарищами. Наиболее же активными членами, не говоря уже о заграничных наших товарищах, были: Бутурлин в Москве, Рихтер в Тверской губернии, а в Петербурге: Гинзбург, Варзар, Таксис, оба брата Семяновские и Ильин.

Не так давно я прочитал мемуары талантливого, хотя и не первоклассного нашего беллетриста, Иеронима Иеронимовича Ясинского [75]. Там он очень рельефно и образно рисует кружок самообразования, существовавший в его время в Черниговской гимназии, во главе которого стоял гимназист Лев Гинзбург. Ярко описанное беллетристом интеллектуальное и энергетическое преобладание над товарищами Гинзбург сохранил, по описанию Ясинского, и после перехода из гимназии в Киевский университет. Весьма естественно, что по переходе в Медицинскую академию в Петербурге он сохранил свое влияние на прежних своих сотоварищей, а через них и на остальных членов уже совершенно новой среды политических и социальных единомышленников.

Учитывая упомянутые наблюдения художника и просматривая список членов кружка в сопоставлении со сведениями о местах их первоначального образования, я вывожу заключение, что петербургский кружок лавровцев следует рассматривать как некий вертоград, расцветший на политически удобренной петербургской почве из отборных семян, выращенных на тучных нивах Украины: в Чернигове (Гинзбург и оба супруга Варзар), в Полтаве (Таксис, Ильин и сестра его Иванова), Киев (братья Семяновские), а, пожалуй, отчасти и в Харькове или Сумах (Линтварев и Литошенко). Таким образом, петербургский кружок последователей Лаврова можно по происхождению считать украинским, который уже в Петербурге стал пополняться великороссами и другими этнографическими элементами. Хотя, впрочем, и на Украине он вобрал в себя самые разнородные этнографические элементы до французского включительно.

Кроме перечисленных выше 31 члена нашего кружка, я в первое время пребывания в Петербурге встречал еще в нашей среде несколько лиц, относительно которых я не уверен, состояли ли они действительно в составе кружка или же были лишь более или менее близки к нему, или сотрудничали только в отдельных выступлениях. К числу этих лиц я должен прежде всего отнести Аксельрода Павла Борисовича; помню даже, что он в нашей среде носил шутливую кличку «Кислорода» [76]. Я затем с интересом следил за его революционной эволюцией в среде русских эмигрантов. В 1915 году я, захваченный мировой войной вне своего отечества, проживал в Женеве и, узнав, что туда приехал Аксельрод и остановился в одном из пансионов на Rue du pont d'Arve, я зашел навестить его. Ожидая встретить любезный прием, подобно тому, как меня встретил в Женеве же Г. В. Плеханов, я был удивлен демонстративно холодным его ко мне отношением; напрасно я старался завязать

с ним дискуссию как по поводу свирепствовавшей в то время мировой бойни, так и относительно его бывших связей с петербургским кружком лавровцев.

К числу этих же лиц я отношу также известного плодовитого мемуариста тех времен Осипа Аптекмана [77]. Я очень усердно разыскивал его мемуары, чтобы выяснить его первые шаги в тогдашнем движении нашей молодежи, но именно этой части мемуаров я до сих пор не раздобыл. Переехав в 1922 г. из Сочи в Ленинград, я узнал, что Аптекман нашел себе приют на Карповке, в доме престарелых писателей, но по нездоровью откладывал со дня на день свое посещение этой отдаленной от меня части города, пока не узнал, что Аптекман уехал в Москву, где вскоре и умер.

Не ясны для меня и отношения к кружку известной Малиновской [78]. Ее я ни разу не встречал ни на общих, ни на частных совещаниях нашего кружка. Когда же летом 1875 года я оставил свою меблированную комнату на Малой Итальянской улице и переселился в коммунальную квартиру, которую занял А. А. Криль с женою и в которой я поместился в одной общей комнатке с Евгением Семяновским, то одну из свободных комнат этой обширной квартиры заняла Малиновская. С нею я едва познакомился; она ежедневно посещала студию Академии художеств. Вскоре по переселении на эту квартиру я надолго уехал по делам кружка в Кишинев, а когда вернулся в ноябре или декабре того же года вновь в Питер, то застал все оставленное разрушенным. Жена Криля, Татьяна Никитична, умерла от родильной горячки, сам Криль уехал на службу в Сибирь, где вскоре вторично женился; Евгений Семяновский, доверившись подосланному провокатору, был арестован, затем осужден пристрастным судом и сослан на каторгу, где и застрелился, а что сталось с общей квартирой и с остальными жильцами, в том числе и с Малиновской, я не помню. Знаю лишь, что Малиновская была впоследствии арестована по делам другой организации.

Также в сомнении нахожусь я и по поводу участия в нашем кружке симпатичного Николая Алексеевича Саблина, ставшего затем народовольцем и застрелившегося при обыске в Саперном переулке в первые дни после 1 марта 1881 года [79]. Я помню только, что какие-то общие у нас с ним сношения были. При одной из моих тогдашних частых поездок в Москву я получил от него какое-то поручение к его брату, состоявшему в то время преподавателем или воспитателем в Александровском военном училище, на Знаменке, куда я и заходил на его квартиру, поме-

щавшуюся в бесконечном коридоре в одном из флигелей этого задания, и исполнил данное мне поручение.

Сомнение меня берет еще и относительно партийного положения студента Технологического института Эндаурова, которого я только мельком видел в критический момент его жизни [30]. А именно, я принимал участие в содействии к его побегу из-под ареста. Об этом побеге я ни в каких мемуарах не встречал даже упоминания. Считаю поэтому необходимым сообщить сохранившиеся у меня в памяти обстоятельства этого удачного побега.

Это было в первую зиму моего пребывания в Петербурге, т. е. в 1874—1875 году. Кто-то из членов кружка меня известил, чтобы я на другой день к определеному часу прибыл на вокзал Николаевской железной дороги, чтобы пополнить толпу якобы ожидающей поезда публики, которая должна была оттеснить жандармов от сопровождаемого ими Эндаурова, арестованного в Ярославской губернии. Мое участие особенно было интересно в виду того, что у меня имелась огромная отцовская енотовая шуба, которая придаст более солидности этой толпе. Предполагалось собрать до 15—20 участников этой искусственно созданной толпы. Два члена нашего кружка — величественный по росту и солидности Ал. Ал. Криль и более мелкий, смуглолицый А. Ф. Таксис, — изображая кутящих московских купчиков, за час до прибытия поезда, наняв на Невском лихача, разъезжали по трактирам и ресторанам, высылая лихачу водку и коньяк из этих заведений и громко разговаривая во время езды так, чтобы разговор этот слышал лихач; они говорили, что ждут с поездом приезда из Москвы приятеля, с которым прямо с вокзала поедут кутить «на Острова». Ко времени прихода этого поезда они подъехали к выходу из вокзала, который в то время был в правом дворе, где затем позже принималась и сдавалась почта. Криль остался в санках, а Таксис пошел на перрон, чтобы указывать беглецу путь к санкам лихача. Наконец, младший Семяновский, Александр, выехал Эндаурову навстречу, до Любани, где сел в поезд и разыскал вагон третьего класса, в котором сидел Эндауров между двумя жандармами. Он сумел сунуть Эндаурову незаметно записку, в которой последнему рекомендовалось при выходе с поезда направить свои шаги на толпу знакомых ему приятелей, которые будут стараться оттеснить его от жандармов, затем спешить поскорее к выходу вслед за Таксисом, который доведет его до Криля, ожидающего его у подъезда в санках на лихаче. Дело разыгралось как по расписанию. Эндауров вышел из вагона между двумя жандармами; задний

сказал переднему: «Поспеши вперед, захватить извозчика»; Эндауров, приблизившись к нашей толпе, стал спускать с плеч накинутую на нем шубу; жандарм, желая услужить арестованному «барину», нагнулся поддержать падающую на пол шубу, и в этот момент Эндауров юркнул в толпу, тотчас же замкнувшуюся за ним. Пока жандарм с шубой в руках продирался между нами, Эндауров успел добежать до крыльца, сесть в санки Криля и ускакать на Невский. Все участники заговора немедленно рассеялись, а я нарочно остался в вокзале на лишнюю минуту, чтобы посмотреть, что будет дальше. Скоро я увидел, что по лестнице со второго этажа, очевидно, где помещалась жандармерия, перескакивая через две-три ступеньки, поспешно сбегал жандарм в меховой шапке вместо военной фуражки, натягивая сверх своего мундира штатское пальто, из-под которого высовывались его солдатские сапоги со шпорами; а позади его поспешал другой жандарм, с побледневшим лицом, виновник, очевидно, упуска арестанта; он нашептывал переднему на ухо: «Душечка, миленький, пожалуйста...», очевидно, прося переднего уловить беглеца. Побег, значит, блестяще удался. Мне больше Эндаурова не приходилось встречать; но знаю, что ему удалось ликвидировать свои счета с жандармерией и затем окончить специальное образование, так как впоследствии, лет через 30 и более, я слыхал, что он служил в качестве инженера на Брянских заводах Мальцева, в Орловской губернии.

Кроме перечисленных членов кружка, в его делах принимали более или менее активное участие и лица, формально к его членам не принадлежавшие. Это были большею частью молодые девушки и женщины из круга так называвшихся феминисток, но по своим взглядам и по поведению шедших значительно далее дам-патронесс, стоявших в то время во главе женского движения в России: Стасовой, Трубниковой, Черкасовой, а также Цебриковой, Философовой и др. Эти последние, как инициаторши и поборницы русского женского движения 60-х годов, широко популярные не только у нас, но и за пределами России, стремились лишь к расширению прав женщин привилегированных классов на высшее образование наравне с мужчинами и на неограниченное их право применения своего труда во всех сферах интеллигентской деятельности, до академиков и министров включительно. Их последовательницы, занимавшие под кличкою «курсисток» аудитории, отвоеванные первыми деятельницами, по своим программам и симпатиям шли гораздо дальше, имея целью защиту прав всех обиженных, угнетенных и бесправных, без различия пола, состояния и общественного положения. Не

входя формально в состав тогдашних революционных кружков, но рискуя часто своею судьбой не менее действительных их членов, они содействовали работам революционных кружков, снабжая их безопасными адресами, предоставляя свои квартиры для конспиративных свиданий и собраний, укрывая у себя склады запрещенных изданий и т. д.

Такие сочувствующие и пособницы существовали у нас в довольно большом числе как в Петербурге, так и в Москве. В памяти моей сохранились немногие из них, да и относительно некоторых из тех, кого я могу вспомнить, я не могу теперь вполне ручаться относительно степени их близости к нашему кружку.

Во главе этих сочувствующих прежде всего вспоминаю Брайкевич Надежду Михайловну, дочь просвещенного земца, председателя Одесской земской управы. Она была медичка, окончила курс в составе первых выпусков женщин-врачей, вышла замуж за Александра Семяновского, впоследствии успешно работала на врачебном поприще в Одессе, а также, если не ошибаюсь, в Нижнем-Новгороде.

Затем помню двух сестер Кальченко. Дочери состоятельного капиталиста, державшего в аренде крупное имение полтавского помещика и бывшего откупщика Абазы, в 20 верстах от Полтавы, при с. Елизаветинском или Абазовке, они, будучи «распропагандированы», как тогда говорилось, членом нашего кружка Ильиным, отклонились влево от семейных традиций, тогда как оба их брата успешно подвизались по службе офицерами царской армии. Старшая из них вышла замуж за старшего брата Ильина и еще до знакомства со мною овдовела. Сын последней, молодой ученый историк, выдвинулся первыми своими работами по истории доцарской Руси и, к сожалению, рано умер, отравившись блюдом раков в самом фешенебельном ресторане «Медведь» в Петербурге.

Вращались среди членов нашего кружка еще много других «курсисток», участие которых в наших делах для меня теперь неясно, в том числе сестры Корниловы [81], Армфельд [82], Фани Личкус [83] и ее сестры, затем какая-то энергичная южанка, чуть не пешком добравшаяся до Петербурга, по фамилии в роде Гаркушенко (?), и другая, впоследствии, лет через 30 и более, содержавшая под фамилией Соловейчик магазин книг и детских игрушек в Самаре, дочь которой причастна была к революционому движению первого десятилетия XX века.

В Москве наша группа также находила немало сочувствующих нам сотрудниц. Часто наезжая в то время в Москву, я ка-

ждый раз заходил к нашему московскому члену А. С. Бутурлину на Пречистенку, а иногда и оставался у него ночевать, и почти всегда встречал у него заходивших к нему по конспиративным делам озабоченных «барышень». Их усердие в чужих революционных делах не всегда оставалось безнаказанным. Однажды на моих глазах жестоко пострадала такая сотрудница за избыток своей услужливости. На этот раз в относительно обширной московской квартире Бутурлина скопилось как-то особенно много «ночлежников». В дополнение ко всем, в десятом или одиннадцатом часу с вечерним поездом приехал из Петербурга и Лев Савельевич Гинзбург, по обыкновению останавливавшийся у Бутурлина. Сконфуженная Елизавета Михайловна, жена Бутурлина, вдруг объявляет, что у них в доме нехватает подушки для вновь прибывшего. Тогда случайно присутствовавшая молодая сотрудница заявляет, что в немногих шагах оттуда, в Мертвом переулке, у знакомых ее курсисток, наверно, имеется свободная подушка, и она готова дать записку, по которой они на одну ночь отпустят подушку. Гинзбург, всегда отличавшийся некоторою леностью в делах, требовавших физического напряжения, не пожелал итти за подушкой: «Переночую и так, — говорил он, — не стоит ночью таскать подушку по улице». «Барышня» тем не менее держалась другого мнения и, уходя, обещала через несколько минут позвонить с улицы и передать подушку, за которой зайдет к своим товаркам. Несмотря на это обещание, она, однако, так и не вернулась и подушки не доставила; Гинзбургу пришлось спать без комфорта, а на другой день мы узнали, что злополучная барышня напоролась у знакомых курсисток на жандармский обыск, была, конечно, арестована и, вероятно, еще усугубила свое положение неумелыми объяснениями цели своего ночного визита, так как правдивым объяснением этой цели она навела бы жандармов на квартиру Бутурлина с целой шайкой неблагонамеренных «ночлежников».

Надо заметить, что член нашего кружка Л. С. Гинзбург был особенно счастлив в своих случайных столкновениях с жандармскими властями. Об одной из этих удач, а именно об аресте его во Владимирской губернии с брошюрой Ткачева в кармане, я уже говорил. Удачный отказ его от экспедиции за подушкой представляет второй случай этого благополучия. Расскажу здесь о третьем случае, происшедшем почти на моих глазах в первый год моего пребывания в Петербурге.

Когда я вернулся в Петербург из моей неудачной парижской поездки, то я уже не застал Гинзбурга на прежней квартире

на Фурштадтской улице. В видах экономии он присоединился к небольшой коммуне из пяти-шести душ, снявшей в аренду небольшую квартирку по Преображенской улице в ближайшем соседстве с моей комнаткой на Малой Итальянской (ныне Жуковской). Преображенская улица, ныне окаймленная многоэтажными каменными громадами, заключавшими в себе целые многолюдные учреждения в роде Судебной палаты, правления Владикавказской, кажется, железной дороги, в то время представляла собою улицу какого-нибудь провинциального городка с деревянными одноэтажными домиками в три-пять окон на улицу. В одном из таких запущенных старgreненьких домиков, приговоренных экономическими условиями столичной жизни к сломке, группа наших членов, куда входили супруги Варзар, затем Гинзбург, Ильин и еще, кажется, двое из нашей же компании, сняли квартирку из трех-четырех небольших комнаток и совершили этим большую неосторожность, так как любой член коммуны, случайно или по неосмотрительности попавший в поле наблюдения тайной полиции, неизбежно вовлекал в это поле и всех своих сокоммунаров. Живя от них поблизости, я часто, даже чуть не ежедневно, посещал их и наблюдал своеобразный образ жизни нашей русской молодой богемы. Квартира их отличалась крайним неблагоустройством, почти вовсе лишена была мебели, кроме необходимых деревянных кроватей и нескольких столов и стульев базарной работы, была неприбрана, так как по скудости средств коммунары не держали прислуги, несмотря на ее тогдашнюю поразительную дешевизну, а из-за лености готовы были мириться с любой грязью. Когда я приходил к ним, то, сняв с себя меховое пальто, складывал его в небольшой сверток и клал на пол посреди комнаты, как наиболее чистое место в квартире. По отсутствию денег иной раз до вечера вся коммуна сидела голодною. Я, с моим пятидесятирублевым бюджетом на службе в «Знании», являлся для них недосягаемым аристократом. Придешь иной раз к ним, узнаешь, что они весь день сидят голодные, и дашь на всю братию 50 или 60 копеек. Тогда возникает среди коммунаров спор, кому итти в лавочку за провизией, пока который-либо из них, побуждаемый голодом, вдохновится демократическим швейцарским принципом «один за всех» и, натянув на ноги сапоги, а на плечи более приличное пальто из общего коммунистического склада, пойдет за макаронами, маслом, сыром и хлебом. Макароны немедленно варятся на керосинке, а иногда, от нетерпения и голода, в недоваренном состоянии быстро поглощаются из общей кастрюли, без излишних салфеток и скатертей, конечно, без отдельных тарелок

и даже, боюсь сказать,—но кажется, без ложек и вилок, упрощенным способом.

Однажды, придя к ним, я узнал, что ночью у них в общей квартире был обыск, и хотя обыску подлежал лишь один из сожителей, но жандармы проявили настолько много усердия, что обыскали всех. Напрасно Александра Григорьевна Варзар энергично отстаивала неприкосновенность недавно родившегося у них первенца сына, мирно спавшего в своей коляске. Жандармы оказались неумолимы, разбудили ребенка, перешарили его пеленки и заглянули под матрац.

V

Возвращаюсь к перечислению лиц, с которыми мне приходилось встречаться в период моего первого пребывания в Петербурге до отъезда в Бессарабию, о чем будет речь дальше.

В первое время массового революционного движения нашей радикальной молодежи особого антагонизма и взаимного отчуждения между отдельными кружками и партиями почти не замечалось. Я в своем месте сообщал, что номинальный глава самой многочисленной группы тогдашней радикальной молодежи Н. В. Чайковский доверил мне, только-что приехавшему с юга, весьма ответственное поручение. По возвращении в Петербург я, вероятно, Чайковского уже там не застал и не мог передать ему те треволнения, которые я пережил по причине этого поручения, в конце концов добросовестно исполненного. Чайковский к тому времени, кажется, уже уехал в Орел поучаться премудрости у Маликова, основателя ереси «богочеловечества», которая отвлекла Чайковского от научного социализма и толкнула на многолетнюю экспедицию в Северную Америку для устройства искусственной колонии в духе «маликовщины» [84].

Встречал я тогда и многих других «чайковцев», между прочим веселого юмориста, оживлявшего всякую беседу, Клеменца [85], ставшего вскоре затем на положение «нелегального» и проживавшего в Петербурге под кличкой «капитана Штурма». Противоположный тип вечно серьезного и сосредоточенного в своих мыслях юноши изображал собою студент Технологического института Николай Иванович Драго [86], вскоре уехавший на юг, в Одессу, где я не раз встречал его впоследствии в роли довольно крупного банковского деятеля. Вращался также в доступных мне кружках и любитель теоретических споров Каблиц [87]. Вскоре он должен был бежать от полицейских розысков за границу. Оттуда он вернулся во

всех отношениях преображенным: под новой фамилией Юзова, с фарфоровым глазом взамен собственного, отсутствовавшего, и с измененною идеологией, поставившей его чуть не во главу нашего теоретического «народничества». Резче всего в моей памяти сохранились от того времени яркие фигуры двух отставных артиллеристов, только-что перед тем вернувшихся из экспедиции «в народ» в качестве пильщиков — Рогачева и Кравчинского, ставшего затем известным в литературе под псевдонимом «Степняк»[88].

Кравчинский читал в нашем кружке свою сказку «Мудрица Наумовна», которую мы очень одобрили и переслали в Лондон для напечатания в типографии журнала «Вперед!». Говорили затем, что будто бы И. С. Тургенев не особенно благосклонно отозвался о «Мудрице Наумовне», найдя неудачной подделку автора под народный говор или под язык народных былин[89]. Может быть, и справедливы упреки в искусственности допущенного Кравчинским олицетворения Маркса и его учения в фигурах мудреца Наума и его дочери Мудрицы Наумовны, а книги «Капитал» и печатные в ней буквы—в образах дерева и листьев, с него падавших. Но что касается стиля сказки, то, не смея спорить с таким авторитетом в литературной критике, как Тургенев, я все же могу сказать, что мне лично это произведение социалистической литературы понравилось именно своею внешнею формой, своим стилем, и настолько сильно, что даже по прошествии более 50 лет мне остались памятны первые строки этой сказки:

То не ветер воет во дубравушке,
То не дождь мочит зелену траву,
То стонет русский народ от злых ворогов,
То льет он слезы свои горькие...

Удалось мне также завести некоторые знакомства и связи в среде либеральных писателей.

Попытка войти в среду сотрудников «Отечественных Записок» через посредничество Григория Захаровича Елесеева, правда, не удалась. Вспомнив встречу с Елесеевыми в Цюрихе, описанную мною в предыдущей главе этих записок, и опираясь на любезно выраженное женою Елесеева приглашение посетить их в Петербурге, я как-то в свободный час отправился к ним на их квартиру, кажется, в доме Краевского, на углу Литейной и бывшей Бассейной улицы. Или я явился к ним не в добрый час, или же произвел неблагоприятное почему-либо впечатление на Григория Захаровича, но во всяком

случае из этого посещения ничего не вышло, и несколько рецензий, помещенных мною в это время в «Отечественных Записках», попали туда, кажется, по милости не Елисеева, а Николая Константиновича Михайловского

С ним, а также со многими другими интересными деятелями того времени я преимущественно знакомился на устраивавшихся в тот год в Петербурге частных собраниях, получивших шуточное название «трезвых философов»[90]. Они устраивались в довольно просторной квартире в отдаленной части города, в Коломне, занятой двумя молодыми деятелями железнодорожного управления, членом нашего кружка Александром Александровичем Крилем и Николаем Федоровичем Анненским, женатыми на родных сестрах Ткачева — Татьяне Никитичне и Александре Никитичне. Свое название эти вечера получили, вероятно, благодаря тому, что по скромности средств хозяев этого помещения гостей ожидало там скромное, «трезвое», без вина, угощение чаем и бутербродами. Из лиц, посещавших эти вечера, я теперь могу только припомнить Н. К. Михайловского, Владимира Викторовича Лесевича, и присяжного поверенного А. А. Ольхина[91], который в промежуточные недели устраивал у себя на квартире другие собрания, получившие кличку «пьяных философов» и, очевидно, сопровождавшихся некоторою выпивкою[92]. На этих последних собраниях у Ольхина я не был ни разу.

У «трезвых философов» я, вероятно, познакомился и с молодым литератором, многообещавшим в будущем, Ярошенком, который мне очень пришелся по душе. И как я был душевно огорчен, когда этот юноша-нигилист, увлекшись громкими фразами, сопровождавшими тогдашнее сербское движение, отправился в стан генерала Черняева, этого своеобразного на русский манер конквистадора, и его сателлитов—мракобеса Комарова и шарлатана Монтеверде, пошел с чистою душою и погиб, кажется, под Дунишем[93].

Приемная в редакции журнала «Знание» была также довольно широким поприщем для моего знакомства с тогдашним ученым и литературным миром. Оба редактора журнала, как я уже говорил, очень часто отсутствовали из Петербурга и оставляли меня одного ведать всеми делами издания. Я подозревал даже, что издатели умышленно уезжали из Петербурга в периоды своего безденежья, оставляя меня объясняться с неудовлетворенными сотрудниками, что представляло для меня мало удовольствия. Однажды в редакцию явился известный франко-русский философ-позитивист, сотрудник Литре и Вырубова,

Евгений Валентинович де-Роберти; он появился в каком-то оригинальном спортивном костюме с крагами и, кажется, со шпорами на ногах и с хлыстом в руках; я подумал было, не собирался ли он расправиться, по примеру Рошфора, с неисправными издателями по-свойски. Его возмущение показалось мне странным, так как дело шло о немногих десятках рублей, суммы, совершенно незначительной для помещика Тверской губернии. Гораздо более заслуживали, на мой взгляд, жалобы Вакуловского, маленького серого человечка, поставщика добросовестно, но бездарно написанных библиографических статей и рецензий, или же мало даровитого поэта Д. Л. Михаловского, помещавшего в ученом журнале переводы с английских статей, не имевших никакого отношения к поэзии. Оба последних имели вид действительно нуждающихся.

С Михаловским, впрочем, у меня оказалась случайная встреча, обрисовавшая его неожиданно совершенно в другом свете. Проездом по делам кружка в Полтаве я очутился там в разгар так называвшейся «Ильинской» ярмарки и встретил в ярмарочных рядах этого самого поэта Михаловского с портфелем под мышкой и в форменной фуражке министерства финансов. На мой вопрос, как он очутился на ярмарке, он ответил, что находится в командировке от министерства на все время ярмарки. По ассоциации петербургского моего представления о нем, как о вечно нуждающемся, я заметил, что такая командировка не представляет ему особых выгод в виду страшной дороговизны жизни на ярмарке и незначительных «суточных», получаемых чиновниками на казенной службе.

— Не скажите,—ответил он мне:—суточные действительно не особенно высоки у нас, но я значительно выгадываю на прогонах, так как по чину (или по классу должности, — не помню) я получаю этих прогонов на 12 лошадей. Наше министерство, очень прогрессивное в деле изыскания новых источников обложения, напротив, очень консервативно в сохранении выгодных для высших сфер пережитков старины. Штаты наши датируют еще от времен Екатерины. Тогда генерал ведь не мыслился иначе, как едущим в дормезе шестериком; у генерала должен был обязательно быть секретарь или адъютант, для которого необходима в путешествии коляска четвериком, да кроме того при генерале должны состоять свои «люди», не меньше двух: камердинер и повар, и под них и под объемистый багаж генерала необходима еще пара лошадей; все это и составит 12 лошадей. Я еду по железной дороге, во втором классе,

затрачивая в оба пути 36 рублей, а получаю на проезд туда и назад более 800 рублей.

В редакцию «Знание» заходили еще некоторые второстепенные представители тогдашней литературы, а также молодые люди, барышни и «дамы из общества» с просьбами о переводной работе, но я не помню теперь никого из них, кто бы заслуживал здесь быть отмеченным.

VI

Перехожу к описанию личной своей деятельности в качестве члена петербургского кружка лавровцев.

Когда я приехал в Петербург, увлечение «хождением в народ» в переряженном виде рабочих с целью революционной пропаганды не было еще изжито. Большую сенсацию произвел поход на фабрики Московского округа группы цюрихских «барышень», отозванных правительством из Цюриха на родину [94]. Надев на голову мещанские платочки и, по словам поэта Боровиковского, «сняв преступно башмаки», они храбро двинулись в бой за свои идеи, были все немедленно переловлены и безжалостно подвергнуты жестоким карам за свое юношеское увлечение. Члены нашего кружка к этой форме пропаганды относились более или менее холодно, если и не вполне отрицательно. Впрочем, я уже отметил, что два члена нашего кружка, Варзар и Таксис, предпринимали опыт такого «хождения» в Донскую область в год моего приезда в Петербург и вскоре вернулись из этой экспедиции вполне разочарованными. Сочувствием пользовалась у нас пропаганда без всяких переодеваний и театральности в артелях петербургских рабочих. Среди них выявлялись в то время два главных типа — «фабричных» и «заводских» рабочих. Первые, происходя в огромном большинстве из крестьян ближайших к Петербургу и Москве губерний и работая в городе временно, оставляли свои семьи дома, в деревне, сохраняли свое «мужицкое» хозяйство, не порывали связей с деревней и обыкновенно возвращались даже периодически домой на время летних полевых работ. В большинстве случаев они были безграмотны, невежественны, полны диких предрассудков и очень туго поддавались не только революционной пропаганде, но даже самому элементарному культурному воздействию. Заводские рабочие, напротив того, в значительном числе хотя и состояли из крестьян по официальному паспорту, но в действительности совершенно уже порвали все свои связи с деревней, потеряли свои права на земельный надел и перевели в город

свои семьи, а следовательно, фактически перешли в класс настоящих пролетариев. Их классовое самосознание было уже значительно приподнято; большинство их было грамотно, и их ум и сердце охотно откликались на речи пропагандистов. Большинство членов нашего кружка делали опыты пропаганды среди этих рабочих, навещали их в их артельных квартирах и снабжали их ходкой в то время радикальной и социалистической литературой. Я тоже пробовал ходить в рабочие артели, но не скажу, чтобы я сам был доволен моими выступлениями в этой области, хотя, впрочем, приобрел среди уже более или менее распропагандированных рабочих двух или трех лиц, с которыми состоял в довольно дружеских отношениях. К сожалению, у меня в памяти их фамилии не сохранились. По некоторым признакам мне кажется, что один из них был знаменитый впоследствии устроитель взрыва в Зимнем дворце Ст. Халтурин [95]. С другим, не столько в знак дружбы, сколько в доказательство моего душевного расположения, я обменялся карманными серебряными часами. В каком-то спортивном состязании этот рабочий выиграл серебряные часы, на крышке которых был грубо намалеван царский портрет (Александра II). Этими часами он был очень недоволен; во-первых, они были как показатель времени очень ненадежны и часто требовали ремонта, во-вторых, украшение часов стесняло его в пользовании ими в присутствии посторонних; он затруднялся вынуть их из кармана при свидетелях, чтобы не показаться или смешным, или подозрительчым. Я почему-то воспылал вдруг желанием вызволить его из затруднительного положения и предложил ему поменяться со мною часами, на что он с радостью согласился, хотя и мои часы, сохранившиеся от времен студенчества, тоже были не ахти какого качества. После этого обмена я сам стал терпеть те же затруднения, о которых говорил рабочий, пока, года через полтора или два, будучи в Чернигове по делам кружка, я от Александры Григорьевны Варзар получил в подарок ее маленькие дамские серебряные часики, очень исправно прослужившие мне двадцать два года, пока я не потерял их случайно, сунув, вероятно, по рассеянности, едучи на извозчике, мимо жилетного кармана.

В кружке я слыл специалистом по части политической экономии и, конечно, не без некоторого основания. Помимо курса политической экономии, прослушанного мною в университете, я еще штудировал эту отрасль знания с сопредельными с нею дисциплинами в течение целого года в Цюрихе и, наконец, обладал богатой экономической библиотекой, перевезенной частью

контрабандой из-за границы. Кружок предложил мне поэтому попробовать чтение лекций по политэкономии петербургским рабочим из более развитых, и я прочитал им две лекции о теории ценности по «Капиталу» Карла Маркса. Своими выступлениями я не остался доволен; мне казалось, что слушатели недостаточно усвоили сказанное мною и вообще не заинтересовались предметом. И этот результат я не мог отнести к вине слушателей, так как 10—12 душ, привлеченных на эти лекции, принадлежали к наиболее развитым и солидным петербургским рабочим того времени. Пришлось вину эту принять лично на себя. Как в эти разы, так и в других случаях, когда мне приходилось выступать, например, в защитительных речах по уголовным делам в судах, я почти всегда замечал, что речи эти не производили на слушателей того впечатления, которого я считал себя вправе ожидать по их солидному содержанию. Великий немецкий писатель Гёте, нападая на бессодержательных и пустозвонных краснобаев и болтунов, тем не менее обаятельно действующих на толпу, сказал:

...«wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein»

В противовес этому меткому изречению я прилагал к себе совершенно противоположное умозаключение: на основании долголетнего самонаблюдения я признал, что у меня, наоборот, «понятия» были налицо, а недостаток был только в «словах», которые именно «в надлежащий момент» и не подвертывались на мой неповоротливый язык. Вероятно, под влиянием этих размышлений я отказался на будущее время от чтения неудачных лекций и задумал приняться за написание, а затем, может быть, и за издание бесцензурного элементарного и популярного курса политической экономии. Задумал я этот курс по совершенно оригинальному плану, и очень сожалею, что мне не удалось его осуществить по не зависящим от меня роковым обстоятельствам.

Чтобы оставить хоть какой-нибудь след той моей работы, которой я посвящал все досуги в течение 4—5 лет, я постараюсь изложить здесь вкратце ее план.

Объяснив вкратце различие между «индивидуальным» хозяйством отдельного человека или семьи и хозяйством «общественным» в целом племени, роде, государстве, я предполагал изобразить ряд последовательных типов общественного хозяйства или экономического строя, созданных людьми в отдельные

периоды мировой человеческой жизни и в разных странах земного шара, приблизительно в таком порядке, насколько я могу изложить это теперь, по прошествии 55 лет: 1) Хозяйство человека каменного века, насколько оно выявилось в раскопках могильников и в остатках «свайных» построек. 2) Хозяйственный строй народов первобытной культуры по описаниям Леббока, Тейлора и других позднейших наблюдателей, в том числе и по производившим в то время сенсацию описаниям жизни людоедов Тихого океана, среди которых жил русский отважный путешественник Миклуха-Маклай. 3) Быт пастушеских и охотничьих племен, коих много осталось еще в России до нашего времени. 4) Хозяйства, основанные на рабском труде, в древнейших восточных цивилизациях Египта, Персии и т. д., а также в более поздних, блестящих по внешности, цивилизациях Греции и Рима. 5) Хозяйства крепостнические, как они вылились в Средние века в Западной Европе под влиянием феодальной системы в сельском быту и цехового строя в городах. 6) Переходная форма между крепостным и рабским хозяйствами, как она исторически выработалась у нас в России до 19 февраля 1861 года. 7) Наконец, выработавшаяся первоначально в Англии и постепенно распространяющаяся по всем странам света форма общественно-экономического строя, основанного на вольном, «свободном» труде пролетария, «освобожденного» от владения землею и другими орудиями, т. е. так называемая «капиталистическая» форма. 8) В заключение предполагалось в кратких словах изложить главнейшие принципы социальных систем, проектированных великими утопистами древних времен, Средних веков и новейшего времени—Платоном, Кампанеллой, Томасом Мором, Фурье, Кабе, Оуэном и др.

Только после такого содержательного предисловия я полагал возможным приступить к популярному изложению основных экономических понятий: труд, капитал, товар, мена, внутренняя и внешняя торговля, деньги, кредит, транспорт и пр.

Отдельные очерки этого обширного труда, отчасти в беглых набросках, отчасти в сырых брульонах, требовавших еще сглаживания, а, может быть, и дополнения, были мною постепенно заготовляемы, а во время моих иногда довольно продолжительных отлучек из Петербурга бережно хранились моими приятелями вместе с моей библиотекой и все-таки погибли при обыске моей квартиры в Петербурге, как это будет описано в надлежащем месте.

Главным, однако, предметом моих занятий по петербургскому кружку в этот период были, как я теперь вспоминаю, мои

частые разъезды из Петербурга по делам кружка, преимущественно для развозки в местные революционные кружки изданий «Вперед!», для сбора на это издание денег, поступавших, впрочем, очень туго и в самых ничтожных количествах, и для заказа и получения статей и корреспонденций, предназначенных к напечатанию в этом издании. Так сложились обстоятельства, что эту хлопотливую функцию удобнее всего было исполнять именно мне. Я по званию «отставного чиновника» обладал бессрочным письменным видом, между тем как другие члены кружка, в большинстве в то время еще студенты, имели на руках лишь студенческие матрикулы, которые вне Петербурга могли создать для них нежелательные затруднения, как это и оказывалось в описанных мною случаях с моим братом в Волочиске и с Л. С. Гинзбургом на железнодорожной станции во Владимирской губернии. Затем я занимал место секретаря редакции журнала «Знание», предоставлявшее мне возможность отлучаться из Петербурга на несколько дней в любое время, кроме двух-трех дней перед выпуском каждого очередного номера журнала, между тем как остальные члены кружка были менее свободны в распоряжении своим временем. Наконец, среди большинства материально нуждавшихся студентов я со своим пятидесятирублевым ежемесячным доходом считался богачом и мог выполнять поручения кружка, сопряженные с выездами, не обременяя его оплатой моих дорожных расходов, кроме, конечно, стоимости железнодорожных билетов и тому подобных расходов, связанных непосредственно с выполнением поручения.

Вот почему уже через два-три месяца по моем водворении в Петербурге, в самом начале весны меня просили съездить на одну из недалеких от прусской границы железнодорожных станций в пределах Виленской или Ковенской губернии (название станции я забыл) и, получив там от контрабандистов-евреев транспорт изданий «Вперед!», переправленный ими через границу, сдать его на железную дорогу для доставки в Петербург. Помню, как рано утром в восхитительный весенний ясный день я вышел из вагона на перрон уединенно от жилых строений расположенной, почти пустынной станции. Так как до отхода следующего встречного поезда мне пришлось ожидать около двух часов, то, не желая мозолить глаза станционной публике своим обликом, я непосредственно с перрона, не заходя в здание вокзала, вышел прямо в поле и направился в расположенный близ станции прелестный буковый или липовый лес. Здесь, улегшись на молодой травке, я пролежал около двух часов, наслаждаясь ароматами, исходившими от только-что распускавшейся весен-

ней зелени. Услышав глухо раздавшийся гул поезда, медленно приближавшегося к станции, я быстро возвратился на эту станцию, принял от контрабандистов доставленный ими груз (в двух или трех сундучках и чемоданчиках) и сдал их большою скоростью в Петербург «на предъявителя» под видом «домашних вещей» какого-то жившего в окрестностях польского магната.

Через два-три месяца мне вновь предстояла поездка по делам кружка в города по Курской дороге в связи с посещением Гольдсмита в Бронницком уезде, уже мною описанным и прерванным катастрофою с моею ногою. Когда я лежал затем уже в Петербурге в своей комнате с забинтованной ногой, в Петербург по Варшавской дороге прибыл следующий транспорт с изданиями «Вперед!». Решено было распаковку клади произвести на моей квартире, где, кроме меня, жил только больной хозяин-табетик со старой немкой, его нянькой, не выходившей из спальни и кухни, и где двор тоже выделялся пустынностью. За получением груза на Варшавский вокзал отправились, сколько помнится, В. Е. Варзар и А. Ф. Таксис. Квитанцию должен был предъявить один из них, а другой, под видом постороннего праздношатающегося, должен был наблюдать, и если первый был бы арестован или взят под наблюдение, то второй должен был немедленно принять меры к спасению товарища и к локализации провала.

Благополучно водворив прибывший груз в моей небольшой комнатке, наполнившая ее группа наших членов с нетерпением стала распаковывать ожидаемые лондонские «новинки». Каковы же оказались ужас и разочарование окружающих, когда в распакованных тюках найдены не книги, а разный мусор: тряпки, кирпичи, поленья дров и т. п. Очевидно, железнодорожные воры, пронюхав, что в тюках пересылается контрабанда, и рассчитывая поживиться ценным товаром, в роде кружев, шелка и т. п., заменили украденные тюки приготовленными новыми, того же вида и веса, не боясь при этом преследования, так как действительные владельцы тюков не могли объявить себя их собственниками. Много труда и забот стоило мне, в то время безногому калеке, очистить свою комнату от этого вонючего хлама и по частям разбросать его на пустырях, коих в то время оставалось еще кое-какие остатки в окрестных кварталах.

Вскоре до нас дошли слухи, что в Вильно листки журнала «Вперед!» гуляют по базару в качестве оберток для селедок, соленых огурцов и т. п. Гинзбург немедленно выехал в Вильно, чтобы предпринять попытку скупить оставшиеся не уничтоженными экземпляры «Вперед!», но эта операция ему не удалась.

В том же году, а также и в следующем, я не менее двух раз еще ездил по делам кружка в Москву, где чаще останавливался у Бутурлина, а не у своей родственницы в Гороховском переулке. По пути каждый раз заезжал в Тверь или Корчеву, к Рихтеру. Вместе с ним сделал однажды из Корчевы экскурсию в село Кимры, на Волге, в центр сапожной кустарной промышленности. Я тогда собирался написать, вероятно, для журнала «Знание», статью о кимрской сапожной промышленности, но намерение это не осуществилось. Очевидно, наблюдений в течение одного дня и одной ночи было слишком мало для накопления достаточного материала, чтобы написать серьезную экономическую статью, а не легкую фельетонную болтовню «по поводу» серьезного предмета; для этого я никогда не имел ни склонности, ни способностей.

Об «единой» ночи, посвященной наблюдениям в Кимрах, я упоминаю потому, что еженедельные кимрские базары, на которых кимрские скупщики производили свои операции по обработке нищих сапожников-кустарей, обыкновенно заканчивались к восходу солнца.

В это же время летом мне пришлось съездить в некоторые южные города, в том числе в Полтаву; где состоялась выше описанная моя встреча с поэтом Михаловским в неподходящей для поэта роли ревнителя казенных интересов на ярмарке В Полтаве же я застал и деятельного члена нашего петербургского кружка В. М. Ильина, которого и посетил в доме его матери на Новом базаре. Он меня ввел в местные кружки, из которых с некоторыми я поддерживал и дальнейшие связи и знакомство, вследствие чего эти знакомства и сохранились в моей памяти. Это, между прочим, были сестры Кальченко, о которых я уже упоминал раньше и к которым я тогда даже удосужился съездить с Ильиным за 20 килом. от города в арендуемое их отцом имение Абазовку. Другое семейство, с которым меня познакомил Ильин, были Марковичи. Главою семьи в то время была вдова лесного ревизора, умершего на службе в Вологде. Родом испанка, она вполне обрусела и чисто говорила по-русски. Получив по службе мужа ничтожную пенсию, она не могла, конечно, содержать на нее и воспитывать многочисленную свою семью из четырех дочерей и двух сыновей. Эта мужественная женщина добыла себе место «музыкальной дамы» в Полтавском институте благородных девиц, сопряженное с получением казенной квартиры в полуподвальном этаже в институтском флигеле, в огромном саду-парке, почему-то называвшемся «Садоводством»; квартира эта из нескольких сухих, светлых и гигиеничных ком-

нат была достаточна для помещения ее многолюдной семьи. Дочери ее все получили образование в полтавской женской гимназии, и две младшие из них в год моего знакомства еще оканчивали последние классы гимназии. Из сыновей ее, старший, Дмитрий Васильевич, служил впоследствии по судебному ведомству в должностях следователя и помощника прокурора в Бессарабии, в Херсоне и Царстве Польском. Он был талантливый беллетрист. Один его рассказ на русском языке — «Иван из Буджака» (название местности в южной части Бессарабии) напечатан был в некрасовских «Отечественных Записках» и благосклонно принят критикой. Остальные его беллетристические труды написаны были по-украински и, сколько помню, тоже пользовались большим успехом. Младший сын, Василий Васильевич Маркович, окончил Александрийский институт сельского хозяйства в Пулавах, известен своими трудами по горной флоре Кавказа и долгое время состоял директором известного ботанического сада в Сухуме, в Черноморье. В последнее время он в течение более трех лет был в командировке в Индии, Яве, Японии и Китае, между прочим для изучения культур местных субтропических промышленных растений, пригодных для акклиматизации в южных областях Советской страны. Младшая из четырех сестер, Елизавета Васильевна Маркович, вышла замуж за полтавского революционного деятеля Александра Мефодьевича Калюжного. Последний, в несовершеннолетнем возрасте, был привлечен к одному из политических процессов того времени и сослан по суду на каторгу только на 4 года в виду его несовершеннолетия. По отбытии срока каторги он был отправлен на поселение в Томск, куда за ним отправилась жена с малолетней дочерью. По амнистии Калюжный переселился в Тифлис, где занял ответственное место в железнодорожном управлении и активно участвовал в революционных выступлениях транспортников в последние неспокойные годы (1904 — 1905 и 1916 — 1917) царствования последнего Романова. От Василия Васильевича Марковича, который по возвращении из Азии работает ныне (в 1929 году) по своей специальности в Ленинграде, я узнал, что А. М. Калюжный вышел в отставку и ныне живет на пенсии с женою в Тифлисе. Между прочим, В. В. Маркович сообщил мне, что лет 35 тому назад Максим Горький, проживая в Тифлисе, пользовался гостеприимством А. М. Калюжного; последний, обратив внимание на талантливость, с которою М. Горький рассказывал интересные эпизоды своих «университетских» годов, убеждал его заняться литературным трудом, предвидя в нем даровитого первоклассного писателя [96].

Познакомившись через посредство В. М. Ильина с семьей Марковичей в дни моего кратковременного проезда через Полтаву в 1874 или 1875 году, я через пять-шесть лет после того, будучи выслан в 1880 году в г. Полтаву административным порядком под надзор полиции, возобновил свое знакомство с этою семьей и состоял со всеми ее членами в самых дружеских отношениях, особенно с гуманной и просвещенной Антониной Васильевной Маркович, деятельно подвизавшейся до глубокой старости на педагогическом поприще в Полтаве, Херсоне и Одессе.

Какие еще города я посещал в это время и с кем там встречался, я теперь уже не припомню. Записей вообще я избегал, все сношения делались исключительно на словах.

VII

В начале 1875 года редакция журнала «Вперед!» внесла существенные изменения в порядок издания этого органа. Выпустив в свет три объемистых тома непериодических сборников, в 20 — 30 печатных листов каждый, она с 1 января 1875 года, кроме того, приступила к выпуску периодического двухнедельного журнала того же названия, в состав которого вошли два последних отдела прежних сборников: «Что делается на родине» и «Хроника рабочего движения», с присоединением к ним в каждом номере еще и обязательной передовой статьи, а иногда и небольших, под разными заглавиями, статеек агитационного характера. От толстых сборников редакция не отказалась, но решила помещать в них лишь более или менее крупные теоретические статьи и исследования и выпускать в свет изредка, по мере накопления в портфеле редакции соответственного материала, причем для очередного четвертого тома предназначено было помещение обширного исследования П. Л. Лаврова «Государственный элемент в будущем обществе».

Никак не могу припомнить, сколько ни напрягаю свою память, состоялось ли это изменение внешней формы издания «Вперед!» по взаимному соглашению лондонской редакции с петербургским кружком или самостоятельно; но если этот вопрос и обсуждался предварительно в Петербурге, то, повидимому, в мое отсутствие. Лично я считал эту реформу весьма целесообразной не только с точки зрения усиления влияния краткосрочного периодического печатного органа на мировоззрение читателей, но и с чисто практической стороны, так как развозка по городам и хранение как в центрах, так и на местах громоздких томов «Вперед!» представляли большие неудобства, осо-

бенно чувствительные для меня, как занимавшегося более других членов кружка развозкою журнала по провинциальным городам.

Это радикальное изменение в порядке выпуска журнала несомненно должно было вызывать необходимость реформы в способах доставления издания в пределы России. До сих пор главным путем проникновения в Россию этого журнала оставался устраиваемый под руководством и наблюдением Зунделевича контрабандный транспорт книг через прусскую границу в пределах, прилегающих к ст. Вержболово. Этот путь, вполне надежный вначале, был уже сильно скомпрометирован подменой тюков железнодорожными ворами в Вильно, о чем говорилось мною раньше. Такой факт, как появление на виленском базаре разрозненных листков запрещенного заграничного издания, не мог остаться незамеченным местными властями, которые несомненно употребляли меры к раскрытию по этим следам главного пути проникновения «запрещенного плода» в наше отечество; рано или поздно, но этот путь должен поэтому оказаться негодным, и для его замены надо было организовать новый и притом более правильный и постоянный, действующий на манер почты, чтобы листки периодического двухнедельного органа попадали в руки читателей номер за номером в более или менее последовательном порядке.

Остальные пути проникновения журнала в Россию были еще менее надежны. Отдельные номера довольно свободно проникали в Петербург через Финляндию, но в те времена дачная жизнь петербургской интеллигенции по линии Финляндской железной дороги была еще в своем зачатке, и труднее было найти «оказию» для пересылки книжки, чем принять меры ее охраны от таможенного наблюдения.

Еще реже мы пользовались дорого оплачивавшимися услугами служащих на английских пароходах, совершавших рейсы между Лондоном и Петербургом, а также услугами матросов и кочегаров на русских пароходах, совершавших регулярные рейсы между Одессой и Лондоном, в том числе, сколько помню, на пароходах «Чихачев» и «Корнилов» Русского общества пароходства и торговли («Ропит»).

Все эти пути были вообще мало надежны, часто проваливались и вообще были недостаточны для органа, стремившегося к приобретению значительного распространения в России.

Понятно поэтому, что в половине 1875 года в нашем кружке в Петербурге возникла мысль об устройстве нового контрабандного пути где-либо в ином пункте, помимо прусской границы,

между прочим, в Бессарабии, где вдали от надзора центра должны были существовать условия, более благоприятные для всякого рода обходных путей в целях нарушения закона.

Как раз в это время я стал убеждаться в непрочности моей службы в редакции «Знание», финансовые дела которой шли из рук вон плохо. И вот я выразил нашему кружку готовность выехать на продолжительное время из Петербурга в Бессарабию и попытаться организовать там новый, более надежный путь для проникновения нашего журнала в пределы отечества. Кстати, в Кишиневе состоял учителем словесности в высших классах женской гимназии мой двоюродный брат и большой мой приятель Сергей Николаевич Кулябка, живший там с семьею, состоявшей из отца, матери и трех сестер. Проживание в Кишиневе столь близких мне родственников облегчало мне обзаведение местными знакомствами, необходимыми для организации порученного дела. Кружок, конечно, с радостью принял мое предложение. Когда я сообщил Гольдсмиту о своем намерении оставить место секретаря редакции, то он признался мне, что это намерение отвечает и его желаниям, так как журнал «Знание» действительно вскоре прекращается. Гольдсмит предполагал заняться издательством переводных солидных научных сочинений западно-европейских ученых и уже имел в виду предложить мне перевод незадолго перед тем вышедшего в Германии сочинения берлинского профессора Дюринга «Курс политической экономии». Я принял это предложение, казавшееся мне блестящим, так как Гольдсмит назначил плату за перевод для того времени очень высокую, а именно 35 рублей за печатный лист, что давало мне возможность иметь в Кишиневе достаточный заработок и освободить таким образом петербургский кружок от расходов на мое личное содержание при исполнении его поручений. К сожалению, эти надежды на заработок не оправдались. За несколько месяцев моего пребывания в Кишиневе я перевел на русский язык всего лишь не более одной трети книги и, кроме того, несколько печатных листов ее уступил для перевода студенту Одесского университета Соломону Чудновскому, сидевшему в то время в тюрьме в Одессе[97]. Когда же я по возвращении в Петербург в декабре того же года представил Гольдсмиту оконченную треть работы, то последний отказался оплатить мне этот труд под предлогом, что издание этого курса на русском языке, как оказалось по справкам, не будет пропущено цензурой. В действительности же Гольдсмит отказался от предположенного проекта издательства, а вошел в редакцию вновь возникшего журнала «Слово», в котором пред-

ложил мне гарантированное сотрудничество взамен платы (рублей 300—400) за исполненную часть заказанного перевода. Вообще Гольдсмит настолько запутался в разных финансовых предприятиях, что вынужден был вскоре бежать из России за границу, где я потерял его из вида. Мой труд остался таким образом не вознагражденным, как и труд С. Чудновского, если он успел что-либо исполнить до ссылки его в Сибирь.

Так как пребывание в Кишиневе моего двоюродного брата Сергея Николаевича Кулябки было одним из мотивов, побудивших меня взяться за работу, связанную с Кишиневом, то прежде чем приступить к изложению своей кишиневской деятельности, я чувствую нравственную потребность посвятить несколько страниц этих записок воспоминаниям об этой светлой личности. К сожалению, мое перо не настолько талантливо, чтобы с достаточной яркостью обрисовать эту исключительную натуру, и мой очерк останется слишком бледным. Могу только сказать, что я в жизни не встречал другого лица, к которому более чем к Сергею Николаевичу пристало бы название «праведника». Идеалист самой чистой воды, он не был приспособлен к практической деятельности и потому всюду терпел неудачи и страдал за свою самоотверженность. Кристально честный, он не терпел лжи и неправды, не допускал их в своих личных поступках и бесстрашно обличал их в других. Бессребренник по натуре, он провел жизнь в непрестанном труде и до конца дней своих жил в тяжелой нужде. Постоянно живя в женском окружении, он пользовался исключительным влиянием на своих юных учениц в гимназии. Даже после смерти любимой сестры Лизы, добровольно делившей с ним ссылку и не покидавшей его в дни его тяжелой нужды, он не подумал о создании для себя семейного очага и уюта и умер девственником. В качестве преподавателя русской литературы в женских учебных заведениях он был последователем Белинского и Добролюбова, страстным поклонником народной поэзии Украины и горячим почитателем великого украинского поэта и народолюбца Тараса Григорьевича Шевченко. Он имел огромное моральное влияние на своих учениц, которые чуть не боготворили его и считали его истинным апостолом правды и справедливости. Года два-три перед тем, как я теперь пишу эти строки, я встретил глубокую старушку, бывшую в молодости его ученицей; она со слезами на глазах вспоминала о том благотворном влиянии, каким он пользовался в среде своих слушательниц; а когда я дал ей для прочтения одно из старых его писем ко мне, где он слал упреки в лицемерии и в «соглашательстве», как сказали бы теперь, по адресу провинциальной газеты, в ко-

торой я принимал участие, она воскликнула: «Как виден тут весь, как на ладони, благороднейший и честнейший Сергей Николаевич, этот рыцарь правды и гонитель всякого лицемерия».

Его отец, землевладелец среднего достатка Миргородского уезда Полтавской губернии, Николай Григорьевич (мой тёзка) Кулябка женился на Прасковии Ивановне Магденко, родной сестре моей матери, урожденной Анны Ивановны Магденко, благодаря чему, а вовсе не близкому сходству наших фамилий, я с Сергеем Николаевичем оказались двоюродными братьями. По материальным своим средствам отец Кулябки немногим был состоятельнее моего отца, но, к сожалению, кроме безалаберности в собственном своем сельском хозяйстве, отличался еще пороком, считающимся обычно добродетелью, а именно гостеприимством и хлебосольством и вообще большою склонностью к помпезности и показному барству. Благодаря этому к началу 60-х гг. прошлого века он окончательно разорился и, имея в составе семьи жену, трех сыновей и трех дочерей, буквально был выгнан на улицу из своего дома. Старший его сын, Сергей, блестяще окончив полтавскую гимназию с серебряной медалью, поступил в Киевский университет на историко-филологический факультет, где получали высшее образование его юношеские друзья и однокашники по гимназии: будущий публицист и украинский деятель Михаил Петрович Драгоманов и специалист-классик Феодосий Яковлевич Вороной.

Насколько легкомысленно относился отец Сергея Николаевича Кулябки к материальному своему положению, можно видеть из того, что чуть ли не накануне своего краха он сына своего Сережу отправил в университет в Киев, по примеру «великих панов» прежних времен, в сопровождении крепостного дядьки, подобно тому, как герой «Капитанской дочки», сержант Гринев, отправлялся родителями на военную службу в сопровождении верного дядьки Савельича. Я это обстоятельство хорошо помню; будучи моложе своего кузена на 4 — 5 лет, я был в то время гимназистом, также в Киеве и из гимназического пансиона хаживал иногда в отпуск к своему более взрослому кузену и видел барственную обстановку, в какой он жил по воле нежных родителей. Но вся эта обстановка и все надежды на блестящую ученую карьеру многообещавшего в будущем Сережи скоропалительно оборвались. Выброшенная на улицу семья не только не могла обеспечить средства для обучения старшего сына, но и сама нуждалась в нем, как в работнике-кормильце. Сергей Николаевич покинул университет и поступил учителем русского языка и русской словесности в высших классах ориги-

нального женского учебного заведения, содержавшегося женою известного в то время музыканта, Елизаветою Николаевною Блюмель; в 8 километрах от Гадяча, уездного города Полтавской губернии, она основала семиклассный женский пансион в селе Рымаревке, в арендованной ею обширной усадьбе местного помещика Н. Н. Войны. В этом пансионе дочери не только соседних, но даже очень отдаленно живущих землевладельцев, получали полное семиклассное гимназическое образование, причем как сами воспитанницы (до 150 душ), так и все учителя, учительницы и воспитательницы получали квартиры и все содержание при самом пансионе в Рымаревке. Вдова писателя и публициста П. О. Морозова, Анастасия Юрьевна, урожденная Ярошенко, упомянутая выше пожилая старушка, более чем через 50 лет вспоминала при мне юные годы своего учения в пансионе Блюмель и положительно утверждала, что Сергей Николаевич был замечательно хорошим преподавателем и неизменно пользовался самою сердечною любовью и признательностью своих учениц.

Упомянутый выше друг и товарищ Сергея Николаевича как по гимназии, так отчасти и по университету, но шедший на несколько классов впереди его, Феодосий Яковлевич Вороной как выдающийся классик сделал в этот период господства у нас притупляющего мозги классицизма очень быструю карьеру и к половине 70-х годов занял в Кишиневе место директора губернской классической гимназии, соединенное с заведыванием учебной частью в кишиневской женской гимназии. Получив место директора, Вороной немедленно поспешил на помощь другу и товарищу своей юности, знания и добросовестность которого хорошо были ему известны, и предоставил ему должность учителя русской литературы в высших классах местной женской гимназии, на правах «исполняющего должность учителя», так как Сергей Николаевич не имел университетского диплома. Как очевидец отношения учениц кишиневской гимназии к своему учителю, я могу засвидетельствовать, что Сергей Николаевич быстро приобрел среди своих юных кишиневских учениц большое нравственное влияние и что, следовательно, отступление от общего сухого правила допущено было Ф. Я. Вороным не только во имя товарищества, но и в интересах самой школы.

Переехав в Кишинев, Сергей Николаевич перевел туда и свою семью, исхлопотав для престарелого отца в одном из местных губернских учреждений должность архивариуса, не требовавшую специальной подготовки, и поместив младших сестер своих ученицами в той же гимназии. Вся семья, кроме двух

младших его братьев-близнецов, объединилась таким образом в Кишиневе.

Из них один, Николай Николаевич, занял место сельского учителя в образцовой школе, учрежденной в селе Плисках графиней Паниной, вышедшей замуж за черниговского либерального земца И. И. Петрункевича [98]. Талантливый педагог, Николай Николаевич вскоре приобрел такую репутацию, что его стали приглашать в руководители учительскими съездами, которые устраивали земства в разных городах южных губерний. Года за два до Февральской революции мне случилось при собирании материалов для железнодорожной экономической записки посетить на один день город Новомосковск, Екатеринославской губернии, где в то время 72-летний Н. Н. Кулябка был учителем городской начальной школы и пользовался большим почетом и репутацией опытного педагога. К сожалению, мой приезд совпал с вакационным временем, и мне не удалось встретиться с своим престарелым родственником, о котором я слышал лестные отзывы, но который в это время оказался в отсутствии из города.

Третий брат Сергея Николаевича, Григорий Николаевич, шокировал всю «дворянскую» родню свою, женившись в 60-х годах на дочери бывшего крепостного кучера своего разорившегося отца. Не кончив курса в гимназии, он не мог устроиться нигде по службе и занялся частной адвокатурой в новых, тогда только-что открывшихся, судебных учреждениях. Талантливый по натуре и остроумный, он, говорят, имел успех в уголовных защитах, приводя в смущение и трепет юных товарищей прокурора из правоведов своими едкими и ядовитыми репликами на бездарные их обвинительные речи. Во время моего пребывания в Кишиневе он тоже там появился в единственном числе, пристроив где-то в другом месте свою бедствовавшую многочисленную семью. В Кишиневе он тоже пробовал демонстрировать свои таланты в качестве уголовного защитника и, кажется, не без успеха в среде посетителей и посетительниц уголовных процессов. К сожалению, он на старости лет подвергся общей болезни, обычно свойственной многим русским самобытным талантам, и очень печально кончил свою жизненную карьеру в роли полицейского урядника в селе Засульи под городом Лубнами.

Благополучие семьи Сергея Николаевича в Кишиневе продолжалось недолго. Как раз в год моего приезда туда, т. е. в 1875 г., министерство народного просвещения, возглавляемое графом Д. А. Толстым и вдохновляемое М. Н. Катковым, придумало новую меру преграды нежелательному наплыву жажду-

щей знания молодежи в университеты. Граф Толстой разослал директорам гимназий секретный циркуляр, требовавший устройства особенно строгого в том году выпускного экзамена из гимназий, так, чтобы из восьмого класса было выпущено с аттестатами зрелости не более определенного процента учащихся, кажется, тридцать процентов или даже еще меньше, а остальные семьдесят и даже более процентов юной молодежи приносились в жертву своеобразной «классической системе» образования и были безжалостно пущены «в трубу». Вороной, будучи сведущим классиком, не был тем не менее слепым поклонником катковской «классической системы». В моем присутствии он возмущался бессмысленностью и жестокостью упомянутого циркуляра, достойного быть поставленным рядом с пресловутым «вифлеемским избиением младенцев» или с злодеяниями «компрачикосов», калечивших детей для людской забавы. Он дерзновенно ослушался предписания начальства и выпустил нормальное число окончивших гимназию по числу действительно выдержавших экзамен. Это «преступление» против служебной дисциплины было немедленно наказано: в тот же год директор Вороной «для пользы службы» из Кишинева с «губернской» гимназией был переведен в Бердянск с гимназией, не пользовавшейся привилегиями «губернских». В Бердянске Вороной тоже не ужился и по прошествии нескольких лет принял место директора «земской» гимназии, открытой Полтавским земством в Прилуках, невдалеке от места своей родины, где родители Вороного были простыми казаками-земледельцами.

Вновь назначенный вместо Вороного директор кишневской гимназии, верный «раб своего хозяина», сейчас же принялся творить волю пославшего и искоренять крамолу в своем ведомстве, причем в первую голову уволил из женской гимназии учителя Кулябку, не имевшего прав университетского образования, так что я, съездив в Петербург по окончании своего кишиневского поручения и вернувшись в декабре того же года в Одессу, застал там уволенного уже от службы Сергея Николаевича в поисках заработка.

Хотя Сергей Николаевич был достаточно широко образован в области русской и иностранной литературы и в истории, а отчасти и в философии, но склад его ума и его стремлений был такой, что его публицистические статьи, которые он скромно всегда называл «заметками», были сплошь нецензурны. Все в них было всегда выражено резко, прямолинейно, без экивоков, компромиссов и смягчений. И нецензурность его изложения заключалась вовсе не в словах и выражениях, которые редакторский

карандаш мог всегда смягчить и сгладить, а в постановке вопроса, в системе доводов, в вытекавших из статьи выводах, исключить или смягчить которые значило уничтожить весь смысл статьи. Я это могу положительно утверждать, так как, занимая некоторое время влиятельное положение в редакциях разных радикальных газет Киева, Харькова и Полтавы, я склонен был употребить все меры, чтобы пристроить в печать его писания и дать ему некоторый заработок; между тем ни мне, ни другим, ему сочувствовавшим, ни переделки, ни сокращения его статей не удавались, и редкая из них могла быть пристроена.

В конце 70-х годов сильно разгорелась ожесточенная борьба между слугами самодержавия и революционерами-террористами. Особенно беспощадно она проявлялась на юге и преимущественно в Одессе после назначения временным одесским генерал-губернатором генерала Тотлебена. Этот тупоумный бурбон, взяв себе в помощники генерала Панютина, произвел форменный разгром всей интеллигенции Новороссийского края, выслав в Сибирь и другие окраины несколько тысяч душ, так что в ссылку попал даже невинный увеселитель одесской публики, воскресный фельетонист одесских газет «Барон Икс» [99]. В этот индекс неблагонамеренных не мог не попасть и Сергей Николаевич. Он был выслан в Иркутскую губернию ,в село Тунку [100], куда добровольно последовала за ним по этапу и его старшая сестра, верный его друг и хранитель, Елизавета Николаевна. В Красноярск была также выслана его младшая сестра Анна Николаевна, едва только окончившая гимназию. В Красноярске одновременно с нею отбывал ссылку и известный философ-позитивист В. В. Лесевич. Он и жена его, родная сестра знаменитого путешественника и исследователя Монголии и Китая Потанина, часто говорили мне о выдающихся нравственных достоинствах, проявленных в ссылке Анной Николаевной Кулябкой, которая, не жалея себя и отказываясь от самого необходимого, приходила всегда на помощь всем нуждающимся среди политических ссыльных, делясь с ними буквально последней рубашкой, служа им поддержкой и утешением. Там, в Сибири, она вышла замуж за политического ссыльного, петербургского рабочего из числа тверских крестьян Егора Филипповича Теплякова. Когда кончился срок ссылки ее мужа, она вернулась с ним в Тверскую губ., где принуждена была долгое время жить с мужем и двумя малолетними дочерьми на одном крестьянском наделе мужа, пока не удалось ее мужу получить маленькое местечко земского десятника на строительных работах, а ей — должность сельской учительницы, и таким образом обеспечить двум своим дочерям гимна-

зическое образование, по окончании которого обе дочери также стали, кажется, сельскими учительницами в Тверской губернии.

Что же касается Сергея Николаевича, то во время так называемой «диктатуры сердца» Лорис-Меликова он был возвращен из ссылки в Европейскую Россию и вскоре получил место счетчика-статистика в Управлении Юго-Западных железных дорог в Киеве, с жалованьем в размере 35 руб. в месяц. На это жалованье, с прибавкой нескольких рублей, которые ему удавалось заработать в местных газетах, он содержал не только себя и свою сестру Елизавету Николаевну до ее смерти, но еще брал к себе на воспитание последовательно двух своих племянниц, дочерей бедствовавшего своего брата Григория, сначала старшую, а затем, по окончании этой племянницей гимназии и по получении ею самостоятельного места, следующую ее сестру, которую тоже содержал до конца ее учения и до получения службы или до замужества.

В 1885—1886 году я сотрудничал в Киеве в газете «Заря» и неоднократно бывал у своего кузена. Он все еще мужественно отбывал свою каторжную 35-рублевую службу, отмечая в ведомостях номера товарных вагонов: «прибыл» и «отбыл», «прибыл» и «отбыл» и т. д., как будто в этом состояло его жизненное назначение. С сестрою, старой девой, и молоденькой племянницей-гимназисткой они занимали втроем миниатюрную комнатку, буквально в 4 арш. ширины и 4 арш. длины; в ней, занимая одну третью часть площади, стояла большая кровать, на которой спали тётка и племянница; затем около окна стоял стол с двумя стульями и в углу, у двери, помещался большой сундук (по-украински «скрыня»), со всем скарбом семьи, и на этом сундуке спал сам Сергей Николаевич. Соответственно такому «квартирному довольствию» удовлетворялись и прочие потребности этой аскетически жившей семьи, имевшей в своем месячном бюджете, кроме 35 рублей жалованья, еще 5—10 руб. в месяц «литературных» заработков Сергея Николаевича и 3—5 рублей заработка Елизаветы Николаевны от вечного вязания чулок. Имея «добрых» знакомых среди высших чинов железнодорожного управления, я многократно хлопотал о повышении заработка своего кузена, но все эти Максимовы, Скальковские и Шебуневичи, очень обязательные во всех других отношениях, оставались твердокаменными перед всеми моими ходатайствами; они не могли побороть в себе нерасположения к этому непреклонному поборнику правды и справедливости.

После смерти сестры Елизаветы Николаевны и окончания учения второй его племянницы Сергей Николаевич вышел в от-

ставку с очень небольшой пенсией и жил некоторое время в Петербурге, в приюте для престарелых литераторов на Карповке. В то время я состоял членом оригинального полунаучного и полукарточного клуба — «Собрания экономистов», устраивавшего еженедельные экономические беседы в своем обширном двухсветном зале в доме Панаевского театра на Адмиралтейской набережной. Когда по распоряжению правительства прикрыты были собрания Вольного экономического общества[101] с его горячими дебатами между ново-марксистами (Струве, Туган-Барановский) и народниками (Воронцов, Щепотьев и др.), то острые и горячие прения по текущим экономическим и политическим вопросам перенесены были в эти субботние заседания «Собрания экономистов». Туда, по рекомендации членов клуба, свободно допускалась посторонняя публика. И надо сказать правду, что благодаря карточной и гастрономической репутации клуба речи на этих субботних собраниях благополучно проходили иногда в гораздо более резких тонах, чем это могло допускаться в более «научных» прениях Вольного экономического общества.

На эти собрания, по моей рекомендации, получал доступ и живший в то время на Карповке С. Н. Кулябка. Не принадлежа ни к какой из боровшихся тогда партий, Сергей Николаевич, только благодаря своей чувствительной экспансивности, часто принимал участие в прениях. Так как в доме на Карповке установлен был несколько «монастырский» режим, и калитка запиралась после 10 или 11 часов вечера, то в дни этих собраний, затягивавшихся обыкновенно за полночь, Сергей Николаевич приходил ночевать ко мне на имевшемся у меня старинном широком диване. Когда неожиданно во всех газетах появилось сенсационное известие о том, что тамбовская гимназистка Мария Спиридонова убила в поезде губернаторского чиновника Луженовского, то Сергей Николаевич неожиданно в публичном заседании «Собрания экономистов» предложил приветствовать этот самоотверженный подвиг юной героини. Конечно, такое нецензурное предложение было искусно замято председателем Бороздиным, который был одинаково ловок и находчив на председательском месте, как и в роли адвоката, и на зеленом карточном поле, и на бухгалтерской «безвозмездной» службе в благотворительных обществах. Я на этом собрании не присутствовал, но на другой день получил вежливое предложение старшин клуба не выдавать впредь своих рекомендательных пропусков на собрания клуба моему родственнику. Вскоре после этого подвига Сергей Николаевич уехал, кажется,

в Пензу, к одной из своих племянниц и воспитанниц, повидимому, к той, которая вышла замуж за популярного пензенского врача, доктора Бодягу. Там он вскоре заболел оспой и умер в преклонном возрасте, не менее 75 лет от роду.

VIII

В Кишинев я приехал среди лета, приблизительно в половине августа 1875 года. Помню, что там, на юге, в то время господствовала страшная жара. Обыватели города прятались днем в низеньких домиках с окнами, закрытыми наглухо ставнями. Лишь я, чуть ли не один, как любитель жары и ненавистник северных холодов, с наслаждением бродил по пустынным широким улицам заснувшего города, отыскивая сначала квартиру своего родственника Сергея Николаевича Кулябки, а затем в долгих поисках для себя самого удобно расположенной для моих целей меблированной комнатки.

Как я и ожидал, своими родственниками я был принят очень дружески. Семья Сергея Николаевича состояла из 6 душ. Отец, благообразный, седобородый, высокий старец, ежедневно важно шествовал в 9 часов утра на службу и так же важно возвращался домой в 2 часа дня. Мать, маленькая, высохшая, сутулая, почти горбатая на одно плечо, богомольная старушка, вечно в черном, сильно потертом шелковом платье, по пяти-шести часов в день выстаивала на коленях на молитве перед киотом и, по аристократической привычке, только к двенадцати часам выходила из своей спальни, на чашку утреннего кофе со сливками; из трех сестер две младшие носили еще гимназические передники, а старшая, Елизавета, исполняла в доме обязанности и хозяйки, и прислуги, так как, кроме кухарки, другой наемной прислуги эта многочисленная семья не имела средств содержать. Занимала она небольшой, из грубо отесанного песчаника построенный особнячок в четыре комнаты с кухонькой. Во дворе был еще небольшой флигелек, занятый четою бывших актеров Степановых, талантами коих я увлекался в свои гимназические и университетские годы. Муж был опытным режиссером киевского драматического театра в 60-х годах, а о его жене профессор русской литературы Селин говорил, что она лучшая в России исполнительница роли Катерины в «Грозе» Островского.

Я, конечно, под строжайшим секретом предупредил Сергея Николаевича о цели моего приезда и пребывания в Кишеневе, предоставляя ему самому решить вопрос о внешних формах моих

отношений к нему и его семье. На это он мне ответил, что сохранит, конечно, в тайне мое откровенное признание, но что это не должно иметь никакого значения для изменения наших дружеских отношений и что он без опасения готов содействовать моему сближению с местным обществом.

При его посредстве я вошел в круг местной русской интеллигенции, состоявшей главным образом из учителей и адвокатов. Директору местной классической гимназии Ф. Я. Вороному я напомнил давно прошедшие времена, как он, будучи либеральным студентом Киевского университета, знакомил меня, зеленого гимназиста пятого-шестого класса, с «Колоколом» Герцена. Через С. Н. Кулябку я сблизился с радикально настроенной содержательницей частной библиотеки для чтения в Кишиневе, некоей Гришенко, женой местного помещика и выборного мирового судьи. Для более удобного прикрытия революционной задачи моей деятельности в Кишиневе я, при его же посредстве, занял место помощника присяжного поверенного у лучшего местного цивилиста Гольденвейзера. Хотя я не думал вовсе заниматься адвокатской практикой, но тем не менее, для соблюдения внешнего декорума, я вынужден был несколько раз выступать в суде в роли безвозмездного (казенного) защитника по уголовным делам.

Квартиру я занял очень удобную для моих целей, в отдаленной части города, около кладбища, в доме старика молдаванина, жившего с женою старухою почти в полном одиночестве и сдававшего в наем одну небольшую комнатку в глубине двора, со всех сторон окруженного высокими из дикого камня стенами. Сами хозяева плохо говорили по-русски и совершенно не вмешивались в мои дела и интересы. Старуха хозяйка рано утром ходила каждый день на базар и покупала для меня за 15 коп. три ока (9 кило) винограда, а также готовила для меня простой, вкусный и сытный обед. Известный шлиссельбуржец М. Ф. Фроленко [102], приезжавший в Кишинев по своим революционным делам, прожил несколько дней в моей квартире и восторгался кулинарными талантами моей хозяйки. Когда через 43 года, в 1917 г., я заехал к Михаилу Федоровичу в Геленджик, где он завел себе собственный фруктовый сад, то при первых воспоминаниях о прошедших временах он воскликнул: «А каким прекрасным молдаванским борщом угощала нас ваша хозяйка!»

Первою заботою моей было отыскать надежный адрес в ближайшем от русской границы румынском городе Яссах. Заручившись таким адресом, уже теперь не помню, от кого из

моих кишиневских знакомых, я съездил в Яссы. Там я условился с рекомендованным мне студентом Ясского университета, молдаванином-эмигрантом из Бессарабии, о подыскании для меня надежного контрабандиста на русско-румынской границе. Рекомендованный мне студент, к сожалению, не оправдал моих ожиданий; дня через три он прислал мне письмо с отказом от данных обещаний.

Тогда мне пришлось для получения нового адреса в Яссах съездить в Одессу; здесь я встретил многих, еще по Цюриху знакомых мне, революционеров; из них Ольга Любатович, совместно с другим членом московского кружка пропагандистов, Георгием Феликсовичем Здановичем (по кличке «Рыжий»)[103], хлопотала по такому же делу, как и я, т. е. по устройству контрабандной перевозки через Румынию женевских революционных изданий. Узнав, что Любатович имеет личные знакомства в Яссах, я просил ее дать мне туда рекомендательное письмо. После некоторого колебания она все же приготовила и вручила мне запечатанное письмо к своему знакомому в Яссах. Этим письмом мне, однако, не пришлось воспользоваться. Другой революционный деятель того времени, высокосимпатичный Виктор Костюрин[104], отбывавший в то время воинскую повинность в Кишиневе, предупредил меня, что врученная мне «рекомендация» Любатович того же сорта, как и те, с которыми в былые времена помещики отправляли провинившихся рабов к местному становому приставу, а именно: «Подателю сего прошу, за мой счет, всыпать 50 горяченьких, за что буду вам по гроб благодарен». Будучи всегдашним врагом всякого рода партийных ссор и дрязг, я не стал выводить Любатович на чистую воду, а просто вернул ей нераспечатанным же письмо, как оказавшееся для меня излишним, и стал искать новых путей для получения надежного адреса в Яссах. Наконец, мне удалось получить этот адрес через посредство, кажется, того же Виктора Костюрина или же, еще вернее, при посредстве библиотекарши Гришенко.

Но тут встретилось мне новое затруднение. Частые мои переезды через границу в Румынию могли обратить на себя внимание местных властей, а дело мое требовало особенной таинственности. По счастью, во время одной из моих поездок в Одессу я встретил там А. З. Попельницкого, который из Петербурга опять вернулся в Одессу. Я обратился к нему с просьбой снабдить меня на неделю или на две своим паспортом. Несмотря на большой риск такой услуги, он мне в ней не отказал. Чтобы по возможности уменьшить этот риск, я решил воспользоваться

зоваться полученным чужим паспортом только для выезда и въезда через границу, а там называть себя всюду не Попельницким, а вымышленным именем «Попель». Такая фамилия существовала у поляков, а при возможной несчастной случайности некоторое несоответствие моей клички с моим паспортом я мог объяснить намерением упростить для иностранцев такую неудобо-произносимую для них фамилию, как Попельницкий.

Оказалось еще одно затруднение. Не мог я ехать за границу через Унгены с паспортом Попельницкого, так как две-три недели перед тем я туда и назад проезжал через Унгены под собственной своей фамилией. Среди таможенного или жандармского начальства легко мог бы найтись физиономист, у которого сохранилась память о моей внешности, тем более, что движение через Унгенскую таможню интеллигентной по внешности публики было небольшое. Поэтому мне пришлось выбрать другой пункт для выезда из России—Новоселицы, для чего сделать большой крюк: по железной дороге килом. 300—400 до г. Проскурова, а затем лошадьми до Новоселиц килом. полтораста.

В Проскурове я, разумеется, остановился на день или на два у бывшего товарища по университету К. П. Оловянишникова и его молодой и гостеприимной супруги.

Из Проскурова мне пришлось проехать на лошадях более 150 километров, через торговое приграничное местечко Ярмолинцы затем через города Каменец-Подольск и Хотин и пересечь живописные в своих верховьях долины Днестра и Прута, до Новоселиц и главного города Буковины — Черновиц. Это путешествие доставило мне истинное наслаждение, чему способствовала и чудная погода конца лета, и живописная, густонаселенная местность, составляющая предгория Карпат, с их холмами, покрытыми буковым лесом, и долинами тучного чернозема, хорошо обработанными местными помещиками-сахароварами. Удивительно живописным представился мне тогда и губернской город Каменец-Подольск, старинная часть которого расположена на крутой, почти отвесной скале, кругом опоясанной горной речкой Смотричь и лишь узким скалистым перешейком соединенной с материком. Случайно и в Черновицы я попал в исторический момент — в день торжественного открытия австрийским правительством третьего в Галиции университета, который западные украинские патриоты тщетно надеялись обратить в оплот национальной украинской культуры в Галиции. К сожалению, чужой паспорт, которым я пользовался в пути, и конспиративность цели моего путешествия помешали мне выступить активным участником торжества, и мне при-

шлось ограничиться ролью зрителя внешней, уличной части этого зрелища.

В Яссах я узнал, что рекомендованный мне русский студент Зубков[105] переехал в столицу Румынии Бухарест, куда мне пришлось поехать для свидания с ним и где со мной произошло оригинальное приключение, о котором позволю себе сказать несколько слов. Не умея говорить по-румынски, я заготовил бумажку с адресом Зубкова: Strada biserica Magurian, № 13 и, сойдя в Букаресте с поезда, вручил эту записку извозчику, возглавлявшему шикарный пароконный фаэтон. Извозчик провез меня через весь город до самой северо-восточной его окраины, где на широкой немощеной улице, сплошь покрытой травою, остановился и стал мне что-то говорить по-румынски. Я долго не понимал его объяснений, пока не догадался, что на указанной улице дома под № 13 нет, а расположено лишь пустопорожнее место. После неудачных попыток разговориться с извозчиком по-немецки или по-французски, я вдруг услышал от него настоящую, чисто русскую речь: «Да вы, может быть, барин, говорите по-русски?» Тогда я от него уже узнал, что улица, на которую он меня привез, называется Strada skitu Magurian, т.-е. улица Магуринского монастыря. улицы же под названием «biserica Magurian», т.-е. церкви Магурианской, в Букаресте будто бы не существует. Получив такое разъяснение, я вынужден был остановиться в гостинице и немедленно послал в Яссы телеграмму на французском языке с оплаченным ответом лицу, сообщившему мне неточный адрес Зубкова, с просьбой послать от себя Зубкову телеграмму с указанием гостиницы, где я остановился и жду его к себе. Не довольствуясь телеграммой, я на другой день с утра стал бродить по городу и обращаться к встречным на улице на французском и немецком языках с просьбой указать мне, где я могу найти улицу с данным мне названием. И, действительно, встреченный мною на главной улице любезный пожилой француз указал мне, что неподалеку имеется улица, которая в прежнее время называлась по имени Магурианской церкви, а потом переименована была в «Strada Franceska», т.-е. в улицу Французскую. По его указанию я разыскал данную улицу и номер 13, нашел Зубкова, который предложил мне немедленно переехать со своим багажем к нему на квартиру.

Зайдя к себе в гостиницу за вещами, я застал там на крыльце рассыльного телеграфиста, который, не найдя Зубкова по тому же устаревшему адресу, обратился ко мне с требованием помочь ему отыскать адресата. Напрасно я убеждал

телеграфиста, что надобности в его телеграмме уже не имеется, и пробовал даже порвать ее, но он не отставал от меня до тех пор, пока я, перевозя свой багаж, не взял его с собою в фаэтон и повез к Зубкову. Таким образом, будучи в Букаресте в первый раз и в положении иностранца, ни слова не понимающего по-румынски, я тем не менее оказался путеводителем, удачно помогавшим разыскиванию запутанного адреса для местного телеграфного рассыльного.

В Букаресте, кроме Зубкова, я нашел еще доктора Rössel'я (Судзиловского), который затем проживал в Северной Америке, на Сандвичевых островах и в Японии [106]. Они оба много помогли мне в моем деле. Сообща мы начертали план всей операции; они снабдили меня надежными адресами в Букаресте и Яссах для доставки из Лондона изданий «Вперед!» и для отыскания на границе между Румынией и Россией местного контрабандиста. Вооружившись этими данными, я вновь вернулся в Яссы.

На этот раз в Яссах мне повезло. При участии рекомендованных мне Зубковым лиц я быстро наладил контрабандный путь в пределах Румынии. С одним из этих лиц я съездил на русскую границу, где в пограничном румынском селении на берегу Прута нашел крестьянина-молдаванина, который обязался за приличное вознаграждение (размера этого вознаграждения я теперь не могу вспомнить) получить груз в Яссах, перевезти его к себе в деревню километров за 30—35 от Ясс, переправить этот груз через Прут в деревню, расположенную на противоположном берегу в пределах России, и сдать знакомому ему молдаванину, с которым мне предстояло условиться особо.

Проезд на лошадях по сельским местностям Румынии показал мне, что крестьяне в Румынии живут как будто беднее бессарабских резешей; на мои расспросы через переводчика о причине их бедности они очень жаловались на тягость местных налогов, в том числе особенно на размеры денежной дорожной повинности. Благодаря, однако, этой повинности дороги в Молдавии содержались действительно в бесконечно лучшем состоянии, чем в Бессарабии. По крайней мере в пределах посещенной мною местности я без каких-либо затруднений проехал туда и назад по прекрасному шоссе в городском экипаже.

Везде — и в Яссах, и в Букаресте, и в деревне, — я всюду называл себя Алексеем Попель.

Обратный путь я опять проделал через Новоселицы, но оттуда поехал уже не через Проскуров, а прямо по Бессарабии, по почтовому тракту, через город Бельцы, «на перекладных».

По возвращении в Кишинев я занялся вопросом о поездке в пограничное село к тому контрабандисту, который должен был получить груз из Румынии и доставить его мне в Кишинев. Затруднение как в пути к этому котрабандисту, так и в переговорах с ним заключалось в том, что я не знал ни слова по-молдавански. На помощь мне в этом случае пришел один украинец, по фамилии что-то в роде Середенко или Семененко, занимавший место школьного учителя в сельскохозяйственном училище виноделия, расположенном в трех-четырех верстах от Кишинева. Долгое время проживши в Бессарабии, он хорошо знал местный язык и в то время, совпавшее со сбором винограда, был свободен от занятий в школе, ученики которой на это время распускались по домам. Он охотно взял на себя роль переводчика, не лишенную опасности в политическом отношении, отчасти из сочувствия изданиям «Вперед!», а отчасти же в виду того удовольствия, какое представляло путешествие по винодельному району Бессарабии в момент сбора винограда, в период усиленных работ сельской молодежи, сопровождаемых, по веками установившемуся обычаю, всеобщим весельем, музыкой, пением и танцами.

Ехал я под видом адвоката по земельным делам, а мой спутник изображал моего письмоводителя. Проехав по железной дороге из Кишинева по направлению к румынской границе около 80—90 килом., мы вышли из поезда на станции Калараш или же Корнешты и еще проехали от 30 до 40 килом. по густо населенной зажиточными молдаванами местности, являясь всюду желанными гостями, встречая в каждом селении музыку, песни и пляски. Собранный виноград тут же подвергался выдавливанию, причем процедура эта производилась молодыми евреями, которые в высоких чанах давили виноград собственными босыми ногами. Операция эта, не особенно аппетитная на вид, но неизбежная, обязательно исполнялась евреями, потому что торговля вином в Бессарабии была в руках у евреев, а евреи, согласно своим религиозным предрассудкам, торговали только вином, выдавленным ногами своих единоверцев.

В деревню на пограничной реке Пруте к рекомендованному мне контрабандисту мы попали в глубокие сумерки, проехав около десяти верст вдоль обрывистого берега реки Прута, причем даже встретили конный разъезд таможенной стражи, который, несмотря на позднее время дня и на наш внешний вид горожан, тем не менее нас не обеспокоил. Подробно условившись с молдаванином-контрабандистом, снабдив его письменным моим кишиневским адресом и выдав ему условленный зада-

ток, мы тем же путем вернулись в Кишинев, затратив на это веселое путешествие чуть ли не два или три дня.

Вскоре после этого молдаванин-контрабандист привез ко мне на квартиру три ящика книг и благополучно сдал их мне, причем никто из посторонних получения этого груза не видел, а старики хозяева не обратили на это никакого внимания. Расплачиваясь с контрабандистом, я условился с ним о дальнейшей его работе, обещая прислать ему новый свой адрес.

Перепаковав груз и распределив его на три партии, я одну из них, в виде багажа с домашними вещами, лично свез в Одессу, а другую — в Киев, сдав их местным кружкам, которые состояли в сношениях с нашим петербургским кружком. Третью же партию я отправил большою скоростью в Петербург на заранее условленный адрес.

Посетив в этот период моей кишиневской деятельности несколько раз Одессу, я познакомился там со многими революционными деятелями из местной молодежи. К сожалению, имена большинства из них теперь уже изгладились из моей памяти, кроме двух. Наиболее яркое воспоминание сохранилось у меня о Желябове, который, несмотря на свою юность, произвел на меня очень сильное впечатление своей физической и духовной красотой. Он тогда уже вернулся из временной ссылки на родину, но не получил права поступить вновь в университет. Тем не менее он свободно обращался в среде студенчества, и продолжение гонений на него со стороны начальства только поднимало ореол его светлой личности в глазах товарищей. Средства к жизни он добывал частными уроками и репетициями в среде зажиточных семейств Одессы и, между прочим, в семье одесского городского головы Яхненко, на дочери которого вскоре женился.

Из остальных одесситов я сохранил еще память о С. Чудновском. В последнее мое посещение Одессы я узнал, что он был арестован и сидел в местной тюрьме. Испросив себе разрешение заниматься письменной работой в своей камере, он просил товарищей раздобыть ему какую-нибудь переводную работу с немецкого языка. У меня в это время на руках был заказанный мне И. А. Гольдсмитом перевод «Курса политической экономии» Дюринга. Благодаря моим постоянным выездам из Кишинева перевод этот подвигался у меня довольно медленно, и я охотно уступил часть этого заказа тюремному узнику, томящемуся от безделия, и передал товарищам Чудновского три или четыре печатных листа оригинала с обещанием уплатить ему соответственную часть гонорара, когда сам его получу. Как

сказано выше, за заказанную Гольдсмитом работу я сам ничего не получил, и потому ничего не мог передать и Чудновскому; вообще за многими острыми перипетиями моего существования, обрушившимися вскоре на мою голову, я не успел даже справиться, была ли передана Чудновскому моя посылка с несколькими листами немецкого оригинала.

В Киеве как в этот приезд, так и в предыдущие его посещения я также познакомился со многими местными деятелями из революционной молодежи, но в памяти у меня сохранился лишь образ симпатичнейшего Николая Николаевича Колодкевича[107], на квартиру которого я привез свой тючок изданий «Вперед!». Как впоследствии оказалось, я тогда же в квартире Колодкевича, между другими лицами, познакомился и с Дмитрием Андреевичем Лизогубом[108], вторичная встреча с которым будет мною описана в своем месте. Фамилии остальных трех-четырех лиц киевского кружка я теперь не помню.

Так как с развозкой полученных контрабандным путем изданий в Одессу и Киев и отправкой в Петербург остальной части я считал свою миссию — открытие нового контрабандного пути — исполненной, то и решил окончательно покинуть Кишинев.

Своим родным, а также приобретенным в Кишневе знакомым я заявил, что уезжаю потому, что не успел приобрести адвокатской практики и возвращаюсь на поприще литературной деятельности. Так же объяснил я свой неожиданный отъезд и моему хозяину-молдаванину. Я настолько уверен был в том, что порученное мне задание исполнил вполне «чисто», нигде не «наследив», что не побоялся оставить хозяину свою визитную карточку с отметкой, что в случае надобности о моем адресе можно справиться у моих кишиневских родственников. Эта карточка сыграла, надо думать, роковую роль в привлечении меня в качестве обвиняемого к делу о перевозке через границу транспорта женевской газеты «Работник», о чем будет речь дальше. Без этой карточки, неосторожно оставленной мною на покинутой квартире, господам жандармам не удалось бы, вероятно, дознаться о фамилии таинственного «адвоката», уединенно проживавшего в доме неграмотного молдаванина.

Сдав в Одессе выделенную для одесских кружков контрабанду, я с последним ночным поездом выехал в Петербург. Усевшись в III классе, я вскоре заметил среди пассажиров этого вагона члена московского кружка Георгия Феликсовича Здановича (по кличке «Рыжий», из-за рыжего цвета его бороды). Я тотчас же обратился к нему с вопросом, куда он едет, и он

таинственно признался, что убегает из Одессы, так как получил только-что сведения, что его разыскивают. Мы пробеседовали почти всю ночь, а когда на дворе стало светать, то я с ужасом увидел, что у Здановича борода была пестрая: одна полоса рыжая, другая черная. Когда я обратил его внимание на это обстоятельство, то он объяснил, что перед отъездом приятели посердствовали и выкрасили ему бороду в черный цвет, чтобы уничтожить известную всем его примету. Я его уверил, что с такой пестрой бородой ему легче всего попасться, поэтому мы решили, что я его щеку обвяжу грязным носовым платком, как-будто бы у него больные зубы, и таким образом скрою наиболее опасные пятна в бороде. Не помню, где я расстался с Здановичем; знаю только, что он тогда благополучно доехал до Москвы, а затем все-таки в Москве был арестован и по суду сослан на каторгу вместе с Джабадари, Любатович и другими членами московского кружка.

IX

Удачей в организации контрабандного пути для перевозки через границу изданий «Вперед!» я в значительной мере обязан был помощи, оказанной мне Алексеем Захаровичем Попельницким. В то время как члены чужого кружка, преследующие аналогичные со мною цели, как, напр., О. Любатович, не только отказывал мне в помощи, но и действовали против меня враждебно, он, не принадлежа ни к какой революционной организации, а исключительно из одного теоретического сочувствия задачам журнала «Вперед!», не остановился перед огромным риском, которому он подвергался в случае провала моего предприятия. Его имя уже третий раз упоминается в моих воспоминаниях, и надо прибавить, что наши жизненные пути еще много раз переплетались на протяжении 44 лет нашего знакомства. При всей его замкнутости и нелюдимости я в течение этого долгого срока имел много случаев достаточно ознакомиться с его убеждениями и характером. Между тем он имел несчастие подвергнуться в нашей мемуарной литературе легкомысленно брошенным, неверным и оскорбительным отзывам, которые я считаю себя обязанным энергично опровергнуть. Предпочитаю сделать это теперь, не откладывая своей обязанности до следующих отделов моей биографии, которые в виду моего преклонного возраста, может быть, мне и не удастся написать.

Дело в том, что в номере четвертом журнала «Былое» за 1906 год некий П. Надин[109] поместил статью под заглавием «Стрельниковский процесс 1883 года в Одессе».

Перечисляя подсудимых, осужденных по этому процессу, он в заключение упоминает, что двадцать второй подсудимый, кандидат прав Попельницкий, был судом оправдан. По его словам, этот подсудимый ни по возрасту, ни по убеждениям не был солидарен с остальными, а, напротив, был «убежденный монархист» и противник революционного движения; происходил он будто бы из купеческой богатой семьи, кончил университет в Петербурге, занимался воспитанием барчуков и даже издал будто бы за границей книжку, написанную специально для русского юношества с целью предостеречь его от пагубного влияния революционеров. Хотя автор не вызывает к себе доверия со стороны читателей, так как сама редакция журнала «Былое» вынуждена была вклеить в статью вкладной листок с исправлением и опровержением ряда «досадных неточностей», допущенных автором, но для реабилитации такого грубого оклеветания ни в чем неповинного человека этого недостаточно.

Насколько мне известно из частых разговоров с ним и из многолетней, большей частью деловой, переписки с ним, он происходил из духовного звания. Насколько помнится, он был сыном состоятельного священника или, вернее, дьякона в м. Новая Прага Херсонской губ., где родители его владели собственной усадьбой. Сам Попельницкий отличался замкнутым и угрюмым характером, внешностью напоминал семинариста, вел аскетический образ жизни, подобно Рахметову из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Окончив Одесский университет с дипломом кандидата прав, он представил в качестве кандидатской диссертации исследование, касающееся освобождения крепостных в России. Отзыв профессоров об этой его работе был настолько лестен, что он решился продолжать работу по этому вопросу и, хотя в конце концов он выпустил лишь несколько заметок по этому вопросу в исторических журналах, но объемистого сочинения не опубликовал *, всю жизнь лишь собирая всевозможные материалы для исчерпывающего изучения предмета, копаясь во многих петербургских архивах и на складах букинистов Петербурга и Москвы

Привыкнув к педагогическим занятиям во время прохождения университетского курса и органически не расположенный к бюрократии и чиновничеству, он, естественно, и по окончании университета до 43-летнего возраста добывал себе средства к жизни по преимуществу педагогическою деятельностью. Между

* По крайней мере, до 1916 года, когда он исчез с горизонта моих наблюдений.

прочим он отправился и за границу, в Рим, в качестве наставника двух мальчиков в какой-то состоятельной русской семье, но, вероятно, не ужился с этой семьею, и в 1872 — 1873 гг. очутился без места в Цюрихе. Здесь он познакомился со мною, но пробыл в Цюрихе недолго и участия в местных общественных делах, насколько помню, не принимал.

Через год, когда я работал в Петербурге в редакции «Знание», я вновь встретился с ним, как это уже мною было упомянуто раньше. Он занимал в то время место одного из воспитателей в исправительной колонии для несовершеннолетних мальчиков, вблизи так называемых «Пороховых погребов», в лесу, в 10—12 килом. от петербургского пригорода Охты. Это неблагодарное в материальном отношении и очень ответственное, физически трудное и тяжелое место можно занимать или по крайней нужде, чего не мог испытывать Попельницкий, как кандидат прав и опытный педагог, или же из теоретического интереса и любви к педагогическому делу. Решимость занять место воспитателя такого учреждения, связанного с постоянным и непрерывным, день и ночь общением с 10—12 морально испорченными и нервно-ненормальными мальчиками, доказывает, что вопреки облыжному удостоверению легкомысленного историографа «Стрельниковского» процесса Попельницкий интересовался педагогикой не с целью воспитания никчемных барчуков, а как сложной и трудной отраслью общественного дела. Интересуясь теоретически этою отраслью обществоведения, я однажды пешком через Охту отправился в эту колонию, где в течение нескольких часов под руководством Попельницкого знакомился с системой воспитания, введенной в колонии ее директорами, известными и, можно даже сказать, знаменитыми в то время в Петербурге педагогами, Гердом и Резенером. Вопреки обычному в подобного рода учреждениях стремлению подавить «злую» волю воспитанников путем строгой дисциплины и угнетения этой воли подавляющим влиянием воспитателей, эти педагоги делали опыты укрепления этой воли для борьбы с злыми привычками и инстинктами порочных мальчиков. Между прочим, в качестве одного из педагогических приемов они ввели в колонии товарищеский суд. По несчастной случайности это учреждение вылилось в крупный скандал. Осужденный товарищами воспитанник не захотел подчиниться приговору товарищей; произошла между воспитанниками драка, окончившаяся убийством провинившегося. Герд и Резенер вынуждены были после этого происшествия выйти в отставку и замещены были каким-то бурбоном, который ввел в колонии противоположные прежним порядки. Попельниц-

кий, не желая примириться с новым направлением воспитания в колонии, ушел из нее и очутился в Петербурге вновь без места. Как раз в это время, как мною уже описано, я уезжал из Петербурга на юг, повредил себе в Москве ногу и около двух месяцев пролежал в своей петербургской квартире в постели. Вот в это время Попельницкий и замещал мое место секретаря редакции «Знание».

В следующем году я опять встретил Попельницкого в Одессе, пробавлявшегося, сколько помнится, частными уроками и репетициями, и воспользовался, как сказано было выше, его заграничным паспортом для поездки в Румынию.

Несколько следующих лет я не встречался с Попельницким и потерял его из виду, и только в 1881 г. мы опять с ним встретились в Полтаве. Просидев 14 месяцев в тюрьме, я в 1880 году был выслан на родину в Полтаву на 5 лет под гласный надзор полиции. Там вскоре, по особому ходатайству председателя земства А. В. Заленского, харьковский временный генерал-губернатор, «либерал» Святополк-Мирский разрешил мне занять скромное место делопроизводителя («столоначальника») дорожного отделения губернской земской управы. В это время в Полтаве появляются два представителя модного тогда учения об «опрощении». Из них один, Евмен Городецкий, был только теоретиком; имея тесные связи с революционерами и предоставляя в своей городской квартире убежище для посещавших в то время Полтаву Веры Николаевны Фигнер и Германа Александровича Лопатина, он не следовал примеру Цинцинната и спокойно продолжал занимать должность судебного следователя, сначала в Полтаве, а затем в Кобеляках. Другой его единомышленник, Алексей Захарович Попельницкий, был последовательнее и искреннее. Скопив путем строгой экономии небольшой капитал в первые годы своей педагогической деятельности, он на сбереженные деньги купил небольшой земельный участок в Херсонской губернии, вдоль линии Юго-Западных жел. дорог, с целью заняться «рациональным» сельским хозяйством. Эта первая его покупка была неудачной: приобретенный участок оказался безводным и потому для «рациональной» культуры непригодным. Пришлось продать его, конечно, с убытком. Тогда Попельницкий, чуть ли не по совету своего университетского товарища и единомышленника Евмена, приехал в Полтаву искать более подходящей земельной собственности. Здесь действительно ему удалось вскоре купить небольшой участок с усадьбой и плодовым садом при селе Нижние Млины, в четырех-пяти верстах от города.

Поселившись на купленном «хуторе», он занялся вплотную плодоводством, огородничеством и пчеловодством и повел истинно аскетический образ жизни. В городе он бывал, кроме меня, еще у статистика Н. А. Терешкевича и у чеха Бенеша, владельца цветочного и семенного магазина на Александровской улице. Два раза в неделю он приходил пешком в город, покупал на базаре огромный каравай ржаного хлеба и несколько таранок (излюбленная на Украине вяленая рыба, в роде воблы). Только ко времени созревания плодов и участившихся налетов деревенской молодежи на его сад он завел сторожевую собаку и вынужден был ради нее ежедневно варить кашу и сам перейти на горячую пищу.

С наступлением осени, вследствие неурожая плодов и вообще недостатка средств существования, он вынужден был взять место статистика в полтавском земстве и переехал на жительство в город, для чего и снял за 15 рублей в месяц мебилированную комнату рядом со мною. Не прошло и месяца со дня его переселения по соседству со мною, как неожиданно нагрянули к нему жандармы, произвели обыск и, хотя ничего преступного или подозрительного не нашли, тем не менее арестовали для отправки в Одессу по телеграфному распоряжению генерала Стрельникова. Жандармский полковник Банин предложил мне, как соседу Попельницкого и его товарищу по службе в земстве, взять на хранение его вещи, утверждая, что, по всей вероятности, арест Попельницкого будет продолжаться недолго, так как он, повидимому, явился продуктом какого-то «недоразумения», ибо в телеграмме ему, полковнику, предложено произвести обыск у живущего на хуторе близ Полтавы «студента Александра Попельницкого», между тем как Попельницкий не студент, а кандидат прав. и не Александр, а Алексей. На мое замечание, что вместо того, чтобы беспокоить себя и Попельницкого ошибочным, может быть, обыском и арестом, не лучше ли было справиться прежде по телеграфу о встреченном недоразумении, я получил от полковника замечание: «Не ваше дело».

Так как в течение последующих двух месяцев Попельницкий не возвращался и не давал никаких вестей о себе, то я, не желая тратить без надобности деньги за квартиру отсутствующего хозяина, сговорился с земским статистиком Терешкевичем о перевозке вещей Попельницкого на квартиру последнего. Не довольствуясь разрешением на перевозку вещей, полученным от полковника Банина самим Терешкевичем, я лично отправился к Банину и получил от него подтверждение этого разрешения, чему свидетелем случайно оказался сидевший в то время в кабинете

полковника чиновник особых поручений при губернаторе Кологривов.

Прошло после этого две-три недели. Терешкевич, переменив квартиру, уехал на работу в губернию, как вдруг в служебное время меня из земской управы вызывает ко мне на квартиру жандармский адъютант и требует предъявления вещей Попельницкого. Я объяснил, что эти вещи с ведома полковника Банина переданы мною Терешкевичу, квартиры которого я не знаю. Не прошло и получаса, как в управу приезжает разъяренный жандармский полковник, вызывает меня на лестничную площадку и поднимает невероятный крик, осыпая меня угрозами, бранью, приказывая меня арестовать и т. д. На крики сбежалась чут не вся управа, в том числе член управы Масюков. «В чем дело, Александр Сергеевич?» — обратился к Банину Масюков.—«Он скрывает квартиру Терешкевича»,—отвечает ему Банин. Узнав причину крика, Масюков удостоверил, что действительно квартира Терешкевича мне неизвестна, так как он несколько дней тому назад случайно сам спрашивал меня об этом. Тогда полковник, понизив тон, обращается к окружающим и спрашивает: «Так кто же знает квартиру»? — «Знают, вероятно, управские курьеры», — отвечают ему окружающие. И действительно, вызванный швейцар заявляет, что не зная ни номера дома, ни фамилии домовладельца, он квартиру Терешкевича может указать. Масюков приказал поэтому швейцару сесть на козлы в экипаж полковника, а полковник, попрощавшись с Масюковым и повернувшись спиною ко мне, стал спускаться с лестницы. «Позвольте, полковник, так вам уйти не годится; вы здесь накричали на меня, оскорбляли, называли обманщиком, даже арестовали меня и думаете так уйти!» — «Ну, мы с вами еще посчитаемся», — ответил полковник и, не извинившись, уехал.

Член управы Масюков немедленно позвал меня к себе и говорит: «Я знаю полковника Банина; вы нажили себе в нем злейшего врага. Советую, отправляйтесь немедленно домой, наденьте черный сюртук и поезжайте к губернатору, объясните происшедшее, сошлитесь на меня, как свидетеля, и потребуйте защиты». Я исполнил этот совет и через полчаса был уже в кабинете губернатора Бильбасова, либерала, родного брата известного историка и фактического редактора газеты «Голос» [110]. Бильбасов, повидимому, был уже вкратце осведомлен о происшедшем, так как очень любезно меня принял, подробно выслушал мой взволнованный рассказ и обещал свою защиту, хотя предупредил не очень полагаться на эту защиту. «Мы при графе, — сказал он, указывая рукою на большой, в натуральную величину, портрет

масляными красками графа Лорис-Меликова, висевший у него в кабинете,—имели большую власть над жандармами и могли сдерживать их пыл, а теперь, при министре графе Д. А. Толстом, они закусили удила и пренебрегают нашими требованиями».

На другой день я получил записку от председателя окружного суда Николая Филипповича Христиановича с приглашением зайти к нему вечером «на чашку чая». С Христиановичем я был знаком, как помощник присяжного поверенного при полтавском суде, куда записался в целью иметь определенное юридическое положение в обществе. Он был человек очень образованный, гуманный, большой знаток музыки и покровитель молодых музыкальных талантов, искусный пианист и выпустил даже особое исследование о Шопене. Когда я пришел к нему, он заявил, что пригласил меня по желанию губернатора, и передал для прочтения черновой оттиск отправленной Бильбасовым в Петербург бумаги, где он очень энергично меня обеляет, ссылаясь на свидетельство таких благонадежных лиц, как член управы Масюков и чиновник особых поручений Колоприводов.

Тем не менее через две недели губернатором получен был от директора Департамента полиции В. К. Плеве строжайший приказ уволить меня немедленно из земской службы с воспрещением мне заниматься адвокатурой, педагогической и всякой другой общественной деятельностью.

Не могу воздержаться, чтобы не вспомнить, что полковник Банин действительно употреблял все меры, чтобы осуществить свою угрозу по моему адресу. Он говорил: «Я не я, если не упеку Кулябко-Корецкого в Сибирь». Несколько раз он производил у меня на дому и в канцелярии управы обыски и, наверное, достиг бы своей цели, если бы не потерпел урона при столкновении с важным генералом Тяжельниковым. Это последнее столкновение повело к переводу его в Симферополь, где он вскоре и умер. Курьеза ради сообщаю, что в крымских газетах был напечатан рассказ о невероятном происшествии на его похоронах: во время его «отпевания» в соборе тяжелое паникадило сорвалось будто бы с купола церкви и раздавило в лепешку его тело и гроб. Полтавцы, встречаясь со мною, поздравляли меня, говоря, что это бог наказал Банина за меня, воображая, что бог мог избрать столь бесцельный способ защиты моих прав и интересов.

Рьяность Банина в его нападении на меня объяснилась вскоре его желанием поскорее загладить допущенную им грубую служебную оплошность. Именно, из городских сплетен выяснилось, что накануне его нападения на меня он играл в клубе в карты с отставным полковником Алеховским, продавшим По-

пельницкому свою дачу в Нижних Млинах. За картами зашла речь об обыске у Попельницкого, и Алеховский вспомнил, что он в числе мебели, проданной Попельницкому вместе с домом, передал ему «шифоньерку» с секретными ящиками. Банин, не заметивший во время обыска этого секрета, конечно, испугался допущенного упущения и на другой же день утром поспешил его исправить и как человек грубый и невоздержанный разгорячился при первой же помехе. При вторичном осмотре вещей арестованного действительно обнаружилось, что шифоньерка вместо верхнего выдвижного ящика имела откидную доску для письменных занятий, а по сторонам этой доски две прикрытые стенками пустоты. В этих пустотах при вторичном обыске найдены были: 3.000 руб., брошюрка известного кавказского генерала-публициста Фадеева о предложенной им «конституции», напечатанная за границей[111], и, наконец, мнимый «план взрыва царского поезда», который Банин поспешил лично показать губернатору для доказательства сугубой преступности Попельницкого и окружавшей его «шайки».

Только через полтора года дело Попельницкого разъяснилось. Он был привлечен к политическому делу известным жандармским генералом Стрельниковым, убитым впоследствии в Одессе на Николаевском приморском бульваре. По рассказам Попельницкого, вернувшегося в Полтаву по окончании процесса, генерал Стрельников был форменный маньяк, помешанный на преследовании молодежи; он запутывал в процесс несчетное число лиц самыми возмутительными способами: обманом, угрозами, нравственными пытками, подделкой уличающих документов, фальсификацией показаний обвиняемых и свидетелей и т. д.[112]. Между прочим, нанятый им провокатор открыл в Одессе «конспиративную» студенческую слесарную мастерскую, где наивные молодые люди обучались слесарному мастерству с целью итти затем в народ, причем хозяин мастерской и его жена записывали имена всех приходивших в мастерскую и их речи, часто в искаженном виде. Между прочим, в числе уловленных этою западнею оказался и Попельницкий; он привозил в мастерскую свой сундук для исправления испорченного замка и таким образом попал в число «членов тайного революционного сообщества»[113]. Просидев в одиночном заключении полтора года, он был предан военному суду и избежал каторги лишь потому, что ни с кем из всех своих товарищей по обвинению он ни разу не встречался, занимаясь почти исключительно педагогией. Пресловутый, найденный при вторичном обыске в Полтаве, «план взрыва царского поезда» оказался простым планом принадлежавшего ему

участка земли в Херсонской губ.; на этом плане Попельницкий для разъяснения покупателю проводил карандашом знаки, показывающие дорогу от хутора на вокзал и на железнодорожную водокачку, носившую среди местного населения название «машинка».

По счастью, Попельницкий вышел из военного суда оправданным и вернулся в Полтаву. Занять место члена статитического бюро, потерянное вследствие ареста, он уже не мог. На место Бильбасова губернатором назначен был генерал Янковский, по свирепости своей политики недалеко ушедший от Стрельникова и не пропускавший на земскую службу даже случайно попавшего на замечание администрации. Для Попельницкого мы отыскали место, не требовавшее губернаторской санкции, секретаря редакции издававшегося полтавским земством журнала «Земский Обзор»[114]. Этот журнал, благодаря ожесточенным придиркам цензуры, перенесенный в Москву, мог просуществовать, как кажется, не больше двух или трех лет, после чего Попельницкий уехал из Полтавы.

Изредка я с ним продолжал переписываться, а затем несколько раз встречался в Петербурге. Одно время он занимал место преподавателя в ремесленном училище тверского земства, но и там ему не повезло. Он должен был оставить это место благодаря погрому, обрушившемуся на училище. По его рассказам, один из участников на экзамене или же при ревизии этого училища,—теперь этого припомнить не могу,—в присутствии почетного посетителя на предложение экзаминатора привести пример какого-нибудь «мифа» ответил: «Например, непорочное рождение Иисуса Христа от девы Марии». Вследствие этого неудачного ответа разразился разгон массы учеников и преподавателей.

Наконец, в 1890 г., как видно из его письма, сохранившегося у меня, Попельницкий в возрасте 43 лет поступил, наконец, на казенную службу в Государственный контроль. Благодаря постоянному усердию, с каким он относился ко всякому своему делу, и работоспособности, он быстро пошел по чиновничьей лестнице и чуть ли не на второй год службы получил предложение занять место председателя Контрольной палаты в Ташкенте, но отказался от этого лестного предложения, избегая службы, связанной с административными обязанностями. Избегая почти всяких знакомств, он в неслужебное время занимался подготовлением к обширному труду по крестьянскому вопросу; труд этот, кажется, не был окончен, и автор ограничился помещением нескольких статей в русских исторических журналах. Между про-

чим, уже, кажется, в годы мировой войны я получил от него по почте оттиск его журнальной статьи, посвященной вновь открытой им в центральных архивах записке Радищева, работавшего по возвращении из Сибири в петербургских канцеляриях под руководством Сперанского [115].

Еще раньше, в 1912 году, он обратился ко мне с просьбой подкрепить моей рекомендацией его попытки занять в Киеве место главного библиотекаря Киевской публичной библиотеки. Таким образом, к этому времени он уже вышел в отставку из Государственного контроля и стремился занять более симпатичное ему дело, связанное с книговедением.

Он был во всю свою жизнь страстным библиоманом, постоянно копался в книжных складах у букинистов, преимущественно петербургских, вылавливая иногда драгоценные уники, как, например, доклад комиссии о деятельности генерала Анненкова по постройке Закаспийской жел. дор. (или же по проведению так называемого «голодного шоссе» вдоль Черноморского побережья,—теперь уже не припомню), с собственноручными на полях доклада надписями императора Александра III: «мерзавец», «негодяй» и т. п. Этот unicum выловил он среди хлама у петербургских букинистов. В одном из писем ко мне он между прочим писал о затруднениях, какие встретятся ему при решении вопроса о судьбе его книгохранилища на случай его смерти, причем сообщил, что у него до 75 ящиков с книгами хранятся в его родительской усадьбе в посаде Новая Прага и до 40 ящиков осталось еще на прежней его квартире в Петербурге. Я раз заглянул к нему на его квартиру в Петербурге; он жил тогда на Казначейской улице, занимал небольшую полутемную комнатку в нижнем этаже огромного дома, на заднем дворе. Когда я выразил удивление, почему он не займет комнату этажем повыше, то он ответил, что его туда не пустят благодаря множеству книг, тяжести которых могут не выдержать полы и потолки. И действительно, чуть ли не половина его комнаты была заставлена ящиками с книгами, нагроможденными до потолка. И так бедно он жил, несмотря на высокое место, им занимаемое в Государственном контроле, с большим, вероятно, окладом содержания.

Правда, на его шее лежало и содержание семьи, которую он успел завести себе в Твери. Он даже в Полтаву привозил одно время своих двух детей, таких же рыжеволосых, как и он, мальчика и девочку. Мальчика он определил в Полтаве в реальное училище, и преподаватель математики в этом училище Коваржек говорил о гениальных математических способностях это-

го мальчика. Впоследствии его сын кончил политехникум в Риге и уехал на службу инженером куда-то на Восток. Дочь его вышла замуж в Твери за земского служащего, который был арестован и, кажется, административно сослан в Сибирь.

В годы мировой войны Попельницкий, кажется, жил по зимам больше в Петербурге, работая там в каком-то центральном архиве, а лето проводил большею частью в доме, доставшемся ему после смерти матери в Новой Праге. Дальнейших сведений о нем я уже не имею.

X.

Возвращаюсь к описанию событий конца 1875 г. Приехав в конце ноября или начале декабря в Петербург, я повидался со всеми членами нашего кружка, осведомился о положении наших дел и с общего решения вновь направился на юг, чтобы руководить дальнейшей перевозкой изданий «Вперед!» по так удачно налаженному бессарабскому пути. Так как, уезжая из Кишенева, я сдал хозяевам свою квартиру, то нашел более удобным не возвращаться уже на постоянное жительство в Кишинев, а в дальнейшем основать базу своих действий в Одессе.

Перед отъездом в Одессу я побывал еще в бывшей редакции закрытого к тому времени журнала «Знание» и повидался с почтенным Исидором Альбертовичем Гольдсмитом. Он сообщил, что переданную мне работу по переводу Дюринга надо бросить, так как по наведенным им в цензурном комитете справкам печатание сочинений Дюринга цензурой не будет пропущено; на мое же заявление, что я около одной трети книги Дюринга уже перевел, он ответил, что может возместить мне мой убыток предоставлением мне сотрудничества в новом журнале, кажется, «Слово», в котором ему предложено место редактора [116]. По своему всегдашнему малодушию и неумению отстаивать свои интересы я не нашел в себе достаточной твердости характера, чтобы потребовать от Гольдсмита уплаты причитавшихся мне за часть исполненной работы не менее, вероятно, 400 рублей. Ведь не я был виноват, что Гольдсмит предпринял издание книги, не справившись предварительно о возможности ее напечатания на русском языке. Вместе со мною пострадал материально, вероятно, и Чудновский, если только выделенные мною для него листы были ему переданы и он успел их перевести до ссылки в Сибирь. Подробности эти не сохранились в моей памяти.

Заняв в Одессе меблированную комнатку на одной из более отдаленных уличек, где-то около Портофранкской окружной улицы, опоясывавшей более старую часть города, я завел конспиративную переписку с Лондоном и Яссами для возобновления контрабандной перевозки изданий «Вперед!» через бессарабскую границу. В ожидании ответов я продолжал сношения с местными радикальными кружками в довольно широком обхвате. Кроме раньше уже знакомого кружка Чудновского, Желябова и др., я познакомился с несколькими одесскими либералами через посредство Сергея Кулябки.

Небольшой кружок этих одесситов, в семь-восемь душ, задумал отпраздновать 50-летие восстания декабристов (14 декабря 1875 года) скромной вечеринкой, куда по рекомендации Кулябки попал и я. В числе прочих участников этого скромного юбилея оказались профессор одесского университета Патлаевский и учитель истории одной из одесских гимназий Ковалевский[117], прочитавший об этом крупном историческом событии краткий реферат по очень скудным в то время источникам.

В свободные часы, которых у меня в Одессе оказалось немало, я продолжал заниматься задуманным популярным курсом политической экономии. С целью выяснить достоинства и недостатки изложения этого курса я для опыта предпринял чтение лекций по этому предмету небольшому кружку одесских студентов, в числе не более 10 душ, между которыми помню будущего известного земского статитсика Ф. А. Щербину[118]. Прочитать мне пришлось, впрочем, только те же две вступительные лекции, которые я читал рабочим в Петербурге, так как дальнейшее пребывание мое в Одессе было катастрофически прервано.

В начале января 1876 года неожиданно в мою квартиру, в сопровождении С. Н. Кулябки, явился его родной брат Григорий Николаевич, незадолго до моего выезда из Кишинева приехавший туда для занятий адвокатурой. Он объявил мне, что экстренно приехал ко мне в Одессу, чтобы спасти меня от ареста, так как в бывшей моей кишиневской квартире произведен был обыск, и к моим родным заявились жандармы с требованием сведений о моем местожительстве, так как я оказался привлеченным к дознанию о контрабандной перевозке запрещенных книг через границу.

В то время я никак не мог понять, каким образом обнаружилась моя нелегальная деятельность в Кишиневе, так как я настолько искусно и осторожно вел свои контрабандные операции, что не оставил за собою никаких следов. Лишь постепенно для меня выяснилось, что меня каким-то непонятным об-

разом впутали в свои операции члены московского кружка, перевозившие через бессарабскую границу женевскую газету «Работник».

Не время, однако, было для меня обсуждать тогда вопрос о причинах моего провала, а необходимо было принять спешные меры к выезду из Одессы, где, наверное, меня уже разыскивали власти. Мой кузен, Григорий Николаевич Кулябка, может быть, лишь на несколько часов опередил жандармских ищеек. Наскоро собрав свои вещи, я в тот же вечер выехал по железной дороге в Петербург.

Пока я бродил в Одессе, в темных закоулках привокзальной площади, помогавшие моему побегу родственники или друзья, — теперь уже не припомню, кто именно, — взяли для меня билет в кассе, снесли мой ручной багаж и заняли место в вагоне III класса отходящего поезда, и только перед самым третьим звонком я быстро пробрался к занятому для меня месту.

С момента моего выезда из Одессы в Петербург в начале января 1876 года для меня наступил новый период моей личной жизни, период нелегального существования, продолжавшийся до моего ареста в Тифлисе 13 мая 1879 года около 3½ лет, из коих почти два года я прожил в Лондоне на положении политического эмигранта. К циклу житейских забот о пище, домашнем крове, одежде и т. п. прибавилась у меня еще одна категория забот — о своей формальной легализации, о присвоении себе чужого имени и фальшивого документа о личности, или так называемого у нас «вида». За 3½ года я таких «видов» переменил чуть ли не менее десятка, большею частью мало удовлетворительных; даже имена и фамилии большинства фиктивных «личностей», мною в те дни изображавшихся, мною теперь почти уже забыты. О некоторых из них мне придется упомянуть в дальнейшем.

В Петербурге уже в первый мой приезд из Кишинева меня ожидало большое огорчение. Евгений Степанович Семяновский, мой милый товарищ по квартире или, вернее, комнате, которую я оставил, уезжая в Кишинев, оказался арестованным, а вскоре и осужденным на каторгу за попытку революционной пропаганды среди военных писарей главного штаба и сослан на 13 лет в каторжные работы на Кару, где он через 5 лет застрелился. Если бы не случилась моя поездка в Кишинев по делам кружка, то и я, вероятно, не избег бы ареста, как живший с ним в одной комнате. Члены нашего кружка обсуждали после его осуждения вопрос о том, нельзя ли отбить во время следования в Сибирь

от жандармов нашего общего любимца «Женю»; но, конечно, силы и средства у кружка были недостаточны для такого дерзкого предприятия. Мне потом только рассказывали, что Александра Григорьевна Варзар поехала в Москву в том же поезде, в котором его отправляли в Сибирь, и своим молчаливым присутствием на платформе вокзала в Москве, по пути его следования между двумя жандармами, выразила наше общее горячее сочувствие и сожаление о постигшей его участи.

Вообще за время моего отсутствия в Петербурге произошло много других перемен. Коммунальная наша квартира была покинута. Жена А. А. Криля, Татьяна Никитична, урожденная Ткачева, умерла от родильной горячки через несколько дней после моего отъезда в Кишинев. Уезжая, я зашел к ней в комнату попрощаться, застал ее в постели с новорожденной Таней на руках и не подозревал, что больше ее не увижу. Криль по смерти жены сдал свою новорожденную дочку на руки ее тетке, Александре Никитишне Анненской, а сам вышел из нашего кружка и перевелся на службу в Сибирь, где вскоре вторично женился. Воспитанница Анненских, Т. А. Криль вышла впоследствии замуж за Ангела Ивановича Богдановича, умершего во время революции в Полтаве в тюрьме от тифа. По смерти мужа Т. А. Богданович осталась жить в Полтаве, в семье В. Г. Короленко, занималась затем разборкой рукописей, оставленных В. Г. Короленко после смерти, и, как известно, доныне продолжает трудиться на поприще русской литературы.

За время моего пребывания в Кишиневе окончили медицинское образование три члена нашего кружка, составлявшие основное ядро этого кружка, — Гинзбург, Ильин и Иванов, а также жена последнего, вошедшая в состав первого выпуска в России «женщин-врачей». Все они немедленно заняли должности земских врачей, в составе которых, вследствие быстрого роста в то время земской медицины, числилось много вакантных мест, требовавших быстрого замещения. Гинзбург получил место земского врача в Бронницком уезде Московской губернии, но вскоре вернулся в Петербург для сдачи экзамена на доктора медицины; Ильин получил место земского врача в Миргородском уезде Полтавской губернии, в местечке Сорочинцах, на месте родины Гоголя; а Иванов нашел место земского врача в Орловской губернии: сначала — в земской больнице при станции Еропкино, вблизи Орла, а затем — в такой же больнице при станции Нарышкино, также километрах в 40—50 от г. Орла. Иванов вскоре тяжко заболел, так что его обязанности неофициально исполняла до его кончины его жена Евгения Михайловна.

Выехав из Петербурга, все они не порывали сношений с основным кружком, и мне вскоре пришлось побывать у каждого из них. Для разъездов меня снабдили подозрительным фальшивым паспортом на имя какого-то мещанина. А так как по внешнему виду и по своему костюму я более походил на студента или писателя и публициста, то достали для меня, вместо верхнего пальто, какой-то черный суконный балахон, непохожий ни на пальто, ни на армяк, а скорее всего на халат, облекшись в который, я действительно стал какой-то неопределенной, «подозрительной» личностью.

Заехав в Бронницкий уезд, я нашел Гинзбурга заведующим благоустроенной лечебницей в деревне, состоявшей из 12—15 двухъэтажных каменных, под железной крышей, домов, принадлежавших «крестьянам»-фабрикантам, которые наживали крупные капиталы, сдавая пряжу по окрестным селам, населенным отчаянной беднотой.

Не помню, в эту ли поездку или же в иную, я задержался в Москве. Местные члены кружка затащили меня вечером к Глебу Успенскому, занимавшему отдельно от жены номер в Мамонтовской гостинице или Кокоревском подворье, в Замоскворечье. Незадолго перед этим Глеб Иванович вернулся из заграничной поездки и за стаканом чая и легкой выпивкой удивительно красиво рассказывал разные эпизоды из своей заграничной поездки. Между прочим, он описывал какого-то московского купца-миллионера, путешествующего по З. Европе и проявлявшего там свое привычное всероссийское «ндраву моему не препятствуй», за что, конечно, с удовольствием платил штрафы. Подойдя, например, к двери или воротам и видя надпись, он спрашивал: «Что там написано? Ферботен? Ну, значит, вали туда прямо!» Вообще Глеб Иванович был в большом ударе, и мы все, слушая его остроумные и уморительные речи, засиделись у него далеко за полночь. Когда стали расходиться, то оказалось, что для меня в Москве не было пристанища на ночлег, и Глеб Иванович предложил мне переночевать у него на диване, что вследствие моей нелегальности представляло для него очень большой риск. Оставив утром гостеприимный кров Глеба Ивановича, я, к сожалению, не имел больше случая с ним встречаться.

Ко времени моего возвращения из московской поездки в Петербург в кружке возникло предположение об освобождении меня от кружковых поручений до выяснения степени моей нелегальности. Решили меня упрятать на время куда-нибудь в укромное местечко. С этой целью член нашего кружка Антон Та-

ксис списался с старым своим полтавским приятелем, адвокатом Сильвёрстовым, жившим в то время в дерене в Орловской губ. и предварительно согласившимся принять меня к себе на жительство под видом секретаря по своим адвокатским делам.

В виду предстоявшей, таким, образом, поездки на юг мне предложили продолжить ее еще дальше и заехать в Полтавскую губ. в м. Сорочинцы, куда в то время, как я уже сказал, поступил на должность земского врача член нашего кружка, окончивший медицинскую академию, В. М. Ильин. Съездить к нему по делам кружка для меня было особенно удобно, так как в 30 километрах от Сорочинец жил в деревне мой старший брат Аркадий, и я, посетив брата, мог на его лошадях съездить и в Сорочинцы.

Эту поездку свою к брату и оттуда в Сорочинцы я хочу описать подробно, так как она была сопряжена с какими-то непонятными для меня приключениями.

Заручившись малонадежным фальшивым паспортом и облачившись в свой подозрительный балахон, который не только не облегчал мое инкогнито, но, напротив того, обращал на меня сугубое внимание, я двинулся в путь и прежде всего остановился у супругов Ивановых на станции Еропкино Орловско-Курской линии. Прогостив у них один день, я выехал далее и вновь остановился на несколько часов, от поезда до поезда, в Харькове, где зашел на время к своему родственнику (двоюродному брату), присяжному поверенному Андрею Леонтьевичу Пестржецкому. Он был довольно известный цивилист, печатавший свои статьи в специальных юридических журналах; будучи старше меня лет на 15, он несколько покровительственно относился ко мне во время моего учения и особенно был расположен к старшему моему брату Аркадию, которого даже включил в число своих наследников. Вероятно, в виду этих родственных связей я и счел необходимым заехать к нему перед предстоящим моим свиданием с братом. От него я не скрыл своего нелегального положения, но не припомню, как он тогда реагировал на это сообщение.

Приехав в Полтаву, я прежде всего, по поручению кружка, зашел к помощнику присяжного поверенного Тоцкому, жившему в меблированной комнате в доме Ольги Васильевны Головни, родной сестры Н. В. Гоголя. С этой старушкой, уже и тогда почти глухой, я раньше не встречался, но так как я намеревался ехать к брату, хутор которого расположен в пяти-шести километрах от деревни Васильевки, имения Гоголей, то я не прочь был повидаться с нею и сообщить ей о предстоящей моей

поездке. Она жила тогда одна, так как муж ее умер, а оба сына учились в полтавском кадетском корпусе. Кстати, чтоб не упустить интересного факта, вспоминаю, что один из сыновей ее, приходившихся племянниками Николаю Васильевичу Гоголю, через несколько лет, по получении офицерского чина, по невыясненным, кажется, причинам, застрелился; а другой, выйдя в отставку, служил по выборам в полтавском земстве, писал стихи, преимущественно на библейские темы и, по мнению некоторых, был умственно не вполне нормальным.

Попрощавшись с Ольгой Васильевной и с Тоцким и отложив посещение некоторых других моих знакомых в Полтаве до следующего моего приезда, я нанял городского извозчика и поехал к брату на его хутор, куда из Полтавы было около 40—45 километров.

Брата я застал дома и был, как всегда, принят им очень радушно. От него я тоже не скрыл своего нелегального положения, так как всегда считал неудобным пользоваться гостеприимством, не предупредив хозяев о могущих произойти для них неприятностях от моего посещения. У брата я выпросил лошадей для поездки килом. за 30 в м. Сорочинцы к новому земскому врачу В. М. Ильину, которого отрекомендовал как моего университетского приятеля. Мой брат жил тогда еще в сравнительном довольстве; у него нашелся тарантас, тройка добрых коней и «надежный» кучер.

Тогда была еще ранняя весна; хотя поля и были уже обнажены от снега, но в глубоких балках (оврагах) местами лежал снег, в который лошади проваливались чуть не по брюхо. Доехав благополучно до с. Барановки, расположенного по левому,— вопреки «закону К. Бэра»; — гористому берегу реки Псла, я к своему огорчению узнал, что весенним паводком переправа через реку разрушена. Вместо семи или восьми килом., оставшихся мне до Сорочинец, мне предстояло сделать длинный объезд в тридцать и более килом., с риском притом найти и там переправу разрушенной. Однако, хозяин постоялого двора, где я принужден был остановиться, устранил мое огорчение и дал мне ехидный совет: оставить экипаж на постоялом дворе, переехать через реку на лодке и канатом перетащить вплавь одну из пристяжных лошадей, чтобы на ней последние семь килом. проехать верхом, подвязав на спину лошади мою подушку. «Надежный» кучер моего брата этот проект одобрил, и я на другой день утром воспользовался им. Хотя вода шла по реке очень бурно, но переправа в лодке через неширокое пространство прорванной плотины не представляла затруднений; лошадь тоже исправно пере-

плыла на канате за кормой лодки; но к ужасу моему я только тогда увидел, что по воде плыли мелкие льдинки и, следовательно, я невольно подверг лошадь, да еще любезно мне предоставленную, очень холодной ванне. На мой вопрос, не опасна ли такая ванна для здоровья лошади, лодочники сказали мне: «Ничего, пустите ее в галоп, так до Сорочинец она добежит в мыле, и ничего ей не станется». Я, конечно, последовал этому совету; лошадь действительно благополучно перенесла этот неожиданный для меня эксперимент, но я, не умеющий ездить верхом, да еще без седла, приехал к Ильину совершенно разбитый и два дня пролежал у него на диване, задрав ноги кверху.

У Ильина я застал члена нашего кружка Александра Семяновского, который исполнял у него фельдшерские обязанности. К этому времени среди русской революционной молодежи возобладало уже мнение о нецелесообразности прежнего способа хождения «в народ» в виде переодетых батраков; для успешности пропаганды признано было необходимым более или менее прочное поселение пропагандиста в деревне с определенным социальным положением, например, в виде ремесленника, фельдшера, учителя, писаря и т. д. И вот для приобретения фельдшерского звания Семяновский и поселился у Ильина.

Исполнив данные мне кружком поручения, я намеревался еще познакомиться в Сорочинцах с Малинкой [119], о котором я имел симпатичные отзывы в Одессе и Киеве. К сожалению, я его в Сорочинцах не застал, а отец его, очень крупный местный помещик, пользовался репутацией прижимистого и жестокого «рабовладельца», так что заезжать к нему не представляло для меня никакого интереса.

Для обратной поездки до с. Барановки я нанял в Сорочинцах крестьянскую подводу, к которой привязал свою лошадь, а доехав до берега Псла, против Барановки, я застал уже готовую благоустроенную паромную переправу через реку и благополучно вернулся на хутор брата. Ему я, конечно, повинился в своем некорректном обращении с его лошадью и выразил удовольствие, что моя неосторожность не имела дурных последствий. В Полтаву мой брат захотел меня сам проводить в своем экипаже, и мы поехали по знакомому ему сокращенному пути проселками и полевыми дорожками, что экономизировало от пяти до десяти километров пути.

Приехав в Полтаву, я оставил свой немудрый багаж на постоялом дворе, где останавливался обычно мой брат, в самом центре города, у так называемой Красной аптеки, где впоследствии выросла двухъэтажная гостиница Воробьева. Недалеко от-

сюда расположен был и дом О. В. Головни, почему я прежде всего и забежал к Тоцкому.

Как только я вошел в его комнату, он вскочил с кресла, как бы удивленный и пораженный моим появлением, и воскликнул:

— А вы разве не арестованы?!

Я, конечно, ответил ему: «Как видите», и запросил, в чем дело.

Оказывается, по его словам, жандармы узнали о моем проезде через Полтаву и выехали в имение моего брата для моего ареста. Избег я этого ареста только потому, что мы разминулись, так как я ехал проселками, а жандармы отправились, очевидно, почтовым трактом на м. Решетиловку.

Конечно, в виду этого обстоятельства я поспешил поскорее выбраться из Полтавы. Ехать по железной дороге было для меня рисковано, так как меня, вероятно, уже выслеживали и на вокзале. Поэтому, забежав за своими вещами на постоялый двор и оставив отсутствующему брату записку, объясняющую мое быстрое исчезновение, я поехал на почтовую (конную) станцию на Сенной площади и взял почтовых лошадей по тракту на уездный город Константиноград. Кстати, к этому времени, еще при Александре II, была осуществлена одна из «свобод», а именно, свобода передвижения: отменены были «подорожные», которые раньше давали начальству возможность наблюдения за передвижением обывателя по почтовым трактам. В моем странном балахоне я считал наиболее подходящим выдавать себя за приказчика, и на вопросы любопытных, куда и по какому поводу я еду, я мог ограничиваться неопределенным: «От хозяина, за получением», что прерывало дальнейшие расспросы. Из Константинограда я почтовым же трактом выехал на станцию Мерефа, килом. в 30 от Харькова по Севастопольской линии, проделав излишних 50—100 килом. Избежав таким образом вследствие счастливых обстоятельств ареста, я тем не менее не мог не остановиться на вопросе, каким образом жандармы могли пронюхать о моей поездки к брату. Об этом, кроме двух-трех членов нашего кружка в Петербурге, в скромности которых не могло быть никаких сомнений, знали лишь те, кому я сам разблаговестил об этой поездке, т. е. Пестржецкий и Тоцкий. В скромности первого мне тоже трудно было усомниться в виду известной мне его порядочности и его хороших отношений ко мне и особенно к брату, так что сомнение могло только возникнуть относительно Тоцкого, тем более, что меня не могло не поразить то выражение удивления и чуть ли не испуг, с каким меня встретил Тоцкий.

Впрочем, могло произойти и такое стечение обстоятельств: к Ольге Васильевне в воскресенье пришли на побывку ее два сына-кадета, с ними увязался к хлебосольной старушке кто-либо из корпусных офицеров; по провинциальной распущенности зашла там речь о моей поездке к брату, а офицеры ненамеренно могли об этом проболтать жандармам. Как бы то ни было, но вопрос об источнике, откуда жандармы дознались о моей поездке к брату, так и остался невыясненным.

Уже по прошествии многих лет я узнал от брата Аркадия, что, получив на постоялом дворе мою записку, он немедленно отправился домой и застал у себя жандармов, которые в его отсутствии перерыли вверх дном весь его дом. По его приезде они настойчиво расспрашивали об обстоятельствах моего пребывания у него. Не найдя на хуторе у брата ни клочка писанной бумаги и даже чернил в засохшей чернильнице, они расспрашивали, где он держит свою переписку, и он самым серьезным образом повел любопытных следователей за деревянный сарай, где, показав клочки грязной бумаги, предоставил им разыскивать среди них «корни и нити» революции. Замечательно, что и семья моего брата и служащая у него прислуга не заикнулись о моей поездке в Сорочинцы, — что, вероятно, объясняется возмущением, какое произвело на них грубое и дикое поведение незваных гостей.

XI

От ст. Мерефа я прямо направился к месту своего будущего поселения у Сильвёрстова, до ст. Поныры Моск.-Курской ж. дор. От этой станции имение, арендуемое Сильвёрстовым, находилось приблизительно в 10 километрах, в пределах Малоархангельского уезда Орловской губ.

Приятель по Полтаве члена нашего кружка А. Ф. Таксиса, Сильвёрстов занимал в Полтаве амплуа адвоката. Точно не знаю, был ли он присяжный поверенный или частный, так как мне осталось неизвестным, имел ли Сильвёрстов университетский диплом; но адвокат он был выдающийся в городе, обладая исключительным даром слова. Беда его была в том, что он злоупотреблял своим талантом и был падок на остроумные выпады по адресу влиятельных лиц. Губернатором в Полтаве был в то время бюрократ-самодур Александр Павлович Волков, не стеснявший себя требованиями законности, и по козням обиженных Сильвёрстовым лиц он, как мне передавали, административным порядком выслал его из пределов губернии. Этот удар не повредил Сильвёрстову. Напротив того, переселившись в Саратов, он,

не изменив своих повадок, приобрел там вскоре еще большую популярность, чем в Полтаве, но достиг такого же результата: его выслали также из Саратова, кажется, под гласный надзор полиции с определением места жительства в Орловской губернии. Относительно, впрочем, его поднадзорности я не уверен, так как, сколько помнится, никаких признаков явного надзора, а также ограничения права передвижения я за все время моего пребывания в его доме не наблюдал. Во всяком случае обширная его полтавская и саратовская адвокатская клиентура очень сократилась. Он снял в аренду небольшое имение, в 200 — 300 гектаров, с небольшой усадьбой, где дилетантски хозяйничал, а при случае занимался адвокатурой по некрупным делам в камерах окрестных мировых судей.

Семья его состояла из молоденькой жены, довольно невзрачной блондинки, в него влюбленной, и из молоденькой 20-или 22-летней сестры, краснощекой, жизнерадостной деревенской красавицы.

Стесняясь своим положением нахлебника, я, поселившись у Сильвёрстова, просил его дать мне какое-нибудь назначение, которым бы я мог отплатить за его гостеприимство, но он успокаивал меня уверением, что моя жизнь вовсе не обременяет его излишними расходами, и он рад оказать услугу революционной партии, хотя официально к ней не принадлежит.

Поселившись у деревенского адвоката, я мечтал, что это положение облегчит мне возможность вести среди сельского населения социалистическую пропаганду. Но должен откровенно признаться, что мне эта пропаганда совершенно не давалась. Клиенты деревенского адвоката сплошь принадлежали к породе твердокаменных кулаков-эгоистов, придерживавшихся принципа homo homini lupus est; было смешно обращаться к ним с проповедью альтруизма. А что касается местного сельского населения, то мои неудачи объясняются отчасти отрицательным отношением местных крестьян ко всем обитателям барского дома, из которого они исторически усвоили правило не ждать никакого добра. Отчасти, конечно, тут играло некоторую роль и мое неумение подойти к населению надлежащим образом, вызвать в нем доверие и симпатии к себе. Я, например, не мог отрешиться от усвоенной с юности привычки обращаться на «вы» ко всякому незнакомому, несмотря на его звание, что среди орловских крестьян вызывало какое-то недоразумение и непонимание. Но если мои попытки пропаганды не имели успеха ни среди местных крестьян, ни среди клиентов моего хозяина, то зато я мог похвастаться неожиданным успехом моей проповеди у жены моего

хозяина; она готова была сделаться яростной пропагандисткой и революционеркой, что, повидимому, не особенно нравилось ее супругу, несмотря на то, что он себя выдавал за сочувствующего социалистическим идеям.

У Сильвёрстова я прожил всего два-три месяца. Под видом письмоводителя я ездил с ним и с экспертами и понятыми в соседний Ливенский уезд по интересному делу о подтопе водяной мельницы на реке Сосне. Эта небольшая речка с довольно медленным течением преграждена была большим числом плотин, задерживающих воду, как моторную силу для мельничных колес. Мельницы же расположены были в столь близком друг от друга расстоянии, что поднятие плотины даже на один вершок вызывало подтоп верхней мельницы, наносящий большие убытки. Показания свидетелей, ссылки на исторические факты и мнения экспертов представляли большой бытовой и юридический интерес.

В другой раз я ездил с ним в соседний, кажется, Кромский уезд, в село, где в нескольких прудах берет свое начало судоходная Ока.

Наиболее однако интересно для меня было мое участие в экономическом исследовании продовольственных потребностей местного крестьянского населения. В тот год крестьяне некоторых уездов Орловской губернии переживали тяжелый экономический кризис вследствие полного неурожая предыдущего года. Земское собрание назначило из продовольственных сумм выдачу пособий нуждающимся крестьянам, причем распределение пособий возлагало на живущих в уезде интеллигентных лиц—помещиков, священников и т. п. Между прочим, такая выдача в двух-трех соседних посёлках была поручена и Сильвёрстову. Я, конечно, охотно помогал ему в этом деле. Благодаря такому сотрудничеству я накопил немало драгоценных сведений о Малоархангельском и соседних с ним уездах Орловской губернии и ознакомился со многими своеобразными явлениями местной экономической жизни, что послужило мне впоследствии в Лондоне материалом для обширной экономической статьи в периодическом издании «Вперед!».

В начале моего пребывания у Сильвёрстова мои отношения с ним были более или менее дружелюбны, но чем более я вникал в обстоятельства жизни моего хозяина, тем труднее мне было удержаться на принятом мною безразличии. Многое в его отношениях и к своим клиентам, и к рабочим в своем хозяйстве, и к крестьянам-соседям мне не нравилось, и я с трудом удерживался, чтобы не реагировать на его поведение. Выдавая себя за наро-

долюбца, он не упускал, однако, случая поэксплоатировать народную нужду в свою пользу. Между прочим, я из его же рассказов узнал, что в течение последней зимы он занялся скупкою скота у нуждающихся крестьян. Недостаток кормов к концу зимы оказался там настолько велик, что масса крестьян вынуждена была продавать свой скот за бесценок, например, по три, по пяти рублей за лошадь. Сильвёрстов покупал этих лошадей, убивал их, продавал шкуры на кожевенные заводы, а мясо вываривал в котлах и скармливал свиньям.

Случайно я заглянул в запущенный сарай в саду и увидел кучу конских костей на несколько железнодорожных вагонов, оставшихся от его операций. По количеству костей можно полагать, что им убита была не одна сотня лошадей, составлявших необходимую принадлежность всякого и даже беднейшего домохозяина. При мне приезжали к нему скупщики свиного сала, которые, как обстоятельство, понижающее цену покупаемого товара, выставляли нежелание крестьян потреблять продукт, произведенный таким «безбожным» способом. Меня возмущала такая эксплоатация народного горя в пользу личного обогащения, и на этой почве, а также на почве неудовольствия моими проповедями в беседах с его женой, создалось у меня желание переехать в другое место.

В виду моего нелегального положения я затруднен был в выборе места для моего нового поселения. Поэтому я решил съездить переговорить о дальнейшем моем образе действий на станцию Нарышкино Орловско-Брянской жел. дороги, к членам нашего кружка, доктору Иванову и его жене, которая, как уроженка Полтавы, хорошо была знакома с Сильвёрстовым. Попросив лошадей у Сильвёрстова, я выехал на станцию Поныры и сел в поезд, идущий на Орел. Заняв свободную скамейку в вагоне III класса, я обратил внимание на сидевшего неподалеку от меня молодого человека 23 — 24 лет, настойчиво меня рассматривавшего. Меня поразил его наряд: старая, изношенная, очень грязная парусиновая пара, такой же грязный картуз и грязные нечищенные сапоги, желтые голенища которых выглядывали изпод засученной одной штанины.

Пристальный его взгляд, несмотря на его улыбку, несколько меня смутил; я вспомнил о своем балахоне, придававшем мне «подозрительный» облик, о своем фальшивом паспорте и о существовании полицейских шпионов, которых нужно остерегаться.

Каково же было мое дальнейшее удивление, когда этот заподозренный мною «шпион» неожиданно поднялся с своего ме-

ста и прямо направился ко мне; усевшись рядом со мною, он вдруг негромко спросил меня: «Ведь вы такой-то?» и назвал меня моей настоящей фамилией. Конечно, отрицать мне своей фамилии не приходилось, и я сказал только, что его не помню. «Я Лизогуб, Дмитрий Андреевич; и с вами встречался в Киеве на квартире Колодкевича.» Действительно, как упомянуто выше, несколько месяцев тому назад я завозил в Киев к Колодкевичу лондонские издания и застал на его квартире несколько молодых людей, в том числе Лизогуба, внешность которого у меня в памяти не сохранилась. Мы, конечно, разговорились; он объяснил мне, что едет в Елецкий (или Ливенский?) уезд продавать на выруб принадлежащий ему там лес.

Я слыхал, что Лизогуб очень состоятельный помещик, жертвующий большие средства на революцию, но мне показалось чрезвычайно странным, что он ехал совершать крупную финансовую операцию в том «босяцком», или, как теперь говорят, «хулиганском» костюме, в каком я его застал в вагоне, что, на мой взгляд, не могло содействовать удаче его финансовой операции.

Из дальнейших разговоров оказалось, что Лизогубу, как и мне, предстояла в Орле пересадка в другой поезд, причем мне предстояло просидеть в Орле до отхода брянского поезда более трех часов, а ему до отхода поезда в гор. Елец, кажется, пять часов.

Ни у меня, ни у него не было никакого багажа. Выйдя из вагона в Орле, Лизогуб предложил в ожидании наших поездов пройти погулять в город. Я находил не особенно благоразумным демонстрировать в губернском городе его хулиганский костюм на ряду с упоминавшимся уже раньше моим несуразным балахоном, принимая во внимание мое нелегальное положение и его нелегальное предприятие; но тем не менее, чтобы не обидеть Лизогуба отказом в компании и не выказать избытка осторожности, я согласился на прогулку. Мы направились к центру города, перешли мост, двинулись по главной улице и вышли на городской выгон, на обрывистый берег Оки. Здесь среди неглубоких оврагов и пустырей возвышается окруженное высокой стеной огромное здание городской тюрьмы.

— Вот и кстати, — заметил Лизогуб, — посмотрим здание острога. Может быть, кому-либо из нас придется здесь сидеть; не мешает поэтому ознакомиться с условиями местности на случай побега.

Меня вновь поразил ход мыслей моего собеседника. Вспоминая затем его печальную участь, я не мог не разделять мнений тех, кто утверждал бесконечную жестокость, нелогичность и да-

же «юридическую» несправедливость и нецелесообразность приговора, повлекшего его на виселицу.

Мы серьезным образом обошли кругом орловскую тюрьму, а затем направились на изучение расположения оврагов, постепенно спускавшихся к реке. Окончив это занятие, мы поспешили на вокзал, чтобы не прозевать поезда.

Эта случайная и краткая встреча с единственным в своем роде революционером-романтиком по своей яркой красочности резко запечатлелась в моей памяти, и я очень сетую, что не умею передать другим свои ощущения.

В Нарышкине (третья станция от Орла) супруги Ивановы занимали удобное помещение в прекрасно оборудованной земской больничке. Вследствие тяжкой болезни самого Иванова его медицинские обязанности исполняла его жена, Евгения Михайловна, входившая, как я уже говорил, в состав первого выпуска «женщин-врачей» в России. Она приняла живое участие в моих злоключениях. На другой день в Нарышкино неожиданно приехал сам Сильвёрстов с контр-жалобами на меня. Произошло несколько тяжелых сцен, вспоминать которые неохота. Евгения Михайловна сумела утихомирить спорщиков и внешним образом нас примирить.

Внешним признаком этого примирения с моей стороны было мое возвращение в усадьбу Сильвёрстова на один день за своим имуществом, а с его стороны — дружеские проводы меня на станцию Поныры на только-что приобретенной им тройке бойких вяток. Из Поныреи я уже прямо направился в Питер. Так бесславно закончился мой опыт «хождения в народ», как я иронически сам называл мою попытку «опроститься», поселиться в деревне и сойтись с сельским населением в Великороссии.

XII

В Петербурге немедленно по моем приезде возник вопрос, как можно наиболее удобным и производительным образом использовать меня и мои силы для интересов кружка при моем нелегальном положении, которое на каждом шагу будет неизбежно стеснять меня в свободе передвижения и в способах добывания себе средств существования. Возникла мысль, что наилучшим выходом из затруднения была бы моя отправка за границу, в Лондон, в помощь группе, издававшей там журнал «Вперед!», тем более, что с переходом этого издания на двухнедельный периодический орган лондонская группа сотрудников журнала испытывала острый недостаток в литературных силах.

Сомневаться в моей пригодности для этого дела товарищи мои не имели основания, так как я уже поместил в журнале «Вперед!» две большие статьи и несколько мелких заметок и корреспонденций, да и в Петербурге принимал некоторое, хоть и случайное, участие в нескольких журналах.

Было написано письмо нашему сотруднику по контрабандным делам на прусской границе Зунделевичу, и вскоре получен был от него ответ, извещавший, что он договорил знакомого контрабандиста перевести меня через границу всего за десять рублей, с подробной инструкцией о способе моей встречи с ним.

Согласно этой инструкции в назначенный день я выехал в Вержболово, но на предпоследней перед границей станции — Вильковишки (или Пильвишки?) — вышел из поезда на платформу. Немедленно ко мне подбежал пожилой еврей, узнавший меня по данным ему приметам, выхватил у меня из рук мой дорожный мешок и со словами: «Я за вами приехал» посадил меня в тележку, запряженную парой заморенных кляч. Было ранее утро, и мы часа через полтора или два добрались до какого-то довольно крупного пограничного поселения, — повидимому, уездного города Сувалкской губернии Владиславова. Остановившись у второго дома от околицы, мой возница ввел меня в свой дом и оставил в маленькой комнате с одним окошком, выходившим на огород. Через несколько минут ко мне в комнатку вошла пожилая еврейка и приветливо спросила: «Вы, вероятно, ничего не ели с утра и голодны; позвольте, я вам предложу стакан кофе». И, действительно, принесла мне стакан настоящего горячего кофе со сливками, с большим куском белого хлеба и маслом. Вскоре пришел мой возница и спросил, нет ли в моем дорожном мешке чего-либо запрещенного или оплачиваемого на таможне, так как для большего удобства он этот мешок перенесет явным порядком через кордон и передаст его мне уже по ту сторону границы.

Затем он прибавил, что пришлет ко мне своего сына и просит меня во всем довериться последнему. Действительно, вскоре ко мне явился молодой еврей, лет 17—18, и предложил следовать за ним.

Мы вышли за околицу и, как бы прогуливаясь, пошли не спеша через поле по направлению к рощице, расположенной в расстоянии 1½—2 килом. от местечка. Пройдя немного лесом, мы вышли на противоположную опушку, вдоль которой протекала небольшая речка.

— Не выкупаться ли нам? — спросил мой Виргилий, улыбаясь и опускаясь на песчаный берег речки. — Впрочем, — при-

бавил он,—нет надобности раздеваться вполне; вода тут неглубокая,—и стал снимать сапоги и брюки, пригласив к этому же меня. Сняв таким образом часть одежды и захватив ее под мышку, мы двинулись в брод через речку, шириною не более 12—16 метров и глубиною менее метра. Перейдя речку, мы оделись и взобрались на более крутой противоположный берег, возвышавшийся над рекой на три-четыре метра.

— Поздравляю вас, — заявил мой проводник, — мы теперь уже в Пруссии.

Таким простым и незамысловатым способом я совершил свой нелегальный переход через границу.

Пройдя полем один или два килом., мы вошли в пограничное германское местечко, названия коего не помню. Молодой еврей провел меня в какой-то сад, спускавшийся к пограничной речке, и предложил мне отдохнуть под деревом на траве, пока он приведет хозяина. Я попросил его добыть мне добрый стаканчик водки, так как я несколько продрог от оригинального купанья, несмотря на то, что был конец июля или начало августа нового стиля и погода стояла дивная. Через несколько минут мой проводник вернулся с моим багажом и стаканом водки и привел хозяина сада, латыша, с которым пришлось говорить по-немецки. Последний за определенную плату, не помню точно какую, взялся доставить меня на железнодорожную станцию, кажется, Сталупенен, так как везти меня на пограничную станцию Эйдкунен, где кишат русские жандармы и шпионы, было не безопасно.

Затем я спросил у переводившего меня через границу молодого еврея, что мне следует уплатить.

— Десят рублей, как было условлено, — ответил он мне.

— Это плата за переход через границу, — сказал я ему. — А еще приходится заплатить за проезд от станции до вашего местечка.

— Проезд со станции входит в условленную плату, — ответил он.

— А за кофе, которым угощала меня ваша матушка, и за водку, которую вы мне тут достали, следует что-нибудь? — спросил я его.

— За кофе ничего не причитается, — возразил он, слегка, кажется, даже обидевшись,—вы были гостем в нашем доме; а за водку уплатите здешнему хозяину.

Я очень был тронут таким бескорыстием профессионального контрабандиста и упросил его в конце концов взять лично для себя один рубль за свои хлопоты.

Несмотря на такую относительную дешевизну моего переезда через границу, я тем не менее был настолько слабо обеспечен деньгами для совершения длинного переезда до Лондона, что взял до Берлина билет даже не в III, а в IV классе, который установлен в Пруссии для восточных железнодорожных линий среди убогого и некультурного славянского и латышского населения. Пришлось мне более суток промучиться в вагоне в роде тех, которые циркулируют и на русских линиях с красноречивою надписью: «8 лошадей или 40 человек», в вагоне без всякой мебели, с двумя маленькими окошечками под самой крышей вагона.

Из Берлина я уже поехал не в IV, а в III классе, но по поручению из Петербурга направился не прямо в Лондон, а по пути заехал в Берн и Женеву, чтобы повидаться там с Н. И. Зибером и М. П. Драгомановым и попытаться привлечь их к сотрудничеству в журнале «Вперед!».

В Берне я прямо с вокзала отправился на квартиру к Зиберу. Он жил в меблированных комнатах от хозяйки, вместе с женою и сестрою жены, Шумовой, слушавшими лекции медицины в Бернском университете. У них в квартире была одна общая комната, в которой Зибер и предложил мне переночевать.

Шумова, впоследствии вышедшая замуж за профессора Симановского в Петербурге, в то время уже кончила выпускные экзамены и готовила свою докторскую диссертацию. Для характеристики условий, в каких приходилось работать за границей русским студенткам, считаю не лишним рассказать нижеследующее: Шумова для своей диссертации, под секретом от немецкой хозяйки, производила опыты над морскими свинками. И вот, приходилось изыскивать ей способ, как секретно избавиться от трупика умершей во время ее опытов морской свинки. Решено было бросить этот трупик в волны быстро текущей реки Аар, но надо было сделать это так, чтобы никто не увидел этого и не заподозрил девицу в сокрытии в водах Аара последствий своего «преступного» поведения. Поэтому мы дождались темной ночи и отправились в похоронную экспедицию со всеми военными предосторожностями по направлению к большому мосту, переброшенному через Аар на высоте 40—60 метров над водой. Впереди шел сам Зибер, затем на некотором расстоянии от него шли обе студентки, неся трупик свинки в дамской рабочей корзинке, а позади них, на некотором расстоянии, замыкал шествие я. Мы оба в качестве наблюдателей должны были дать знать, если бы на мосту оказались посторонние лица, и только обеспе-

чив отсутствие свидетелей, Шумова решилась бросить жертву своих опытов в воды текущей в темной глубине реки Аар.

К сожалению, мне не удалось убедить Зибера сотрудничать в журнале «Вперед!», — он отговаривался недостатком времени и обилием научных работ, уже начатых им и требовавших окончания.

Из Берна я поехал в Женеву, где остановился у М. П. Драгоманова, известного украинского деятеля и блестящего русского публициста. Мои старания в Женеве оказались не более успешными. Драгоманов выражал полное сочувствие деятельности Лаврова, но заявил, что он слишком обременен работами по украинским делам и не может ничего обещать.

Приезд мой в Женеву совпал как раз с открытием конгресса Юрской федерации Интернационала в городе Chaux-de-Fonds (Шо-де-Фон), в Невшательском кантоне. Из Женевы я проехал в Шо-де-Фон, где между прочим познакомился с одним из главарей федерации, французским социалистом Полем Бруссом, с которым имел беседу о положении партии во Франции. Оттуда, не останавливаясь в Париже, я проехал в Лондон.

В Лондоне ко мне навстречу на станцию London-Bridge выехал В. Н. Смирнов и, забрав мой несложный багаж, повез меня через весь город на северную окраину Лондона в извозчичьем кэбе, в оригинальном лондонском двухколесном экипаже, в котором кучер сидит позади пассажира и правит лошадью поверх головы этого пассажира. Не зная английского языка, я сам, вероятно, не скоро добрался бы до местопребывания редакции «Вперед!», которая помещалась в северной, возвышенной части города, носящей название Holloway, вблизи Tollington Park'a, на улице Evershot road, в доме № 3.

Смирнов, еще садясь со мною в кэб, а Лавров тотчас по моем приезде в дом редакции, набросились на меня с вопросом, много ли я привез денег, на что я мог им показать только мой кошелек с несколькими мелкими серебряными монетами, оставшимися от моих путевых расходов, да и то только потому, что в Берне, Женеве и Шо-де-Фоне я не заезжал в гостиницы.

На это лондонцы мне возражали, что они с нетерпением ждали моего приезда, надеясь, что я привезу те деньги, которые они ожидали из Петербурга для уплаты долгов, запущенных ими за квартиру, за печатание газеты и во все окружающие лавочки. Они были возмущены тем, что я даже не мог дать им никаких объяснений по денежному вопросу, так как, будучи в последнее время в постоянных разъездах, я не имел никакого представления о положении материальных дел кружка.

Особенно был этим огорчен и даже, можно сказать, возмущен Петр Лаврович, так как он был фактически и считался юридически ответственным главой русской колонии с ее издательской деятельностью, а следовательно, и ответственным лицом по долгам колонии и редакции.

— Вы хотите опозорить мое имя. Я дождусь, что меня за долги посадят в тюрьму. В Англии на эти случаи законы строги, и нашу славянскую безалаберность не признают.

Таким образом, впечатления, вынесенные мною на первых порах моего приезда, были не из особенно приятных, тем более, что я не чувствовал себя виноватым в создавшемся недоразумении. Кроме того, я не мог удовлетворить любопытства лондонцев и по всем другим вопросам, кроме денежных, и необходимо было, чтобы прошло более или менее продолжительное время, пока эти недоразумения первой встречи не улеглись. Только когда получены были, наконец, ожидаемые из Петербурга деньги и письменные ответы по текущим вопросам редакции, наши отношения выравнялись, и восстановилось то взаимное доброжелательство, которое создалось в последние дни моего пребывания в Цюрихе, особенно с В. Н. Смирновым и Р. Х. Идельсон.

Постепенно я познакомился с положением дел в Лондоне. Все участники издания «Вперед!», от редактора до наборщика, составляли одну общую коммуну, сосредоточенную в этом доме.

Кроме редактора Лаврова и его литературного сотрудника Смирнова, в эту колонию входили еще нижеследующие лица:

Александр Логгинович Линев заведывал технической частью издания. Исполняя оязанности метранпажа в типографии, он принимал на себя и разрешение всех других технических вопросов, как человек, обладавший элементарными техническими знаниями, практической сметкой и достаточным знакомством с английским языком.

Остальные члены колонии исполняли обязанности наборщиков. Самым старым из них, который переехал из Цюриха в Лондон вместе со всею редакцией, был Лазарь Гольденберг[120], очень скромный, усердный и преданный делу работник. Он состоял в личной дружбе с Линевым; с ним я как-то совсем не входил в близкие отношения и мало, что могу о нем сказать. Кажется, что по прекращении издания «Вперед!» он уехал в Северную Америку, где и умер в глубокой старости в годы империалистической войны или же вскоре по ее окончании. В русских газетах были помещены его краткие некрологи.

Другой наборщик, о котором я могу сообщить еще меньше сведений, был мужчина средних лет, высокого роста, интелли-

гентного облика, носивший кличку «Ивана Ивановича», хотя, кажется, его имя и отчество было Николай Григорьевич, так как он иногда невольно откликался, когда при нем произносили мое имя — Николай Григорьевич. Фамилии его я так и не узнал; говорили, что он инженер по образованию. Что с ним произошло после закрытия журнала, я совершенно не помню.

В дружеские отношения я с первых шагов вошел с Михаилом Ивановичем Янцыным, который жил в Лондоне под кличкою «Капитан». Это был человек высоких душевных качеств, исключительной честности, усердный работник и поклонник принципов товарищеской солидарности. Насколько мне известны были отдельные факты его биографии, он с малых лет был отдан в приготовительное (сиротское) отделение Александровского военного училища в Москве, из которого вышел офицером в артиллерию и поступил на службу в Туркестан. В 1873 году он участвовал в Хивинском походе генерала Кауфмана. После покорения Хивы он был командирован в Петербург, где собирался поступить в Артиллерийскую академию, сулившую ему, как заслуженному боевому офицеру, блестящую карьеру. Но в Петербурге он попал в радикальные кружки, которые быстро изменили его мировоззрение. Как человек дела, а не слова, он немедленно вышел в отставку и поехал в Лондон служить делу журнала «Вперед!» в качестве усердного наборщика и бескорыстного товарища.

Сообщаю вкратце дальнейшую его судьбу. По закрытии журнала он вернулся в Петербург, остался членом вперодовского кружка и, не будучи никем заподозрен, мирно служил на небольших должностях в петербургских кредитных учреждениях. Соскучившись на этой монотонной работе, не имевшей никакого идейного смысла, он взял заграничный паспорт и уехал в Северо-Американские Соединенные Штаты, где в течение около десяти лет зарабатывал свой хлеб в качестве рабочего на патронном заводе и в других подобных предприятиях, а также и наборщиком в типографиях разных городов. Пробовал он даже безуспешно работать на золотых приисках в Калифорнии. Как человек симпатичный, он завел в некоторых штатах много знакомых и друзей, исключительно с передовым образом мыслей. Между прочим он сблизился с известным американским писателем Кеннаном, прославившимся разоблачениями поведения русского царского правительства в борьбе с русскими социалистами-революционерами на каторге, в тюрьмах и в ссылке, в Сибири. Испытав после десятилетнего отсутствия из России тоску по родине, он вернулся в Петербург, женился на француженке, вос-

питанной в России, и занимал ответственные места кассира или его помощника в банковских учреждениях. Не порывая сношений со своими американскими друзьями, он получил приглашение переехать в Северную Америку и заняться распространением американских сельскохозяйственных машин в России, но до выезда в Америку тяжело заболел и умер в Петербурге в 1919 г.

Еще застал я в Лондоне одного очень симпатичного наборщика, Якова Васильевича Вощакина, биография коего настолько оригинальна, что заслуживала бы более подробного изложения. После его смерти, около 1910 г., я написал довольно подробную его биографию с целью поместить в наших исторических журналах; ожидал лишь получения некоторых дополнительных сведений о последних годах его жизни в Твери, но, к сожалению, не дождавшись их, в годы революции затерял где-то рукопись. Вкратце его биография следующая. Родившись в конце 40-х годов в семье состоятельного купца-старообрядца в Елисаветграде, он в раннем возрасте пристрастился к чтению не только богословских, но и светских книг. Заинтересовавшись купленной у местного букиниста математической книжкой на французском языке, он для ее прочтения научился французскому языку по самоучителю. Достигнув юношеского возраста 17—18 лет, он задумал для дальнейшего ознакомления с науками поступить в университет, минуя среднюю школу. К этому времени преследования «раскольников» местною администрациею вконец разорили его отца; он тогда оставил семью и уехал в 60-х годах в Киев, где добывал средства существования репетициями, подготовляя вместе с тем и себя к экзамену на аттестат зрелости. Когда мы с ним встретились в Лондоне и обменялись воспоминаниями, то оказалось, что я, будучи студентом Киевского университета, нередко обедал у некоей пани Пилецкой, у которой Яков Васильевич имел стол и квартиру за уроки и репетиции ее детям, и, значит, наверное, я тогда встречался с ним, не предвидя нашей будущей встречи в Лондоне на поприще общей революционной деятельности. Мечтам его об университетском образовании не суждено было осуществиться, так как среди экзаменов он заболел тифом и вернулся на родину.

Оправившись от болезни, он уехал в Одессу в поисках работы. Там он поступил кочегаром на пароход Русского общества пароходства и торговли («Ропит») «Корнилов» (или, может быть, «Чихачев»), совершавший правильные рейсы из Одессы в Марсель и Лондон. В одну из поездок между командой парохода и начальством возникли крупные пререкания, в которых он принял горячее участие. Вследствие этого, опасаясь ре-

прессий по возвращении на родину, он в Лондоне сбежал с парохода и таким образом стал беспаспортным эмигрантом. Ему пришлось служить кочегаром преимущественно на английских судах, с которыми он побывал во многих странах Европы, Америки и Азии, в том числе в Китае и Японии. В этих скитаниях у него обнаружилось и раньше замеченное дарование к языкам. Он умел читать и мог легко объясняться с жителями всех стран, им посещенных, так что вполне заслуживал название «полиглота». Боюсь ошибиться, но, кажется, он более или менее свободно читал и объяснялся чуть ли не на 15 языках. Тяжелая служба в кочегарах расстроила его здоровье, он нажил себе грыжу и другие болезни и, наверное, скоро погиб бы, если бы случайно от встреченных им русских матросов в лондонских доках не узнал, что в Лондоне имеется группа русских, издающих революционный журнал, распространяемый при посредстве этих матросов в России.

Заручившись адресом, Вощакин явился в редакцию журнала «Вперед!» и предложил свои услуги в качестве наборщика. Он оказался толковым и усердным работником с революционным темпераментом и прекрасным товарищем.

По закрытии журнала «Вперед!» он некоторое время пытался снова работать в качестве кочегара на английских пароходах, но плохое здоровье вынудило его бросить это занятие. Добыв английский паспорт на чужое имя, он приехал в Петербург и некоторое время, при хорошем знании английского языка, он успешно выдавал себя за английского рабочего. В виду, однако, опасности, сопряженной с этим самозванством, он решился заявить себя на родине в Елисаветграде в качестве вернувшегося из «безвестной» отлучки. Мещанская управа, заметив в списках большую числившуюся на его имени недоимку, потребовала уплаты этой недоимки и, не вдаваясь в исследования прошлого своего недоимщика, выдала ему законный паспорт.

Вернувшись в Петербург, Вощакин работал на петербургских фабриках и заводах, выдавая себя за старообрядческого начетчика, и под этой личиной усиленно занимался революционной пропагандой.

Далее в этих же записках мне придется упомянуть, как он, придя однажды ко мне вечером, наткнулся на обыск, но благополучно выкрутился от преследования под этою личиною любознательного богоискателя. При содействии члена нашего кружка Д. И. Рихтера он получил место наборщика в типографии тверского губернского земства, где вскоре занял место заведывающего земской типографией. Он пользовался среди тверских зем-

цев большим уважением и особенно выделялся любовью и покровительством всех детей низших земских служащих и соседей, что особенно оттеняет благородство и сердечность его натуры. Долгая жизнь среди тяжелых условий сказалась на старости его лет, и вследствие дряхлости он был помещен в земскую богадельню в селе Бурашеве, где и скончался в полном одиночестве.

Был еще один наборщик, Аарон Либерман[121], виленский уроженец, ученый талмудист, который пробыл в нашей колонии не особенно долго и затем уехал — сначала, кажется, в Вену, где пропагандировал, говорили, сионизм, а затем переселился в Северную Америку, сотрудничал в анархических изданиях немецкого эмигранта Моста и, по слухам, кончил жизнь самоубийством. Впрочем, за точность этого сообщения не ручаюсь; помню все это довольно смутно.

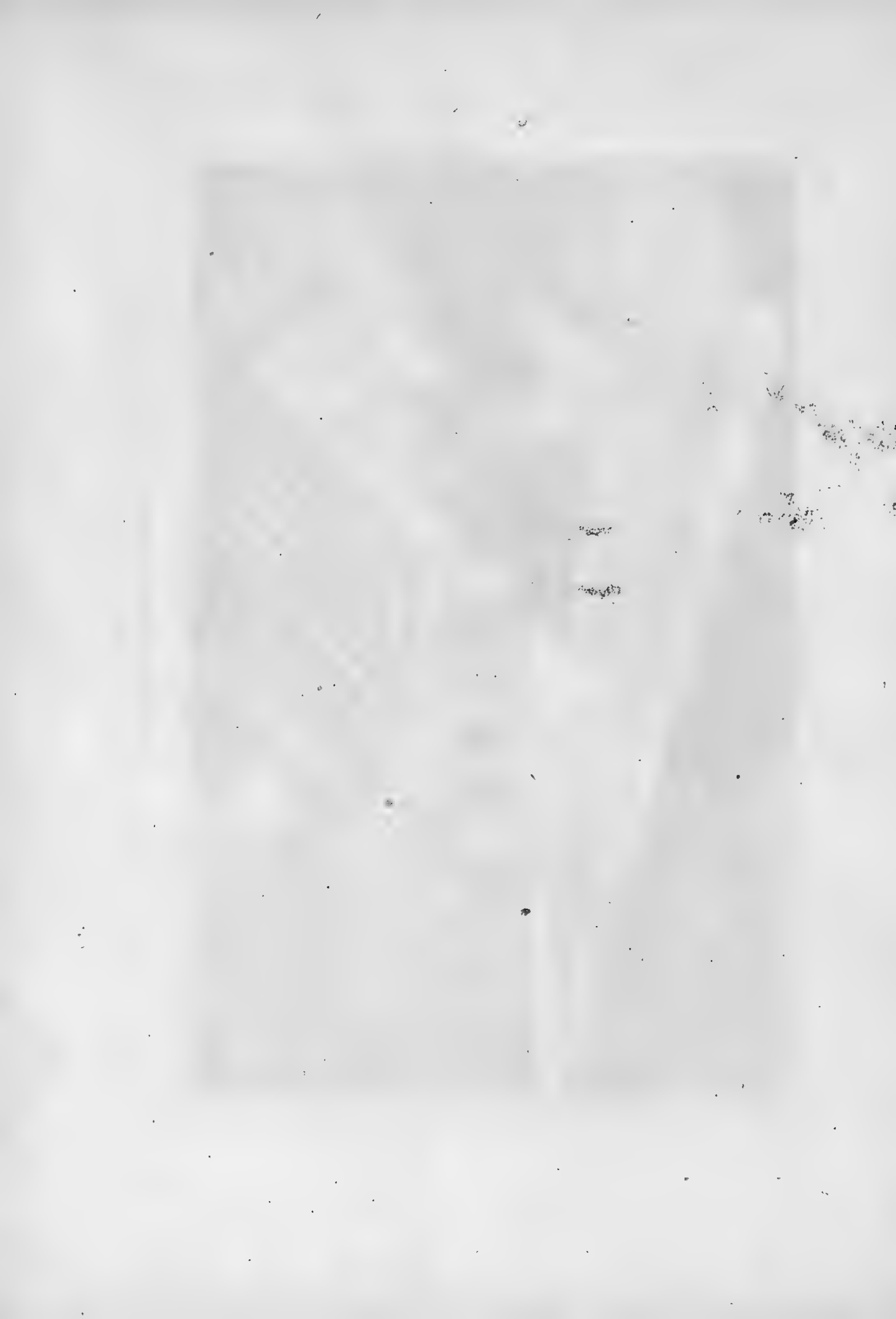
В первые годы издания журнала «Вперед!» в его типографии работала еще молодая девушка Переяславцева. Вместе с сестрою она выехала из России за границу с целью получения высшего образования в университете. Когда русским правительством издан был приказ русским цюрихским студентам оставить Цюрих под страхом ответственности, то ее старшая сестра подчинилась этому распоряжению, переехала в другой университетский город и, получив диплом доктора зоологии, вернулась в Россию, где скоро заняла место заведывающей Черноморской биологической станцией в Севастополе. Младшая же ее сестра, уже скомпрометированная открытым участием в революционном издании, решилась остаться за границей и вместе со всей редакцией журнала «Вперед!» переехала из Цюриха в Лондон. Там она вскоре умерла от туберкулеза легких. Я не застал уже ее в живых, и мне рассказывали, что смерть ее причинила лондонской колонии некоторые неприятности. Так как Смирнов был достаточно сведущ в медицине, хотя и не имел врачебного диплома, то он и пользовал больную до самой ее смерти, не позаботившись пригласить официального английского врача. По этому поводу Лавров и Смирнов призывались к ответу перед Большим съездом присяжных, где давали показания под присягой, причем суд в этом формальном упущении их оправдал.

Некоторые из членов коммуны носили особые клички. Так Смирнов назывался доктором Ивиным и мистером Ноэль, хотя чаще фигурировал под своей настоящей фамилией; «Капитан» звался также мистером Red. Меня обычно в кругу своих называли Николаем Григорьевичем, официально же меня Смирнов в первый день по приезде окрестил именем Robert Dale (Дель),



П. Л. Лавров в типографии журнала «Вперед!»

Наборщики (слева направо): Я. В. Вощакин, А. Л. Линев и Л. Гольденберг



и под этим псевдонимом я получал по почте простые и заказные письма и даже крупные денежные суммы.

Я уже сообщил, что все участники издания «Вперед!» жили общей коммуной на улице Evershotroad. Эта улица на Северной окраине Лондона была вся сплошь застроена четырехъэтажными домиками по два окна в фасаде, по образцу, очень распространенному в Англии, где каждая квартира занимает все этажи дома с одним общим парадным ходом на улицу. В этом доме в нижнем полуэтаже, расположенном на один метр или несколько более (семь-восемь ступенек) ниже улицы, с особым черным ходом под крыльцом, имелись две комнаты: кухня, окнами в садик, и столовая, с окном на улицу. На втором этаже помещались: с улицы — приемная (parlour), а окнами в садик — кабинет и вместе спальная Лаврова, заставленная до самого потолка книгами. В следующем этаже со стороны сада находилась комната Смирнова, в которой останавливалась и жена Смирнова, Розалия Христофоровна, слушательница медицинского факультета Бернского университета, во время своих частых приездов в Англию; вторую комнату этого этажа и обе комнаты четвертого этажа занимали Линев и все наборщики типографии, по два человека в каждой. Меня поселили в одной комнате с «Капитаном», с тем, что одна из остальных комнат предназначалась уже для трех жильцов.

Общею прислугою была немолодая, лет за тридцать, очень исполнительная и опрятная немка, Гертруда, которая заведывала кухней и убирала два нижних этажа; верхние же этажи убирались самими жильцами. Освещалась квартира газом; водопровод держал на одном постоянном уровне воду в цистерне, а печи отапливались коксом, который приходилось таскать в корзине по этажам из угольной ямы, помещавшейся под тротуаром. За провизией не приходилось ни ездить, ни ходить, так как все необходимое по предварительной записке доставлялось по утрам в изящном кабриолете из большого гастрономического и бакалейного магазина, расположенного на соседней большой улице и исполнявшего функции почтового отделения.

Распорядок жизни и занятий в коммуне был следующий.

Раньше всех просыпался обыкновенно Петр Лаврович и, накинув на себя халат и вставив ноги в черные бархатные дамские мягкие сапоги, садился за писание заказанной или обещанной статьи в один из русских журналов, рисковавших печатать его работы под разными менявшимися псевдонимами. Старик Лавров, настолько помнится, стеснялся даже во время усилен-

ных редакторских занятий в журнале «Вперед!» тратить собственные заработанные деньги на свои личные нужды.

Ровно в 8 часов утра Гертруда громким колоколом оповещала жильцов о том, что чай готов, и все жильцы спускались вниз в столовую, где проводили с полчаса времени в оживленной беседе за утренним чаем. В числе прочих спускался в столовую и Лавров, аккуратно сложив написанную часть статьи в определенное место.

После чая наборщики отправлялись работать в типографию, Смирнов и я уходили в свои комнаты для занятий литературною частью издания, а Петр Лаврович, вернувшись в свой кабинет, принимался за прерванную накануне работу по изготовлению передовой статьи для текущего номера «Вперед!» и занимался ею до второго звонка.

Часов в двенадцать или в час дня, хорошо не помню, Гертруда вновь звонила в колокол, созывая жильцов к завтраку в столовую, куда к тому времени приходили и наборщики из типографии.

После завтрака Лавров давал себе некоторый отдых за чтением писем, если таковые были, и газет, причем обыкновенно прочитывал ежедневно текущий номер английской газеты «Daily News». В редакции получалось огромное количество газет на многих языках, в том чиле и русские, и Лавров просматривал некоторые из них. Затем он писал письма и правил корректуру собственных статей, а затем некоторое время отдыхал, кажется, перед обедом.

К обеду, т. е. часам к шести, вновь по звонку, все собирались в столовой, после чего Лавров удалялся к себе в кабинет и до поздней ночи, с небольшим перерывом на вечерний чай, работал над любимой им «Историей мысли».

Я останавливаюсь так подробно на распорядке занятий П. Л. Лаврова, чтобы оттенить ту исключительную особенность умственной его организации, при которой он мог параллельно вести целый ряд работ, из которых каждая требовала сильного напряжения мыслительных способностей, легко разграничивая в своем мозгу друг от друга каждое из заготовленных логических суждений. Казалось, как-будто голова его представляла сложную мыслительную машину, в которой каждая работа занимала свое особое место, как каждая из отраслей наук в любом книжном шкафу. Приступая к каждой из этих работ, он вынимал как-будто бы из соответственного отделения последнее умозаключение предыдущего дня и без затруднения вел логически продолжение незаконченной ранее мысли.

Кроме очередной передовой статьи, Лавров обыкновенно помещал в каждом номере «Вперед!» еще отдельные статьи по текущим вопросам под специальными заглавиями, но ни одну из них не подписывал.

В. Н. Смирнов вел главным образом текущую хронику рабочего движения. В редакции получалось огромное число рабочих газет, главным образом издававшихся в Германии, но также и во всех почти других странах — в Австрии, Дании, Голландии, Бельгии, Англии, Франции, Италии и пр. Получалось, между прочим, и несколько славянских рабочих газет — из Галиции, Чехии и из Америки. По этим источникам Смирнов вел объективную, точную и подробную хронику всех событий, касающихся рабочего движения или рабочих интересов во всех странах. И можно сказать, что за время издания журнала «Вперед!», с конца 1872 г. до конца 1877 г., в издании «Вперед!» имеется наилучший и наиболее полный источник для описания хода рабочего движения во всех странах Западной Европы и Сев. Америки. Конечно, кроме рабочей хроники, Смирнов брал на себя также писание и некоторых других статей журнала, а также редактирование печатавшихся в нем корреспонденций и статей других сотрудников, разделяя эту последнюю работу с П. Л. Лавровым по соглашению с ним.

Со времени моего приезда в Лондон значительную часть этой последней работы, кроме ведения рабочей хроники, я взял на себя.

Типография или, вернее сказать, наборня помещалась в соседнем переулке, застроенном конюшнями и сараями, сдаваемыми в наем для помещения лошадей и экипажей квартирантов соседней улицы. Для надобности журнала нанят был поместительный сарай с верхним освещением, где под руководством Линева работало в разные времена до 4—6 и более наборщиков. Они приходили гурьбой в наборню после утреннего чая и в определенные часы возвращались домой на завтрак и обед, после чего были от работы свободны.

Набирался прежде всего двухнедельный журнал, а остающееся от этой работы свободное время посвящалось набору других непериодических изданий. Ко времени моего приезда набирался роман Н. Г. Чернышевского «Пролог пролога». Набранные гранки вправлялись в формы и на ручной тележке увозились двумя очередными наборщиками в центральную часть Лондона, на улицу Flitt street, в типографию газеты «Daily News», где отпечатывались, по договору Лаврова с редакцией газеты, а затем

отпечатанные листы отвозились обратно на той же тележке в Holloway.

А. Л. Линев, человек с большим практическим дарованием, умело руководил типографией и вообще исполнял все поручения и работы, требовавшие технических знаний и административной распорядительности. В общем вся колония работала с исключительным усердием и напряженностью. Впоследствии П. Л. Лавров печатно признавал, что, не имея Смирнова сотрудником по литературной части и Линева — по технической, он не мог бы успешно выполнить принятое обязательство по изданию журнала «Вперед!». В другом месте, говоря об усердии, с каким добровольно и самоотверженно работали наборщики в типографии этого журнала, он вспоминает, как один из наборщиков, носивший кличку «Капитана», провел за набором всю ночь до утра, чтобы окончить во-время срочную работу. В течение двух лет типография выпускала каждые 1-е и 15-е числа месяца последовательные номера периодического двухнедельного издания, и, по его словам, ни один из 48 номеров не опоздал с выходом даже на один день.

При сем прилагается оттиск фотографии, изображающий П. Л. Лаврова в помещении наборни среди технических его сотрудников: заведывающего типографией А. Л. Линева и наборщиков Я. В. Вощакина и Л. Гольденберга. Экземпляр этой фотографии был помещен Смирновым в архиве редакции «Вперед!», оставленном на руках французского гражданина Густава Броше, им был передан В. Бурцеву, который в 1907 (?) году вручил его мне при просьбе поместить мои мемуары в его журнале «Былое».

Вообще наша лондонская колония, ютившаяся «на высотах Голловея», скорее напоминала какой-нибудь монастырь, а не литературное или промышленное предприятие. Все, начиная с самого Лаврова, жили в высшей степени скромно, не позволяя себе никаких излишеств или развлечений. Почти за два года моего пребывания в Лондоне я был всего два раза в театре Alkambra по билету стоимостью в 1 шиллинг (50 коп.).

По субботам вечером мы отправлялись иногда в East-End (восточную часть Лондона), а именно на улицу White Chapel (Белая часовня) наблюдать, как лондонский рабочий люд проводит этот вечер. Так как, согласно священному предрассудку, огромное большинство англичан проводит воскресенье в мрачном безделии и молитвах, то вечер субботы отводится ими для развлечений, прогулок и необходимых в хозяйстве покупок. Промышленные заведения в субботу распускают своих рабочих на

два часа раньше, и вся масса тружеников с женами, детьми и домочадцами отправляется в бойкие пункты мелочной торговли и наивных народных увеселений. Среди этих пунктов White Chapel — одно из интереснейших. Это — прямая, длинная и широкая улица, окаймленная сплошными невзрачными двух-трехъэтажными маленькими домиками: верхние этажи этих домишек густо заселены бедняками, а фасады нижнего этажа заняты лавченками, торгующими предметами потребления лондонской бедноты.

В субботу вечером, ровно до двенадцати часов ночи, Уайтчепель переполнен посетителями. Заняты толпой мужчин, женщин и детей не только широкие тротуары, но и вся середина улицы, почти лишенная проезжих экипажей. Вдоль тротуаров сплошь располагаются мелкие торговцы ручным товаром, заставляя улицу передвижными рундуками, столиками, корзинами и т. п. Торговцы выкрикивают свои товары, переполняя речь прибаутками, шутками и подчас заводя оживленную перебранку. Все это шумит, кричит, а подчас и шарлатанит, соблазняя доверчивую публику дешевой ценой бракованных товаров, вовлекая наивных в азартные игры, лотереи и т. п.

Все окрестные улицы и переулочки заселены здесь самой отчаяной беднотой и по преимуществу недавними эмигрантами густо населенных частей континента Европы, особенно итльянцами, западными славянами и польскими и русскими евреями. Говорили, что тут имеются трущобы, напр., переулок Hound's Ditch (Собачья дыра), куда даже полицейские bobby не отваживаются заходить в одиночку. Между прочим, мне говорили, что в одной из прилегающих уличек русский еврей-эмигрант для удовлетворения привычек недавно переселившихся в Лондон своих компатриотов обзавелся единственной в Лондоне лавочкой, в которой торговал любимыми продуктами их далекой и бедной родины: черным ржаным хлебом, солеными огурцами и ржавыми солеными (а не маринованными) селедками.

Лавров почти вовсе никогда не выходил из дому. Изредка за какой-нибудь справкой отправлялся он в библиотеку Британского музея. Один раз вечером он собрался в гости к Карлу Марксу и приглашал меня итти с ним познакомиться с знаменитым председателем Центрального исполнительного комитета Интернационала. Но я, к стыду своему, не воспользовался этим исключительно благоприятным случаем, скажу прямо, из скромности или застенчивости. Вообще мне всегда претили всякого рода «смотрины» разных знаменитостей и «генералов», на каком бы поприще они ни заслужили свое генеральство. Из-за этой

застенчивости я упустил, например, случай познакомиться с А. И. Герценом, когда, в возрасте 21 года, по окончании университета путешествовал по Европе и был в Женеве, когда Герцен издавал там «Колокол» (в 1868 году).

Зато с некоторыми другими деятелями Интернационала мне все-таки пришлось встретиться в Лондоне. Так, у Лаврова при мне раза два, а, может быть, и более, был в гостях Энгельс, с которым я уже не стеснялся познакомиться.

Раза два к Лаврову заходил и бывший член Центрального комитета Интернационала, искусный часовых дел мастер Юнг, который к тому времени, когда я с ним познакомился, уже рассорился с Карлом Марксом и вышел из состава Центрального комитета [122].

Гораздо чаще у нас бывал генерал Врублевский, один из героев июльского восстания 1863 года, командовавший затем войсками Парижской Коммуны в последние дни ее отчаянной борьбы с версальцами [123]. Это был исключительно симпатичный, худощавый, небольшого роста, очень оживленный и бойкий старик, хорошо говоривший по-русски, только с едва заметным польским акцентом в выговоре, очень любивший и уважавший «pana pulkownika», как он постоянно величал Лаврова. Он числился представителем польской нации в Центральном комитете Интернационала и, как мне передавали, добывал себе средства к существованию в Лондоне лекциями по военным наукам и писанием военных диссертаций для английских молодых людей, добивавшихся офицерских патентов.

Нашу колонию посещали не одни генералы революции, а и простые смертные. Помню двух братьев, русских слесарей, фамилию коих забыл. Старший брат, опытный слесарь в Петербурге, отправился морем на службу во Владивосток, но по пути, выйдя на берег в Лондоне, настолько прельстился жизнью за границей, что решился туда переселиться совсем. Он скоро нашел хорошее место, быстро научился английскому языку и женился на молодой вдове англичанке с двумя детьми. Несмотря на такое неблагоразумное обременение себя семьею, он жил очень недурно на зарплату, кажется, в $37\frac{1}{2}$ шиллингов в неделю; приходил он к нам по воскресеньям всегда франтовато одетый, в манишке и котелке, как заправский буржуй, особенно по сравнению с нами, русскими эмигрантами, всегда небрежно и даже грязно одетыми, несмотря даже на праздничный день. Укрепившись в Лондоне, он выписал к себе из Петербурга своего брата, который в качестве ученика получал за работу не более половины того, что получал брат.

Изредка к нам ходил еще один юноша, еврей, эмигрант из России. В качестве ученика столяра он зарабатывал очень мало и сильно бедствовал. Ему пришлось поступить в своеобразное столярное заведение, в котором из плохого и сырого материала изготовлялась совершенно непригодная для пользования мебель, которая нагружалась на негодные к плаванию суда для отправки в колонии. Застрахованные по высокой цене, эти экспортные суда и товары, заранее обреченные на кораблекрушение, давали английским экспортерам хороший доход в виде страховой премии за погибшие суда и товары.

Посещал нас еще один немец Лейтгольд (Leitgold). Он служил клерком в коммерческих банках; в молодости прожил несколько лет в России, главным образом в Бердичеве и только отчасти в Киеве и в Москве. Это недолговременное знакомство с Россией тем не менее оставило в его памяти самые лучшие воспоминания, так что затем, переселясь в Лондон и случайно услышав на улице разговор на русском языке наборщиков «Вперед!», он завязал с ними знакомство, которое и поддерживал, так как жил в тех же краях Лондона. Он был женат на ирландке, но не имел детей. Увлекаясь математикой, он в свободное от службы время усердно штудировал различные математические сочинения и по поводу их вел нескончаемые беседы с Яковом Васильевичем Вощакиным, который, по старой памяти, вспоминал с ним также и свои увлечения математикой в молодые годы на родине.

Заходили к нам еще какие-то братушки-славяне, чехи или сербы, но о них у меня ничего не сохранилось в памяти, да, кажется, мы эти визиты не особенно поощряли, опасаясь приблизить к себе какие-нибудь неблагонадежные элементы, подосланные к нам петербургским III Отделением или нашим лондонским посольством.

Зато мы с особенной охотой водили сношения с русскими матросами с приезжавших в Лондон русских пароходов, причем старались большею частью назначать место наших свиданий вне нашего помещения. Обыкновенно, прочитав в газетах объявление о приходе в лондонский порт какого-нибудь русского судна, мы откомандировывали двух-трех членов нашей кампании в «Доки», т.-е. в ту часть Лондона, в которой останавливаются иностранные суда. Там в излюбленных русскими матросами барах и пивных происходили встречи и обмен любезностями и угощением. Мы охотно вели среди них нашу пропаганду, и они столь же охотно ее воспринимали. При этом мы снабжали матросов и кочегаров нашей литературой, как для их личного пользования,

так и для доставки в Россию по условленным адресам или и без назначения.

Сношения наши с русскими эмигрантами, не принадлежащими к партии «Вперед!», были очень редки. В Лондоне в то время доживал последние дни свои Н. П. Огарев. При мне к нему один раз, кажется, заходил Смирнов и вынес о его состоянии самое безотрадное впечатление. Вскоре после этого он умер, и мы командировали на его похороны своего представителя, но кого именно, я не помню.

Вскоре после моего приезда в Лондон туда же через Финляндию и Скандинавию приехал и Петр Алексеевич Кропоткин после своего сенсационного побега из Николаевского госпиталя [124]. Сколько помнится, он один раз приходил к Лаврову, который его очень сердечно принял. Но этим визитом их сношения и ограничились. Уже после отъезда Лаврова из Лондона Кропоткин возобновил вновь с нами сношения и заходил к нам раза два или три для ведения с Смирновым жарких споров об анархии.

При мне к Лаврову приезжали еще два эмигранта из Женевы, в том числе Александр Друг, под каковым псевдонимом некоторое время скрывался будущий бойкий корреспондент и сотрудник суворинского «Нового Времени» А. Молчанов [125]. Они приезжали с целью вести с Лавровым беседу о предположенном ими съезде русских заграничных эмигрантов разных толков для соглашения частных разноречий и выработки общей программы революционной деятельности в России. Лавров категорически отклонил это приглашение, не пожелал даже обсуждать его детали, заявив, что эмигрантам, оторванным от родины, не пристало брать на себя руководительство в направлении революционной деятельности в России.

Я думаю, что этот ответ вызван был отчасти тем обстоятельством, что как раз в это время Лавров сам собирался ехать в Париж на предположенный съезд делегатов партии «Вперед!» из разных частей России.

XIII

На этом съезде мне, однако, участвовать и даже присутствовать не пришлось. Весьма досадно, что мне, на которого волею судеб выпала доля быть единственным историографом партии, не удалось принять активного участия в этом важнейшем эпизоде из жизни и деятельности партии «Вперед!». Приехав в Лондон прямо из центра деятельности кружка — Петербурга, я

даже не знал о том, что существует проект такого съезда. Весьма может быть, что товарищи мои просто не удосужились сообщить мне об этом проекте вследствие моего постоянного в это время отсутствия из Петербурга и редких со мною свиданий из-за нелегального моего положения. А может быть, самая мысль о съезде и все приготовления к нему возникли уже после моего выезда из России. Затем, когда было решено, что на съезд в качестве официальных делегатов выедут из Лондона Лавров и Смирнов, то мне пришлось воздержаться от длительной поездки, чтобы оставаться в Лондоне единственным ответственным представителем кружка.

Все же я имел непреодолимое желание хоть на короткое время повидаться с моими товарищами, которые приедут на съезд из Петербурга. Поэтому я поехал в Париж не в качестве делегата, а частным образом на несколько часов. Со мною поездку в Париж разделил и «Капитан», который также пожелал свидеться с петербургскими знакомыми.

К сожалению, когда мы приехали в Париж, то застали там съехавшимися только несколько (4—5) представителей партии из Киева, Одессы и других южных городов, представители же Петербурга на съезд запоздали. Между съехавшимися я помню хорошо Гриневича, сына крупного землевладельца Константиноградского уезда [126], совсем молодого человека, едва ли даже не гимназиста. Помню еще одного молодого представителя, который приехал в изящный Париж в оборванном платье и дырявых сапогах, из которых торчали голые пальцы ног, и был настолько изголодавшимся, что приходил в восторг от изобилия в стране, где в ресторанах посетителям предоставляется есть хлеб «à discrétion». Повидимому, это был Попко [127].

Не дождавшись приезда петербургских делегатов, я с «Капитаном», позавтракав и пообедав с прочими членами съезда, выехали назад в Лондон.

Таким образом, мне не пришлось быть не только участником, но даже и свидетелем этого съезда, имевшего роковое значение для судьбы всей партии «Вперед!». Лишь после возвращения со съезда Лаврова и Смирнова я узнал, что результатом съезда оказалось прекращение с 1 января 1877 г. издания двухнедельного журнала «Вперед!», переход редакции «Вперед!» к прежней форме издания в виде непериодических томов и, наконец, отказ Лаврова от дальнейшего редактирования «Вперед!» в этой форме и возложение редактирования сборников на В. Н. Смирнова и на меня.

Считаю здесь необходимым сделать большой перерыв в изложении последующих событий и посвятить несколько страниц обстоятельствам, происшедшим ровно через тридцать лет после парижского съезда делегатов партии «Вперед!».

Были 1906 и 1907 годы, когда Россия пользовалась еще некоторыми завоеваниями революции предыдущего года. Среди многих эмигрантов, вернувшихся тогда в Россию, в Петербурге оказался В. Бурцев, издатель журнала «Былое». Встретившись со мною, он просил меня дать в его журнал мои воспоминания о журнале «Вперед!». Я принял это предложение к сведению, но раньше чем приняться за осоставление мемуаров, относящихся ко времени моего участия в журнале «Вперед!», я считал необходимым выяснить для себя самого два важнейших момента в истории этого журнала. Я не был ни участником, ни очевидцем возникновения мысли об издании журнала «Вперед! и переговоров об этом представителей петербургского революционного кружка с Лавровым. Точно также я не был ни участником, ни свидетелем Парижского съезда в 1876 году и, следовательно, момента расхождения Лаврова с этим кружком. И вот вследствие этих двух пробелов я откладывал писание мемуаров из года в год.

С того времени я неоднократно обращался к оставшимся в живых участникам тех событий с просьбой пополнить мои сведения по указанным двум пунктам, главным образом к доктору Л. С. Гинзбургу и к Розалии Христофоровне Идельсон, которая, вернувшись в Россию с докторским дипломом, вышла замуж за инженера Лехницкого, овдовела и переехала в Петербург для воспитания своего сына. К сожалению, и тот, и другая, не отказываясь от удовлетворения моей просьбы, из года в год откладывали ее исполнение. Так я и не дождался их помощи в этом деле до их смерти.

Розалия Христофоровна умерла в Петербурге года за два или за три до революции 1917 года, а Л. С. Гинзбург — всего за четыре месяца до революции, т. е. в ноябре 1916 года.

После смерти последнего члена нашего бывшего кружка Д. И. Рихтер поместил в газете «Речь» краткий его некролог, где, между прочим, упомянул об уходе Лаврова из редакции «Вперед!» по причине принципиальных его расхождений с кружком, во главе которого стоял покойный Гинзбург. По поводу этого некролога живший в то время в Петербуге Герман Лопатин напечатал в газете «Речь» возражение, в котором, между прочим. утверждал, что журнал «Вперед!» был прекращен по решению кружка вследствие затруднений, вызванных русско-турецкой войною 1876 — 1877 гг., и разногласия взглядов Лав-

рова и петербургского кружка на эту войну. Так как утверждение Лопатина по этому предмету не соответствовало действительности, то я вместе с М. И. Янцыным, как бывшие в те времена члены лондонской коммуны, издававшие «Вперед!», напечатали в той же газете открытое письмо на имя Г. А. Лопатина. Мы писали, что Лопатин, очевидно, односторонне был осведомлен об обстоятельствах расхождения кружка «Вперед!» с Лавровым и что по вопросу о войне мнения обеих сторон вовсе не расходились. Г. А. Лопатин не удовлетворился этим ответом и счел нужным продолжать газетную полемику, закончив свое ответное письмо вопросом: «В чем же заключались истинные причины и обстоятельства расхождения кружка с Лавровым?». Не склонный к газетной полемике, я не счел нужным отвечать на это последнее письмо Лопатина, тем более, что поставленный им вопрос слишком сложен, чтобы дебатировать его на страницах газеты.

Впрочем, если бы мы и склонны были продолжать полемику, то едва ли сумели бы выяснить вопрос, так как сами сохранили очень смутные по этому предмету воспоминания. Только впоследствии я несколько выяснил его, ознакомившись с литературою по этому предмету.

Ив. Книжник в содержательной брошюре, посвященной выяснению политических и философских взглядов П. Л. Лаврова, по поводу выхода его из редакции «Вперед!» говорил, что Лавров в 1876 году не мог остаться глухим к эволюции, проявившейся в то время среди социалистов как в Западной Европе, так и у нас, в России, и выразившейся в усилении политической стороны движения. На съезде «лавристов» в Париже Петр Лаврович будто бы «отстаивал перемену направления журнала, так как в России сама жизнь выдвигала все чаще демонстрации, вооруженные сопротивления, казни шпионов и т. д., и когда оказалось, что он не встретил сочувствия среди бывших своих последователей, он решительно вышел из редакции основанного им журнала» *.

Сам Лавров дважды высказывался по поводу Парижского съезда «впередовцев» и вызванного этим съездом своего ухода из редакции. Как известно, в 80-х годах прошлого столетия Петр Лаврович вошел в общение с народовольцами и, не разделяя вполне всю их программу, участвовал вместе с группою старых народовольцев в издании в Париже «Материалов для истории русского социально-революционного движения». В этом издании

* Ив. Книжник. П. Лавров Изд. «Прибой». Лгр., 1925, стр. 63.

по поводу Парижского съезда 1876 года Лавров напечатал нижеследующее примечание: *)

«Припоминая разговоры, имевшие место в Париже в моем присутствии, я не сохранил в памяти никаких следов разногласия между южанами и питерцами. Напротив, мне казалось, что они действуют совершенно согласно. Так как для читателей 90-х годов и самый съезд и его результаты составляют очень древнюю историю и едва ли могут считаться «известными», то замечу, что настроение участников съезда относительно ведения дел журнала «Вперед!» было таково, что я должен был отказаться от редакторства. Мне неизвестно, насколько у южан встретило сочувствие ясно проявившееся направление питерцев концентрировать дело на пропаганде и на агитации в «народе», оставляя в стороне «интеллигенцию», и нежелание придать организации партии «боевой» характер».

П. Л. Лавров, когда хотел, то умел вполне ясно и определенно выражать свои мысли, и если в приведенном его примечании заключается много неясностей, то очевидно, что он эту неясность допустил сознательно, предоставляя читателям самим угадывать причины расхождения.

Во второй раз более подробно, но все-таки недостаточно вразумительно, Петр Лаврович о Парижском съезде высказался в своем труде «Народники-пропагандисты 1873 — 1878 гг.», изд. в Женеве в 1895 — 1896 гг. Говоря о размолвках и разладах в разных кружках русских социалистов во второй половине 70-х годов прошлого века, Петр Лаврович говорит: **)

«Еще далее пошел разлад в группах, поддерживавших «Вперед!» работою в редакции и в наборне за границей и распространением изданий в России. Члены наборни были недовольны устранением их от обсуждения дел партии в России и пришли к решению основать в Лондоне особую группу лондонского общества издателей «Вперед!», равноправную с группами в России, чего не хотели допустить группы распространителей издания в последней. Влиятельные лица этих последних групп расходились с главным редактором как по своему стремлению монополизировать в руках своей фракции распространение изданий в России, так и по своему решению не допускать в организации фракции и в ее программе усиления ее боевого характера, что

*) Цитирую по статье Ростислава Стеблина-Каменского «Григорий Анфимович Попко» в журнале «Былое». Май, 1907 г., стр. 185—186.

**) См. «Народники-пропаганднсты 1873—1878 гг.», изд. «Колос». Лгр., 1925, стр. 258—259.

редактор считал своевременным по общему настроению русской молодежи. Натянутость положения должна была привести к решительным мерам. Назначен был съезд делегатов различных кружков фракции, который и состоялся в Париже в декабре 1876 года. Перед этим разосланы были в группы вопросы, охватывавшие все стороны теории и практики революционного дела, как оно представлялось в эту эпоху.

Последовавшие за съездом обстоятельства сделали невозможным получить достаточно полные сведения как о числе ответов, полученных на эти вопросы, так и о ходе прений на съезде. На нем присутствовало два делегата из Киева (между прочим, Гриневич, впоследствии утонувший), один из Одессы (Попко, о котором см. «С родины и на родину», № 3), один из Петербурга (см. примечание дальше) и два делегата от лондонского кружка, о равноправном существовании которого был поднят вопрос. Самым интересным элементом съезда были, конечно, отчеты делегатов о ходе социалистической пропаганды и революционной тактики на Юге и на Севере России. Эти отчеты показали, впрочем, разницу взглядов на тактику партии между лицами, входившими в ее состав. Тогда как в журнале «Вперед!» и в одной записке указывалось на политическую агитацию, как на важный элемент деятельности, и говорилось даже о «комитетах сопротивления», один киевский делегат высказывался очень решительно против «возбуждения страстей» в молодежи и почти сводил всю подготовительную деятельность на «кружки самообразования» и на составление учебников для народа. Мнения относительно пропаганды среди интеллигенции очень расходились, причем иные считали эту пропаганду совершенно лишнею. Отчет о литературной истории «Вперед!» приводил фактические свидетельства тому, что оказалось возможным, начав дело при весьма невыгодных условиях, создать орган, пользовавшийся некоторым влиянием и завоевавший уважение заграничной социалистической прессы, когда к этому делу был приложен достаточный труд и оно было поддержано у литературных работников и у наборщиков тем энтузиазмом и самоотвержением, которые составляли характеристическую черту движения этой эпохи в России и за границею. Но отчет о внутренних помехах этому самому делу обнаруживал в то же время, какие опасности постоянно грозили подобному делу, несмотря на самоотвержение личностей. Внутренний разлад назрел настолько, что первый заграничный съезд пропагандистов - подготовителей был не только последним, но, повидимому, произнес политическому значению фракции смертный приговор. Изменение пер-

сонала наборни можно было, казалось, считать наименее важным, так как немало было других наборщиков, столь же искусных и самоотверженных; однако, нравственное впечатление выхода нескольких личностей и особенно лица, на котором лежало все техническое руководство делом, было, может быть, сильнее на русские кружки, чем можно было ожидать. В литературном отношении кризис прошел совсем благополучно: том пятый непериодического издания, вышедший под новой редакцией, по литературному достоинству ни в каком отношении не был ниже прежних изданий фирмы «Вперед!». Тем не менее он был последним литературным проявлением фракции, у которой в конце 1876 года никто не мог оспаривать некоторое значение. В 1878 году подготовители-пропагандисты, как фракция, едва ли существовали. Знамя их было свернуто, но почти ни один из сторонников этой фракции не выступил и под каким-либо другим знаменем русских революционных партий. Ее история была кончена».

К этому обширному, но очень неполному изложению содержания Парижского съезда 1876 года П. Л. прибавил следующее примечание к тому пункту, где перечислялись делегаты съезда:

«Петербург был представлен двумя делегатами; впрочем, один из них жил, как эмигрант, уже давно за границей (в то время — в Лондоне), но по тесным связям с лицами петербургского кружка, не приступил к новому организовавшемуся лондонскому кружку *. Существование этого кружка было основным поводом того, что петербургский кружок, находившийся под безусловным преобладанием одной личности **, созвал съезд. Конечно, самостоятельность и равноправность лондонского кружка была отвергнута съездом, что и повело к выходу из партии руководителя технического дела в наборне *** и большинства наборщиков. Мой выход из редакции был обусловлен не столько этим обстоятельством, сколько тем отношением к редакционной деятельности, которое было высказано в речи петербургского делегата, преобладающее влияние которого в Петербурге и вообще в России мне было хорошо известно. Я называл его речь «обвинительным актом» и затем в двух речах изложил сперва историю издания «Вперед!» в его литературной борьбе с препятствиями и потом тех помех, которые вносили в его де-

* Очевидно, здесь подразумевается В. Н. Смирнов. (Прим. Н. К.-К.)
** Л. С. Гинзбург. (Прим. Н. К.-К.)
*** А. Л. Линев. (Прим. Н. К.-К.)

ятельность сами его сторонники. Выведя из прений, что мое руководство изданием не встретило сочувствия и поддержки моих ближайших товарищей, я сложил с себя звание главного редактора, взявшего на себя полную ответственность за издание, но остался и членом партии, и сотрудником издания в тех размерах, в каких оно остается верным программе, высказанной в номере 48, в т. IV и в моих ответах на вопросы, поставленные перед съездом. Но мое сотрудничество не понадобилось».

По поводу второй более обширной выписки я должен внести несколько объяснений и дополнений. Положение большинства наборщиков в наборне «Вперед!» и ее заведующего и метранпажа А. Л. Линева было действительно ненормально. Они бескорыстно и, по справедливому утверждению самого Лаврова, «самоотверженно» работали в идейном органе, но третировались даже хуже, чем простые рабочие в заурядном буржуазном коммерческом предприятии, которые, кроме содержания, получали еще заработную плату. Чтобы выйти из столь унизительного положения, они требовали признания их членами партии и предоставления им права обсуждения дел партии, в чем им отказывали. Но этот конфликт основан был на недоразумении. В действительности никакой правильно организованной «партии» вперёдовцев или лавровцев не было, а был лишь ограниченный кружок революционеров в Петербурге, замысливший издавать свой орган, вошедший по этому поводу в соглашение с Лавровым и имевший при редакции своих уполномоченных. Когда напечатана была программа Лаврова и стали распространяться издания «Вперед!», то и появились сторонники и последователи этого направления, которые в местах их накопления образовывали кружки «вперёдовцев» или «лавровцев» для решения своих местных дел, как был кружок Н. Н. Колодкевича с товарищами в Киеве, кружок Желябова, С. Чудновского и др. в Одессе, которые путем личных сношений, писем и корреспонденций могли высказывать редакции или же петербургскому кружку свои мнения и пожелания и таким образом влиять на ход дел и направление общего органа [128]. Такой кружок мог бы образоваться и в Лондоне из работников при редакции, и, если бы в этот местный кружок вошли Лавров и Смирнов на равноправных основаниях с остальными, то и не было бы конфликта, петербургскому кружку не было бы основания отказывать в домогательствах протестантов, и им не было бы повода уходить из редакции.

В значительной степени на недоразумении покоился и второй конфликт между самим петербургским кружком и Лавро-

вым. Еще в Цюрихе, впервые знакомясь с программой П. Л. Лаврова, я заявлял, что мне в ней в особенности по душе была ее «аполитичность». Можно считать это мнение ошибочным, но это было общераспространенное мнение, отличавшее лавровцев от бакунистов, так как последние считали всякий конфликт, экономический и политический, достаточным для поднятия «бунта», каковы бы ни были его последствия, Лавров же прямо объявлял, что всякие политические партии, даже самые либеральные и демократические, для него «враждебны». Описывая Парижский съезд, Лавров говорит об «обвинительном акте», с которым выступил против него делегат из Петербурга (т. е. Л. С. Гинзбург) и против которого он вынужден был произнести две защитительные речи, но в чем заключались обвинения и защита, он умалчивает. Не могло это быть в отношении к конституции, которая долго еще была bête noire для русских социалистов, не мог быть и террор, который выдвинулся лишь в 1878 году после выстрела Веры Засулич. Это были, вероятно, лишь какие-нибудь второстепенные разногласия.

Пытаясь расшифровать эти неясности и вспоминая некоторые выражения П. Л. Лавров как до поездки в Париж, так и после его возвращения с Парижского съезда, а также обстановку, в которой приходилось Лаврову работать в Лондоне, я могу с большою долею вероятности объяснить следующим образом причину ухода Лаврова. Парижский съезд решил перейти от повременной двухнедельной газеты к непериодическому изданию сборников, отчасти вследствие оскудения денежных средств у петербургского кружка, что выражалось постоянной задержкой в высылке потребных денег в Лондон, а также в трудностях своевременной переправы последовательных номеров газеты через границу и доставления этих номеров читателям без грубых перебоев. Лавров же, указывая на все возрастающее количество корреспонденций, поступающих из России в редакцию, доказывал успех газеты и постепенное увеличение ее популярности и настаивал на необходимости продолжать столь успешно начатое дело, приняв меры к устранению указанных препятствий. Когда же съезд с его требованием не согласился, то Лавров счел этот отказ достаточным поводом для разрыва Но в существе вещей мотивы у него были еще и другие, чисто личные. Положение его в лондонской коммуне ко времени моего приезда было действительно не из легких. Задолженность редакции, ложившаяся всею ответственностью лично на него, не могла его не угнетать. Живя анахоретом среди группы из десятка молодых людей других привычек, другого воспитания, он не мог не чув-

ствовать своей отчужденности от них и за четыре года своего редакторства, наверное, истомился по отсутствию общества ученых, равного с ним развития и общих с ним интересов и привычек. Если к этому прибавить слишком экспансивный характер главного его сотрудника Смирнова, который не хотел, а, может быть, и не умел приспособиться к слабостям и привычкам старика, то можно понять, что Лавров обрадовался первому попавшемуся внешнему предлогу, чтобы прекратить тяготившее его положение и вернуться к более привычной и свойственной его характеру жизни среди парижских эмигрантов и ученых академиков. Ведь не даром сказал поэт:

В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань...

И глубокий смысл этого двухстишия оправдался на судьбе издания «Вперед!».

С моей точки зрения я тоже разделял взгляд Лаврова на предпочтение повременного издания перед непериодическими сборниками. Во-первых, переправа через границу газеты сопряжена с гораздо меньшими затруднениями, чем переправа сборников и точно так же более удобна развозка по России издания в виде газеты. Что же касается затруднений в доставке читателям последовательных номеров без перебоев и пропусков, то лучшим средством устранения этого неудобства являлось печатание в газете лишь небольших статей, не требующих переноса их продолжения на следующий номер. А между тем действительно популярность журнала, повидимому, сильно возрастала со времени перехода его к газетной форме издания, о чем можно судить по быстро возраставшему числу корреспонденций, которые поступали в редакцию, несмотря на все полицейские затруднения и опасности обнаружения конспиративных адресов. До 1876 года в Лондон корреспонденции прибывали редкими единицами, а со второго года издания газеты число корреспонденций настолько увеличилось, что оказалось невозможным печатать все пригодные корреспонденции in extenso, и с номера 32. т.-е. с 15 апреля 1876 года, пришлось приступить к печатанию в каждом номере сводки поступивших корреспонденций (кроме более литературных) под заглавием: «З а д в е н е д е л и», и тем не менее, к 31 декабря 1876 года в портфеле редакции оказалось еще до 100 корреспонденций неиспользованным.

Точно так же, судя по вышеприведенному примечанию Лаврова, единодушие между сторонниками «Вперед!» в России к тому времени вполне сохранилось, и отступление от первона-

чальной программы в сторону терроризма, как я уже сказал, стало проявляться уже после Парижского съезда, начиная с выстрела Веры Засулич в Трепова 24 января 1878 года. Правда, на Юге и до 1878 года бродило уже настроение в духе более активного реагирования на правительственные преследования социалистов, что вскоре затем и выявилось в выступлениях Валерьяна Осинского, Ковальского в Одессе и некоторых других. В то же время встречались отклонения от программы «Вперед!», независимо от последователей Бакунина, в духе извращенного якобинизма в лице Стефановича, Дейча и Бохановского, что, впрочем, встретило резкий отпор даже в лице ближайших их товарищей в киевской группе [129].

Поэтому, вдумываясь в тогдашнее положение революционного движения в России, я полагаю, что если бы не настроение П. Л. Лаврова, побудившее его отказаться от редактирования «Вперед!», то господство первоначального направления революционного движения в духе «Вперед!» продержалось бы в России еще некоторое время, вероятно, вплоть до середины 1879 года, т. е. до Липецкого съезда.

По возвращении Лаврова и Смирнова с Парижского съезда редакционная работа в лондонской колонии вошла в обычную колею вплоть до января 1877 года. Лавров попрежнему писал передовые статьи для каждого номера, заменив лишь местоимение «мы» местоимением «я» и демонстративно заявив нам, что он уже не считает себя представителем кружка, а говорит лично от себя. Впрочем, готовность излагать свои взгляды на страницах «Вперед!» у него настолько погасла, что один из последних номеров журнала (№ 47) выпущен был без передовой под предлогом недостатка места.

Мои работы в журнале «Вперед!» начались на следующий же день по приезде. Просматривая впоследствии разрозненный экземпляр этого журнала, я узнал, что первая моя работа — корреспонденция «Из швейцарской Юры» — помечена была 10 августа 1876 г. и появилась в номере 40 журнала, выпущенном 15 августа. Приехал я, следовательно, в Лондон вечером 11 или 12 августа, а через три дня появилась в печати моя первая статья. Этого мало. В том же 40 номере журнала напечатана и другая моя статья — «Из Орла», составлявшая начало довольно обширного исследования, растянувшегося затем еще на четыре или пять номеров (письма из Орла II, III, IV и V). Эти письма из Орла представляли довольно подробную характеристику сельского хозяйства и экономического и социально-угнетенного положения крестьянского населения в южных уездах Орловской

губернии (Малоархангельском, Кромском и Ливенском) и явились результатом моих двух-трехмесячных наблюдений в качестве фиктивного секретаря у деревенского адвоката Сильвёрстова.

Что же касается моей корреспонденции из Юры, то ей пришлось сыграть для меня роль «первого блина», который, как известно, всегда выходит «комом». В ней, со слов тогдашнего лидера французских бакунистов Брусса, я обрисовывал политическое положение тогдашней Франции под септенатом маршала Мак-Магона, называя ее «Макмагонией» [130]. Женевские недоброжелатели «Вперед!» не могли упустить случая наклеветать по этому поводу на журнал, что вызвало письмо Брусса к Лаврову с протестом против моего толкования его слов. П. Л. Лавров очень остроумно ответил на это письмо, восстановив буквальный смысл моих инкриминированных слов и сославшись на известную итальянскую пословицу о traduttori, становящихся часто traditori.

Затем я всецело взял на себя редакционную обработку обширного сырого материала для отдела «Что делается на родине», освободив от этой работы Смирнова, который мог вследствие этого обратить главное свое внимание на составление «Хроники» рабочего движения. Кроме того, мною составлены были «Двухнедельные обозрения» для последних двух номеров (№№ 47 и 48) журнала.

Общими усилиями мы благополучно дотянули издание до конца года, выпустив надлежащее число номеров, до 48-го включительно. В последнем (48) номере П. Л. Лавров в передовой статье, прощаясь с читателями, дал в очень теплых выражениях характеристику лиц, к которым переходит редактирование журнала, а, с другой стороны, и кружок, поддерживавший издание, заявляя намерение вести его в прежнем направлении, выражал живейшую признательность уходящему редактору за его «высоко-самоотверженную деятельность, отвечавшую потребностям того времени».

Конечно, подобное официальное обращение можно было бы объяснить как акты простой любезности, скрывавшей действительные разногласия и даже вражду. Но против такого заключения говорило помещенное в том же номере журнала объявление от имени новой редакции о тех работах, которые предполагалось печатать в лондонской типографии помимо непериодического сборника «Вперед!»; в их число входили сочинения Петра Лавровича (т.-е. Лаврова) «Царство буржуазии. Главные черты эпохи 1830—48 гг.» и П. Л. Миртова (т.-е. опять же Лаврова)

«Исторические письма», 2-е просмотренное и дополненное издание.

Правда, эти обещания не осуществились благодаря упадку активных сил у прежнего кружка; но одно уже намерение нашего кружка предпринять издание трудов прежнего редактора журнала «Вперед!» и его согласие на это свидетельствуют, что расхождение Лаврова с кружком, обнаружившееся на Парижском съезде, не было принципиальным, что «лавровцы» вовсе не отрекались от своего прежнего credo и что всякие легенды по этому предмету являлись лишь враждебными инсинуациями со стороны наших недоброжелателей.

XIV

С наступлением нового, 1877 года П. Л. Лавров поспешил немедленно оставить нашу коммуну и переселился в меблированную комнату в Russel squar'e вблизи British Museum, где сосредоточились его новые научные работы, а через короткое время совершенно переселился из Лондона в Париж.

За его переездом последовал разъезд и большинства остальных членов колонии вследствие сокращения работ в типографии и ожидаемого сокращения материальных средств редакции. Прежде всего и, кажется, еще до ухода Петра Лавровича, уехал, сколько помнится, сначала в Вену, а затем в Сев.-Американские Соединенные Штаты, Либерман, а вслед за ним уехал также в Америку Лазарь Гольденберг. Не могу припомнить, когда выехал инженер «Иван Иванович», бывший также наборщиком типографии, фамилии коего я так и не узнал, да и вообще с ним очень мало был знаком. Позднее других оставил нашу коммунальную квартиру А. Л. Линев, нашедший для себя какую-то техническую службу в Лондоне.

Впоследствии Линев также переселился в Северную Америку и специализировался на электричестве. Человек очень способный в технических делах, он даже изобрел свою систему устройства городских электрических трамваев без воздушных проводов и связанных с ними уличных столбов. Я даже в каком-то техническом журнале читал описание этого трамвая «системы Lineff» («Лайнеф»), испробованной на практике в Англии, но не привившейся. В Америке Линев женился на русской певице, дирижировавшей хором певчих, популяризировавших русскую музыку в Америке. Через 30 лет я встретился с Линевым в Петербурге. Он служил заведующим электрическими установками Московского городского управления, без права жительства в

черте города Москвы, а жена его, сколько помнится, прославилась впервые применением фонографа к изучению мотивов народной музыки.

В конце концов из многолюдной лондонской колонии впередовцев осталось в Лондоне только четыре члена: Смирнов и я, как совместные редакторы и литературные деятели, «Капитан» (М. И. Янцын) и Я. В. Вощакин в качестве наборщиков, не считая Розалии Христофоровны Идельсон, раза два или три приезжавшей из Берна в Лондон к Смирнову на более или менее продолжительное время. Впрочем, этот состав пополнялся иногда временными жильцами.

Прежде других к нам в Лондон приехал из Москвы деятельный член нашего кружка Александр Сергеевич Бутурлин и прожил с нами несколько месяцев.

Человек философского склада ума и широкого образования, он скрашивал горечь вынужденной нашей ссылки, поднимая и обсуждая спорные вопросы политики и экономики, повседневного быта и морального поведения, задерживая подчас нашу обязательную работу, но и поощряя ее подчас, так как известно, что из столкновения мнений вытекает истина, и этой истиной мы, как приправой, сдабривали свою работу.

Получив кое-какие сведения из Москвы, он предпочел вернуться домой, отбыть там неизбежную, но, можно было надеяться, более или менее недолголетнюю, тюремную ссылочную повинность, не обрекая себя на пожизненное бесцельное эмигрантское существование. И действительно, как я узнал впоследствии, по возвращении в Москву он вскоре был арестован, просидел некоторое время в тюрьме и затем административно был сослан в Западную Сибирь [131].

Так как, по всей вероятности, я в этих своих воспоминаниях не буду уже иметь случая возвращаться к симпатичному нашему соратнику Александру Сергеевичу Бутурлину, то остановлюсь здесь несколько на сообщении главных моментов его биографии, проверенных по письмам его старшего сына Сергея, довольно известного исследователя природы нашего Дальнего Востока, полученных мною, по моему запросу, в феврале и апреле 1925 г.

Александр Сергеевич родился в 1845 году и, следовательно, после В. И. Покровского был старший по возрасту член нашего петербургского социалистического кружка. Мать его, урожденная княжна Гагарина, родная сестра известного русского эмигранта-иезуита Гагарина [132], была очень богата. Из трех своих сыновей она наиболее любила Александра, но оделив значительными имениями двух других сыновей, с блестящей военной

карьерой, она ничего не уделила третьему, чтобы не кормить «нигилистов», а выдавала ему на руки строго потребное — на квартиру, стол и прочие потребности, так что Александр Сергеевич лишь с трудом выделял некоторые свои сбережения, далеко не соответствующие слухам о богатстве его родных, на революцию и специально на «Вперед!». Гораздо значительнее была его личная активная деятельность. В течение 1874—76 годов я многократно проезжал через Москву, каждый раз заходил к нему на Пречистенку, а иногда и ночевал у него. Всегда я встречал у него массу народа как из членов нашего кружка, так и посторонних деятелей или противников революционного движения. Между прочим, помню, однажды встретил я у него 20-летнего поэта-философа Владимира Соловьева, с которым Бутурлин вел горячий спор по вопросам, связанным с метафизическими увлечениями молодого философа. Встречал у него также и его дальних родственников, братьев Орфано, из которых с одним, горбатым, Бутурлин сохранял дружбу до конца дней, а с другим он окончательно разошелся по поводу изданной последним неблаговидной полемической брошюры против Льва Толстого, на которую Толстой по условиям цензуры не мог возражать [133].

Преследования правительством начались против Бутурлина еще со школьной скамьи. Из университета, где он числился на медицинском факультете, он был исключен по «полунинской» истории [134]; затем был привлечен к Нечаевскому делу, в ту же группу обвиняемых, в которую были зачислены и бежавшие за границу в Цюрих студенты Смирнов, Гольштейн и Эльсниц, но судом эта группа была оправдана. Затем в 1881 году, по возвращении из Лондона, он был арестован и административно сослан на пять лет в Западную Сибирь. Лев Толстой, познакомившийся с ним еще до ссылки, узнав об его аресте, прибежал к семье его с предложением хлопотать об его освобождении, но из его хлопот ничего не вышло. Бутурлина сослали сначала в Туринск, затем перевели в Тюмень, а потом в Тобольск, откуда до срока ссылки, в 1883 году, перевели в Симбирск, что ныне Ульяновск. Здесь каждое лето ему разрешался временный переезд в имение его матери «Белый Ключ», в Карсунском уезде той же губернии. По окончании срока ссылки он временно переселился в Угличский уезд Ярославской губернии, пока в 1887 году ему не разрешили переезд в Москву. По возвращении из ссылки Александр Сергеевич пытался долго получить разрешение вновь поступить в Московский университет для окончания медицинского курса и, наконец, получил это разрешение тогда, когда в университет поступили и его сыновья, так что отец и два

его сына одновременно носили студенческий мундир. В это же время возобновились его прежние связи с революционными кружками. В числе посещавших отца сын его, кроме лавровцев Гинзбурга, Рихтера и Мурашкинцева, упоминает еще Наташу Армфельд, Веру Николаевну Фигнер, Василия Ивановича Зака[135], Орлова (или Орловского), около пяти лет просидевшего в Петропавловской крепости[136], Сергея Ивановича Мицкевича, организатора Московского музея революции. Он был очень дружен с Л. Н. Толстым, тепло относился к Александре Львовне и Сергею Львовичу, но терпеть не мог Софьи Андреевны и считал вредным влияние на Толстого узкого фанатика и педанта Черткова. По окончании университета в возрасте более 50 лет и по получении диплома на звание врача он медициной не занимался, а отдался изучению греческого и древне-еврейского языков, чтобы помогать Льву Николаевичу Толстому в его изысканиях по церковной и евангельской истории. Лев Николаевич очень ценил это содействие вследствие аккуратной, внимательной и, может быть, даже слишком тщательной работы Бутурлина, хотя последний никогда «толстовцем» не был, а всегда оставался в основе революционным марксистом[137] и натуралистом, отрицательно относясь к учению Толстого о непротивлении злу насилием. В этом его сын в особенности убедился из одного разговора с отцом, в котором отец признался, что однажды он, как медик, добыл яду (кураре) для отравления двух жандармских унтер-офицеров, бессознательных орудий преступных действий правительства.

Передавая эту характеристику А. С. Бутурлина его сыном Сергеем, я могу только ее подтвердить на основании своих личных впечатлений, так как, несмотря на воспрещение мне жительства в Москве вплоть до 1901 года, я несколько раз проездом через Москву посещал глубоко мною уважаемого и горячо любимого Александра Сергеевича, когда он еще с семьею жил в доме матери во флигеле, выходившем на Борисоглебский переулок, и затем в большом ее доме на Знаменке, в мезонине, и, наконец, когда он, больной и одинокий, жил, кажется, на Пресне. Умер он 17 апреля 1916 года, в возрасте 70 лет. Смерть его ускорилась припадком, когда он, несмотря на тяжелую болезнь, вышел из дому и ждал на улице трамвая, чтобы ехать в военный суд свидетельствовать в защиту доктора Маковицкого и других толстовцев. После его смерти его сын Сергей собрал все книги, рукописи, письма своего отца и вместе с его собственными бумагами, всего около 60 больших ящиков, перевез на хранение в усадьбу Усть-Урень Карсунского уезда. В 1917 году сохранность их

была обеспечена охранными грамотами Карсунского исполкома, но тем не менее почти все было разграблено. Собрать оказалось возможным лишь 19 ящиков орнитологических коллекций и часть книг и бумаг, попавших в Карсунскую, Ульяновской губернии, общественную библиотеку.

После отъезда из Лондона А. С. Бутурлина к нам вскоре приехал другой член петербургского кружка лавровцев, Антон Феликсович Таксис. Он прибыл к нам уже на другую нашу квартиру, так как, из видов экономии и по ненадобности в обширной прежней квартире на улице Evershot road, мы, воспользовавшись ближайшим сроком возобновления контракта, отказались от нее, отпустили нашу служанку Гертруду и поселились в двух комнатках в соседней улице у знакомых наших, упомянутых уже раньше супругов Лейтгольдов. Кажется, некоторое время мы даже столовались у Лейтгольдов, но вынуждены были отказаться от этого по недостатку наличных средств.

Что Таксис приехал уже после нашего переселения к Лейтгольдам, это я заключаю из того, что Таксис, будучи талантливым пианистом-самоучкой, услаждал нас и супругов Лейтгольдов игрою на их рояле и, между прочим, приводил в совершенный восторг супругу Лейтгольда, по происхождению ирландку, бравурным исполнением «Камаринской» М. И. Глинки.

Мать его была хохлушка Кобелякского уезда, Полтавской губернии, а отец француз Taxis (выговаривался по-русски Таксис, а по-французски Тасси), занимавший место учителя французского языка в полтавской гимназии. Выслужив полную пенсию с чином действительного статского советника, отец его переселился в Петербург и нередко заходил к Гинзбургу и ко мне, упрекая нас в совращении сына в революционные дела. Во время окончательных экзаменов в Петербургском технологическом институте А. Ф. Таксис был заподозрен в пропаганде среди петербургских рабочих и вынужден был бросить экзамены и перейти на нелегальное положение еще до моего выезда в Лондон. Промаявшись несколько месяцев в Петербурге под разными псевдонимами, он, наконец, в начале весны 1877 года заявился к нам в Лондон. У нас он, впрочем, не долго прожил и перебрался в Париж, где поступил на службу в электрическое предприятие, откуда через несколько лет перебрался в Берлин в Allgemeine Elektrische Gesellschaft. Лет через 15—18 он по амнистии вернулся в Россию, вторично женился, так как первая жена его, урожденная француженка, красавица, по невыясненным причинам кончила жизнь самоубийством. Прослужив ряд лет в качестве электротехника на Урале, на Богословских заводах Половцева,

он затем в Петербурге служил в страховых обществах «Надежда» и «Россия».

Приезжал однажды из Парижа в Лондон Герман Александрович Лопатин и проживал некоторое время в нашей квартире у Лейтгольдов, о чем он сам вспомнил в своей газетной полемике с Рихтером, Янцыным и мною в 1916 году по вопросу о причинах ухода П. Л. Лаврова из редакции «Вперед!».

Из лиц, живших в Лондоне, к нам изредка захаживал П. А. Кропоткин, поселившийся на постоянное жительство в Лондоне, в квартале Британского Музея, вблизи Oxford street и Tottenham road. Каждое его посещение сопровождалось горячими и ожесточенными дебатами с Смирновым по поводу анархических взглядов нашего гостя. Природный по натуре анархист, Смирнов, можно сказать, до самозабвенья углубился и окунулся в изучение рабочего движения в Германии и до того увлекся совершенно неожиданными тогдашними успехами социально-демократической рабочей партии в Германии, что становился убежденным государственником. Горячо любя и уважая Валерьяна Смирнова, я не мог тем не менее не относиться скептически к этому увлечению. Не будучи убежденным анархистом, я, однако, всегда относился определенно отрицательно ко всем известным мне формам государственности, не возводя в идеал и ту, которую собирались завоевать «тихой сапой» немецкие социалисты [138]).

Считаю необходимым внести в мои лондонские воспоминания рассказ еще об одном эпизоде, о котором, кажется, нигде в печати не упоминалось.

Однажды по адресу редакции «Вперед!» получено было нами анонимное письмо на русском языке, в котором сообщалось, что один русский богач, благодаря козням злодеев (или родственников? — хорошо теперь не помню), заточен неправильно в дом умалишенных и насильно там удерживается. Неизвестные авторы письма взывали об оказании нами помощи и защиты против насильников. То обстоятельство, что автор письма обращался за помощью к нам, а не к естественным защитникам интересов русских подданных в Англии, т. е. в посольство или консульство, дало основание предполагать какую-либо политическую подкладку в этом деле. Мы, конечно, не могли не принять участия в нем и немедленно командировали по данному в письме адресу нашего товарища В. Н. Смирнова, как медика и лучше всех среди нас говорившего по-английски.

Вернувшись из экспедиции, Смирнов объяснил, что он по указанному адресу действительно нашел частную психиатриче-

скую лечебницу, очень хорошо обставленную как в медицинском, так и во всех отношениях и очень, конечно, дорогую. В ней он нашел среди пациентов молодого уроженца Сибири, очень богатого золотопромышленника, по фамилии Сибирякова. Помещен он был в лечебницу, так как по приезде в Лондон, остановившись в гостинице, он проявил явные признаки ненормального поведения, а по справкам обнаружилась его непоседливость, постоянные переезды с места на место в Швейцарии и Франции и жалобы на преследование тайных агентов, т.-е. он проявлял все признаки особой формы психической болезни, именуемой «мания преследования».

Смирнов имел возможность с ним повидаться и убедиться в хорошем с ним обращении в лечебнице. При больном оказались большие деньги, что дало возможность обставить его жизнь наилучшим образом. Он имел отдельное от других больных помещение, свободно мог выходить в город, только не иначе, как в сопровождении провожатого, опытного в обращении с больными. Во всем, что не касалось пункта его помешательства, Сибиряков рассуждал очень здраво. Он сообщил, что ведет деятельные письменные переговоры с известным арктическим исследователем Норденшильдом (Nordenskjöld) о снаряжении морской полярной экспедиции с целью открытия так называемого «Северо-восточного прохода», т.-е. прямого водного сообщения вдоль северных берегов Сибири между Атлантическим и Тихим океанами. Сначала мы отнеслись скептически к этим рассказам, считая их бредом больного мозга, но при дальнейших посещениях Сибирякова Смирнов мог убедиться в реальности этих переговоров. Мы даже удивлялись, как это такой ученый, как Норденшильд, решается пользоваться благотворительностью лица, заподозренного в ненормальности своих умственных способностей, и сами не решались обращаться к его помощи, несмотря на то, что были на положении бедного Иова.

Известно, что экспедиция, о которой шли тогда переговоры, в действительности состоялась. На средства шведского короля Оскара II, шведского банкира Диксона и сибирского золотопромышленника Сибирякова был построен специальный пароход «Вега» и снаряжена экспедиция, которая направилась через Баренцово и Карское моря на восток вдоль берегов Сибири. Пройдя меридиан Ново-Сибирских островов, «Вега» была затерта льдами и вынуждена зимовать среди ледяной пустыни, но на следующее лето «Вега» освободилась от ледяных оков и вышла через Берингов пролив в Тихий океан, чем фактически и был решен спорный вопрос о «Северо-восточном проходе».

Не помню, участвовал ли лично И. М. Сибиряков в экспедиции «Веги», но знаю, что, оправившись от болезни, он вернулся в Сибирь и прославил себя множеством крупных пожертвований на полезные цели. Жертвуя сотни тысяч на сибирский университет, на разные богадельни и пр., он способствовал открытию транзитного пути через Северный Урал между бассейнами Оби и Печоры для снабжения сибирским хлебом голодающих жителей бассейна Печоры, причем на одном из правых притоков Печоры основана была фактория под названием «Сибиряковской пристани». Наконец, он своими средствами способствовал организации Географическим обществом этнографических экспедиций в Якутию и другие отдаленные окраины с целью облегчить положение политических ссыльных в этих гиблых местах.

Говоря о личном составе лондонской колонии после отъезда П. Л. Лаврова, нельзя не упомянуть, конечно, о том, что раза два, а может быть и три, приезжала за это время к нам и гостила чуть ли не по месяцам жена Смирнова, Розалия Христофоровна Идельсон. Присутствие среди нас этой умной, изящной и красивой молодой женщины плодотворно оживляло наше монотонное прозябание среди чуждого нам населения и в крайне неблагоприятных для жизни и для работы материальных условиях.

А условия эти все более и более ухудшались. Еще при Лаврове денежные ресурсы для издания добывались петербургским кружком с большими затруднениями, и получение субсидий в Лондоне постоянно запаздывало. С уходом же из редакции Лаврова и с прекращением двухнедельного выхода талантливо и занимательно составлявшихся номеров периодического издания, само собою разумеется, и авторитет издания и интерес публики к нему постоянно падали. Благодаря этому, добывание денег в России становилось все затруднительнее. К этому надо прибавить, что и кредита, которым пользовалась при Лаврове редакция, нанимавшая отдельный дом (что давало гражданам избирательные права), лишены были пролетарии, ютившиеся в меблированных комнатах.

От обедов у m-me Лейтгольд мы должны были вскоре отказаться, так как не могли ей гарантировать постоянную выдачу авансов на расходы по закупке провизии. Когда были наличные деньги в достаточном количестве, мы обедали в ближайших дешевых ресторанах, а по воскресеньям, когда эти рестораны закрывали свои двери, мы ходили группой за 8—10 верст в один итальянский ресторанчик на Sogo square, но туда и назад шли

пешком из экономии, вознаграждая этот труд разнообразием кухни. Чаще всего питались своеобразным домашним столом. Смирнов, лучше прочих объяснявшийся по-английски, ходил покупать провизию, «Капитан» самоотверженно брал на себя неприятное занятие по содержанию посуды в относительной чистоте, а на мою долю выпадало «приготовление пищи», т.-е. варение провизии на керосинке, и помню, я сумел заслужить одобрение «артистическим» приготовлением какой-то «тушеной говядины». Питались изредка австралийскими и аргентинскими консервами, какими-то «Corn-beef»-ом и «Lobster»-ами, а бывали дни, когда кроме чая с хлебом целый день ничего не ели. Недели две мы трое питались по вечерам какою-то рыбкою, по одному пенни (4 коп.) за штуку, которая жарилась в масле или маргарине в огромном котле, установленном прямо на тротуаре соседней улицы под открытым небом. Это «лакомое» спервоначала блюдо вскоре до того нам опротивело, что мы и днем обходили эту улицу, напоминавшую нам отвратительный запах этого блюда.

Недостаток средств отражался также и на нашей одежде. Особенно оборванным оказывался именно я, так как бежал из России за границу в легком стареньком пальтишке, которое вскоре, особенно при наступлении зимних холодов, совершенно отказалось служить. На помощь тут явилась моя любимая сестра Ольга. Ей одной из всех моих родных я сообщил о своей эмиграции и установил с нею письменную связь. Предвидя мое скорое возвращение на родину и желая облегчить это возвращение, она прислала мне в Лондон конспиративным путем 100 рублей «на расходы по возвращению на родину», и Смирнов тотчас же наложил запрет на эту сумму, объявив ее неприкосновенной для всякой иной цели. Тем не менее из нее все же пришлось израсходовать рублей 20—30 или около того на новое для меня верхнее пальто.

Оговариваюсь, что описанные недостатки средств являлись у нас лишь периодически, так как по временам мы получали довольно крупные суммы, по несколько сот рублей зараз, но эти получки часто запаздывали.

Задача, нам заданная из Петербурга, — составить и издать пятый непериодический том сборника «Вперед!» по образцу уже изданных при Лаврове трех с половиною томов, — была не из легких. Писание статей для объемистого сборника требовало больше труда и времени, чем составление мелких и беглых статеек для текущего листка. Для выполнения этого плана двух литературных работников и в числе их столь малоопытного, как я,

было слишком недостаточно. И к тому же увязка литературной части работы с технической, при двух работниках в каждой из них, была очень затруднительна. Некоторое облегчение давало разделение сборника на три части, с отдельной пагинацией для каждой, а также и то, что в наборе оставался еще от прежних времен некоторый материал для работы в промежутках, когда литературная часть отставала от технической. В типографии лежал еще не оконченный набор отдельной брошюры по так называвшемуся «московскому процессу» [139]) (с 8-ю фотографиями Бардиной, сестер Любатович и их сотоварищей), а также начато печатание романа Н. Чернышевского «Пролог пролога».

По поводу этого романа могу вспомнить, что он начался печатанием еще до моего приезда в Лондон. Двоюродный брат Чернышевского, сотрудник «Вестника Европы» и будущий академик А. Н. Пыпин, узнав об этом печатании, обратился к Лаврову с письменной просьбой отказаться от выпуска этого произведения, ссылаясь на интересы автора, на которого могут посыпаться за эту работу новые репрессии. Как мне лично передал Лавров, он ответил письменно Пыпину, что редакция «Вперед» получила рукопись романа от лица, безусловно пользующегося ее доверием, с гарантией, что рукопись передана для печати по личному желанию автора, нарушить волю которого Лавров не считал себя вправе. Пыпин не удовлетворился этим отрицательным ответом, а попытался подействовать на редакцию «Вперед!» через посредников и обратился с этой просьбой к М. П. Драгоманову в Женеву. Так как я незадолго перед тем по пути в Лондон останавливался у Драгоманова, то он просьбу Пыпина переслал ко мне в Лондон. Я, конечно, мог только сообщить Драгоманову, что вопрос о печатании романа Чернышевского решен был в Лондоне до моего туда приезда, и что изменить это решение я не имею никакой возможности.

Из трех отделов предположенного сборника: 1) Руководящие редакционные статьи, 2) «Что делается на родине» и 3) «Хроника рабочего движения на Западе» последний отдел всецело взял на себя В. Н. Смирнов, который неизменно вел этот отдел со дня основания журнала «Вперед!» и вел его образцово, талантливо и обстоятельно. Можно смело утверждать, что его обзоры за время с 1872 по 1877 года включительно составляют незаменимый драгоценный источник материалов для всякого, изучающего историю рабочего вопроса на Западе Европы в 70-х годах XIX столетия. Для составления этих обзоров редакция «Вперед!» получала отчасти за деньги, отчасти в обмен огромное количество рабочих газет и

журналов, в том чиле не менее 10 германских, несколько датских, швейцарских, итальянских, французских, австрийских, в том числе издававшуюся в Карпатах среди гуцулов «русскую» газету на невозможном, якобы «русском языке», а также и еще одну русскую демократическую газету, выходившую в Сан-Франциско (или в Ситхе?) под редакцией русского священника [140]. В виду такого обилия и ценности этого материала, а также опытности автора, в успешном выполнении этой части задачи не могло быть никаких сомнений.

Составление первого отдела (руководящие редакционные статьи), за отсутствием других литературных сотрудников, естественно выпало исключительно на мою долю.

Предметом первой и, сколько помнится, единственной, хотя и очень обширной (более 100 страниц), статьи я избрал исследование тех изменений, которые произошли в экономической и социальной жизни России вообще и в хозяйственном положении крестьян в особенности, после введения в действие целого ряда реформ, возвеличенных Г. А. Джаншиевым в разряд «великих» и, в особенности, — реформы 19 февраля 1861 года. Придав своей статье характерное заглавие «Плоды реформ», я стремился доказать, что благодаря лицемерию законодателя, фальсификации его мнимых либеральных целей, половинчатости его мероприятий и ряду компромиссов все эти реформы не достигли провозглашавшихся задач; правовое положение низших классов населения мало изменилось, а экономическое положение крестьян даже во многом ухудшилось. В этом отношении результаты моих исследований в главном вполне совпали с выводами, к которым пришел профессор Петербургского университета Ю. Э. Янсон в выпущеном в 1877 и 1881 гг. сенсационном труде «Опыт исследования о крестьянских наделах и платежах», с которым я ознакомился уже по возвращении в Россию. Конечно, моя статья более откровенно называет вещи их именами, но зато уступала профессорской работе в солидности доказательств и в массе статистического материала, собранного проф. Янсоном, уже по тому одному, что моя статья писалась в Лондоне, вдали от отечественных источников. Мое положение в этом случае было достаточно трагическим, после того как П. Л. Лавров увез с собою из квартиры на Evershot road всю свою богатую библиотеку. По счастью, он перед отъездом снабдил меня рекомендательной карточкой к известному английскому писателю Рольстону, занимавшему тогда должность одного из библиотекарей в British Museum. Рольстон предоставил мне право входа в эту исключительно богатую библиотеку, поразившую меня не только удивительными

удобствами, предоставляемыми читателям, но и относительным обилием книг на русском языке.

Что же касается второго отдела сборника — «Что делается на родине», то в составлении его и Смирнов и я, мы оба, занимались им безразлично, лишь только у кого-либо из нас оказывалась свободная минута, так как при обилии сырого материала работа эта не представляла особенных трудностей. При начале издания «Вперед!» в Цюрихе в 1872 и 1873 гг. в подлинных корреспонденциях из России редакция действительно испытывала большой недостаток, и первые два тома непериодического сборника были особенно бедны подлинными сообщениями с мест. Но с течением времени, по мере возрастания популярности нашего органа, прилив корреспонденций из России и получение интересных документов для напечатания быстро возрастали, так что материалы эти стало возможным печатать уже с большим разбором. Особенно же этот прилив возрос, когда редакция «Вперед!» с непериодических толстых сборников перешла на газетную форму публикаций. Это обилие сообщений достигло таких размеров, что, начиная с номера 32 газеты, т.-е. с 15 апреля 1876 г., редакция стала печатать в подлиннике только литературно обработанные корреспонденции, а из остальных стала составлять и печатать лишь общие сводки под заглавием «З а д в е н е д е л и», причем в иные сводки включалось, сколько помнится, по 10—20 и более отдельных сообщений. И тем не менее, несмотря на такие героические меры, принимавшиеся редакцией газеты к сокращению объема приливавшего сырого материала, ко дню прекращения издания газеты, т.-е. к 1 января 1877 года, в портфеле редакции оказалось, кажется, более 100 писем и документов, еще ею не использованных для газеты. Если к этому прибавить еще точно такое же количество вновь полученных материалов за весь 1877 год, то, очевидно, недостатка в сыром материале для составления второго отдела сборника мы испытывать не могли.

Здесь считаю нужным остановиться еще на одном пункте, которого до сих пор я еще не касался, а именно на способах и порядке получения редакцией тех многочисленных корреспонденций, которые так умножились ко времени моего переезда в Лондон. К сожалению, однако, почти все, касающееся этой отрасли нашей деятельности, как-то решительно стерлось из моей памяти. По всей вероятности, значительная часть корреспонденций из разных областей нашего отечества и вообще всякого рода документов доставлялась тем же способом, каким я перевез через границу памятное мне письмо Н. В. Чайковского, доставившее мне столько беспокойства и сложных хлопот. Они переправлялись че-

рез границу в карманах лиц, легально выезжавших из России с законными паспортами. Много писем перевозили, кажется, через границу агенты Зунделевича на северо-западной нашей границе. Кое-что пересылалось почтой прямо в Берн по фиктивным адресам на квартиры студенток, приятельниц Розалии Христофоровны. Из лиц, посторонних редакции, выразивших ей готовность быть в данном случае посредниками, я помню только одного, а именно студента-медика Вюрцбургского университета в Баварии, Александра Акимовича Дризо. И Смирнов и я, мы были в очень дружеских с ним отношениях, со времени нашей первой встречи в Цюрихе в 1872—73 годах. Наши письменные сношения продолжались и во время его учения в Вюрцбурге. Насколько помню, немалая часть редакционного нашего материала проходила через Вюрцбург. А. А. Дризо, кроме того, снабжал редакцию от времени до времени своими собственными корреспонденциями «Из Вюрцбурга», сообщая сведения о ходе рабочего движения в Баварии.

С симпатичным и услужливым А. А. Дризо я сохранил дружеские связи и в последующей жизни. Получив докторский диплом в Вюрцбурге, А. А. Дризо вернулся в Россию, выдержал поверочный экзамен при русском университете и стал очень популярным вольнопрактикующим врачем в Одессе. В двадцатилетие 1886 — 1906 гг. я многократно бывал в Одессе, живя там иногда по месяцам, для лечения морскими ваннами, всегда заходил к нему и пользовался часто его услугами. Он женился на милой, живой и образованной девушке из богатой интеллигентной еврейской семьи в Одессе, по фамилии Саккер, брат которой еще в университете привлекался по какому-то политическому процессу. Жена Дризо выделялась своею благотворительной деятельностью среди одесской еврейской бедноты. Между прочим, она меня возила однажды на дачу в окрестностях Одессы, где ежегодно в летние вакации получали приют не менее 50 или 100 мальчиков и девочек слабого здоровья из числа школьников низших еврейских народных училищ. К сожалению, несколько лет тому назад эта прекрасная женщина умерла. Сам же А. А. Дризо вследствие гангрены потерял ногу. Тем не менее, несмотря на свою тяжелую потерю, преклонный возраст (79 лет) и указанное калечество, он не потерял бодрости духа, живости характера и интереса к новейшим завоеваниям науки и медицинской практики.

С поздней весны и до ранней осени 1877 года наша редакционная работа прерывалась на долгое время двумя несчастными обстоятельствами. Сначала я получил сведения, что в Петер-

бурге умерла моя любимая сестра Ольга; это известие меня так поразило, что я более месяца не мог приступить к работе, а совершенно потерянный и полубезумный с утра до вечера бродил по Лондону и его окрестностям. Как только я немного оправился, наступила другая беда. Серьезно заболел Смирнов. Мы вынуждены были пригласить к нему известного в то время в Лондоне врача-гигиениста Ричардсона, впервые, еще в 70-х годах XIX века, выдвинувшего идею об устройстве «городов-садов», которые, впрочем, предназначались им только для жизни богатых классов, среди полного комфорта, удовлетворения всем требованиям гигиены, идеальной санитарии и окружающей их эстетики. Ричардсон нашел у Смирнова туберкулез легких в сильной стадии развития и прописал немедленный отъезд в более благоприятную для его здоровья местность. Пришлось отправить его к жене в Берн, а она перевезла его в Монтрэ, на берег Женевского озера, где он за два или три месяца значительно поправился.

Во время проезда Смирнова через Берн с ним произошла курьезная метаморфоза. Квартирная хозяйка Розалии Христофоровны, зная, что она поехала на вокзал встречать своего больного мужа и в окно увидя их подъезжающими к крыльцу, подняла в коридоре крик: «Herr Jdelson ist gekommen». Так, с легкой руки наивной бернской квартирной хозяйки, Смирнов во время своих проездов через Берн жил там под фамилией своей жены Идельсон. Эту же фамилию ему пришлось сохранить и впоследствии, когда, ликвидировав свои лондонские занятия, он в следующем году переехал в Берн на постоянное жительство. И так под именем доктора Идельсона прожил в Берне 22 года до своей смерти, и под этим же псевдонимом он печатал свои медицинские рецензии в газете «Врач» профессора Манасеина в Петербурге и в журнале «The Lancet» в Лондоне. Произошел как бы некоторый атавизм, когда в XIX столетии нашей эры в Берне, в Швейцарии, возродился в единичном случае обычай древнейшей формы семейных отношений первобытного человечества, когда при господстве матриархата родство велось не по мужскому, а по женскому поколению.

XV

Вернувшись в Лондон после продолжительного отдыха в благоприятном климате, Смирнов вновь принялся с свежими силами за прерванную работу и быстро нагнал товарищей, так что к концу 1877 года пятый том непериодического издания «Вперед!» был, наконец, закончен.

Не мне самому судить, насколько удовлетворительно выполнили мы, Смирнов и я, заданную нам нашими товарищами по кружку задачу продолжения издания «Вперед!» в том направлении и на той высоте, на которую поставил этот орган Петр Лаврович Лавров. Когда я из Лондона вернулся в Петербург, то мои добрые приятели из кружка, дружески дразня меня и посмеиваясь, говорили: «Да, К. Маркс очень хвалил стихи, напечатанные в пятом томе «Вперед!», а И. С. Тургенев очень одобрил экономические статьи».

Это, конечно, была дружеская шутка. Гораздо существеннее указать на то, что сам Лавров в своем труде «Народники-пропагандисты», выпущеном в 1895 году, т.-е. через 17—18 лет после ухода своего из редакции «Вперед!», когда временем изгладились мелкие неудовольствия, неизбежные при совместной работе мыслящих сотрудников, счел возможным выразиться, что пятый том «Вперед!», «вышедший под новой редакцией, по литературному достоинству ни в каком отношении не был ниже прежних изданий фирмы «Вперед!» (стр. 258—259), а, делая ссылки на это издание в подтверждение своих положений, не раз указывал на страницы пятого тома, наравне с другими томами (там же, стр. 69, 70, 99, 108, 109, 116 и др.).

На задней стороне обложки пятого тома «Вперед!» мы напечатали объявление:

ПРЕДПОЛОЖЕННЫЕ ИЗДАНИЯ:

1. Царство буржуазии. Главные черты эпохи 1830—48 годов. Соч. П. Л. (бывш. редактора „Вперед!“).

2. Очерк политической экономии.

Помещение этого объявления свидетельствует о том, что во-первых, к 31 декабря 1877 года вопрос о продолжении или прекращении издания журнала «Вперед!» не был еще решен, по крайней мере, для лондонской группы нашего кружка, что, во-вторых, отношения П. Л. Лаврова к новой редакции «Вперед!» и через год после его ухода остались дружеские, и что, в-третьих, я, как автор безыменного очерка по политической экономии, еще не отказался от затеянного мною научного труда.

К сожалению, я теперь не могу вспомнить, кем и когда окончательно решено было ликвидировать лондонское издательство «Вперед!» и отозвать в Россию тех сотрудников издательства,

которые найдут это возможным и относительно безопасным для себя. Не сохранились у меня в памяти и мотивы этого самоубийственного решения.

П. Л. Лавров в цитированном уже труде своем «Народники-пропагандисты», вышедшем в свет через 18 лет после события, приводит мнение по этому предмету П. Б. Аксельрода: «Впрочем («Община», № 8—9),—говорил последний,—и эта редакция должна была в конце концов прекратить свои издания. И это не потому только, что она не удовлетворяла требованиям большинства революционных кружков. В таком случае основали бы другие органы. Индифферентизм деятельных элементов нашей партии к делу революционной прессы вообще — вот действительная причина падения журнала «Вперед!».

Едва ли можно согласиться с этим мнением. Мелкие издания продолжали возникать и умирать в Женеве и одно из них даже под покровительством петербургского Департамента полиции и царской охранки [141], но не было достаточно талантливого и авторитетного лица, которое могло бы с надеждой на успех взять в свое ведение знамя, выпавшее из наших рук. Не даром в Женеве, если и не процветала, то все же пользовалась некоторым успехом украинская печать, благодаря присутствию там талантливого публициста М. П. Драгоманова. По моему мнению, прекращение изданий «Вперед!» вскоре по уходе из редакции П. Л. Лаврова объясняется упадком сил нашего петербургского кружка, просуществовавшего совершенно неестественный для русского революционного кружка срок жизни (восемь-девять лет). Ко времени моего возвращения в Петербург из Лондона кружок сильно поредел. Студенты, составлявшие первоначальное его ядро, постепенно пооканчивали курс и разбрелись по всей России. Наиболее талантливые из них пристроили свои силы к местным делам. В. П. Образцов вскоре прогремел в Киеве как первоклассный терапевт, В. А. Копосов тоже стал известным психиатром, В. М. Ильин, перейдя из Сорочинец в Чернигов, имел несчастие попасть в компанию морфинистов и алкоголиков, с председателем земства, даровитым Карпинским во главе, и вскоре погиб окончательно, В. Е. Варзар увлекся земской статистикой, в рядах которой занял видное место. В Петербурге кружок сократился до 10 — 12 душ, включая вновь аннексированные молодые силы, коих едва хватало поддерживать налаженные прежде отношения с тремя или четырьмя артелями фабричных и заводских рабочих. Сношения с состоятельными кругами настолько ослабели, что после 1 января 1878 года нам пришлось несколько месяцев просидеть в Лондоне без дела в ожидании присылки из

Петербурга небольшой суммы в несколько сот рублей, чтобы расплатиться с долгами и окончательно ликвидировать издательство.

Ожидание этого последнего момента ликвидации издательства «Вперед!» было особенно тягостно для оставшихся в Лондоне последних членов бывшей лондонской колонии. В поисках заработка Я. В. Вощакин поступил вновь на службу кочегаром на английский пароход, отправлявшийся в заграничное плавание. «Капитан» пробовал зарабатывать деньги поденщиком на крупных городских строительных работах и ходил, больше, впрочем, для изучения местных нравов, ночевать в бесплатные благотворительные ночлежки. Смирнов дебютировал критическими статьями по русской медицинской литературе в английском журнале «The Lancet». Что же касается меня, то, по настоянию моих товарищей, я принял предложенный мне урок русского языка в английском семействе, по семи шиллингов в час, но, к крайнему огорчению всех, принужден был после второго урока отказаться по отсутствию опытности в преподавании.

Смирнов вплотную занялся приведением в порядок архива закрывшегося журнала «Вперед!», что представляло большую и сложную работу. За пять с лишним лет (1872—77 гг.) существования издательства накопился обширный материал писем, корреспонденций, черновых рукописей, из которых многие сохраняли на долгие годы значение важных и ценных исторических документов, а многие заключали в себе фактические разоблачения, весьма опасные для бывших сотрудников и пособников журнала «Вперед!» в случае, если бы эти документы попали в руки агентов русского правительства. Вследствие этого почти каждая бумажка архива требовала тщательного рассмотрения и решения вопроса, что в ней превалирует — историческое ли ее значение или криминальная ее опасность. Только документы первого разряда подлежали занесению в инвентарный список архива и соответственной упаковке. Кроме того, Смирнов составил для архива от 8 до 10 комплектов всех изданий редакции «Вперед!», по числу более активных деятелей издательства, и составил из них 8—10 именных пачек, в том числе одну и для меня.

В этой работе Смирнову, кроме меня и «Капитана», помогал еще новый наш лондонский знакомый, быстро обратившийся в горячего нашего общего приятеля и единомышленника. Это был молодой француз, очутившийся в погоне за заработком в Лондоне, по фамилии Броше (Brocher). Родившись в семье крестьянина в одном из северных департаментов Франции, Броше по окончании школы поступил на должность учителя французского языка

и воспитателя (гувернера) в дом богатого русского помещика, с которым и переехал в Россию. Пробыв в России, в разных ее частях, в том числе и на Кавказе, в течение нескольких лет, но до того полюбил русских и славян вообще, что когда затем в поисках работы очутился в Лондоне и узнал, что в Holloway проживает оригинальная группа русских революционеров-социалистов, то постарался познакомиться с ними, а затем и подружиться. Смирнов, остававшийся последним из нас в Лондоне, передал при своем отъезде в Берн весь этот архив Броше на хранение.

Продержав этот архив десятки лет, Броше передал часть документов явившемуся к нему (кажется, с рекомендацией Смирнова) известному издателю сборников «Былое» Владимиру Бурцеву, в том числе и фотографию, в которой П. Л. Лавров изображен в помещении лондонской типографии рядом с тремя наборщиками — Вощакиным, Линевым и Гольденбергом. Эту фотографическую группу, как я уже упоминал, Бурцев подарил мне в 1906—1907 году, когда я обещал заняться писанием моих мемуаров, а я пожертвовал ее, вместе с другими фотографиями членов нашего кружка, в Московский Музей Революции.

С милым Броше мне удалось еще раз видеться на старости лет. В 1914 и 1915 годах я, будучи уже почти 70-летним стариком, проживал в Швейцарии в ожидании конца войны, чтобы вернуться в отечество. От Н. Н. Колачевской, второй жены покойного Смирнова, я узнал, что Г. Броше живет в Лозанне, и после нескольких неудачных попыток нашел его приютившимся в миниатюрной комнатке (площадью менее 15 кв. метров) вместе с больной престарелой женой. От него я узнал, что, переселившись из Лондона в Швейцарию, он вскоре женился на бывшей коммунарке, взятой в плен версальцами. Как схваченная с оружием в руках en flagrant délit, она была приговорена к расстрелу, но по счастливой случайности избегла казни, хотя и значилась расстрелянной в официальных списках. Поселившись в Швейцарии, она выпустила в свет свои меумары «рассстрелянной коммунарки». Я застал ее разбитой параличем старухой, прикованной болезнью к постели, но бодрой духом, оживленной и даже веселой.

Сам Броше тоже был тяжело болен, но бодро переносил невзгоды судьбы. Незадолго до империалистической мировой войны он переселился в Фиуме, где работал в местной печати, отстаивая интересы угнетаемых венгерским правительством кроатов или хорватов. Это была, может быть, самая забитая народность в мире. Ей приходилось бороться за свою национальность на всех фронтах: и против немцев (австрияков), и против вен-

гров, и против родственных сербов-унитарианцев, а в приморских поселениях даже против итальянцев, мечтающих о гегемонии на всем Адриатическом побережьи. С началом войны Броше был выслан из Фиуме как французский гражданин и вернулся в Лозанну, где вновь приобщился к делу милых его сердцу славян. Он занял место секретаря небольшого еженедельного (или двухнедельного?) листка, отстаивавшего интересы славянских народностей, на французском языке, а именно «Révue Ukraînienne». За пять-шесть часов ежедневного труда в этой редакции он получал самое мизерное вознаграждение, едва достаточное ему и больной его жене на самое скудное пропитание.

О судьбе архива «Вперед!», переданного ему на хранение в Лондоне 37 лет тому назад, он мне объяснил, что часть его он передал Смирнову, после того как тот утвердился окончательно в Берне, часть его передал Бурцеву для практического использования документов, которые после его смерти оказались бы беспризорными; что же касается комплектов изданий «Вперед!», то они перевезены были им во Францию и хранились в деревне, в доме его отца, в той местности, которая с начала войны занята была германской армией и вследствие непрестанных сражений превращена в пустыню.

В течение двух часов мы вместе с Броше и его симпатичной женой вспоминали давнопрошедшие времена и сравнивали наши прошлые мечтания с жестокой действительностью, окружавшею нас в момент мировой нелепой и преступной бойни. Затем я отправился на вокзал, куда меня проводил Броше. Подошел поезд в Женеву, и я последний раз распрощался с Броше и более с ним уже не встречался. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, но судя по внешнему его виду, на долголетие его трудно было рассчитывать.

Возвращаюсь еще раз к лондонским событиям. Смирнову пришлось сидеть без дела, кроме писания медицинских рецензий в «The Lancet» до получения из Петербурга заявленной нами суммы для расплаты с мелкими долгами и другими расходами по ликвидации. Мне же и «Капитану» не терпелось сидеть на развалинах. «Капитан» добыл откуда-то английский паспорт, с которым он мог безопасно пройти через русскую таможню, осторожно пользуясь своим довольно слабым знанием английского языка, но у нас не было денег ему на дорогу из Лондона в Петербург. Относительно меня было обратное затруднение. Деньги у меня были, а именно те 70 или 80 рублей, оставшиеся от сторублевой присылки моей покойной сестрой после покупки «приличного» пальто, но у меня не было паспорта, а английский

паспорт для меня и не годился бы благодаря абсолютному моему незнанию языка.

Но, по пословице: «голь на выдумки хитра», мы изобретали способы поскорее вернуться на родину при помощи фантастических проектов. Мы изобрели способ, напоминающий задачу остроумного школьного учителя, задавшего своим ученикам: как безопасно переправить через речку волка, козла и капусту. На мои 70—80 рублей и имеющийся в распоряжении «Капитана» английский паспорт мы рассчитывали переехать в Россию оба. Мы брали билеты до предпоследней перед Россией станции, кажется, Сталупенен. Там мы разъединялись: «Капитан», вооружившись паспортом, смело направлялся в Вержболово, избегая сложных разговоров и почаще повторяя слова: yes, yes... Я же направлялся в те два местечка, через которые я года полтора тому назад контрабандным путем выехал из России, и к тем же контрабандистам, которые мне тогда помогли, и при их помощи переправлял через границу и себя и, кстати, небольшой транспорт изданий «Вперед!», пуда в полтора-два. К сожалению, я не позаботился в свое время узнать и затем запомнить название пограничных местечек, через которые проходил, и фамилии контрабандистов, меня переправлявших. Вся надежда была на мой талант ориентировки, которым я всегда хвалился и который, может быть, на месте поможет мне отыскать потребное. К сожалению, на границе не было и Зунделевича, который мог бы мне помочь переправиться в Россию. Все шансы были за то, что я не найду своих старых союзников, или что они мне изменят и выдадут властям, и таким образом погибну я сам, погибнет мой транспорт книг и погибнет мое «почти новое» пальто, пошитое лондонским портным, членом Интернационала. Для последнего, впрочем, нашелся способ спасения: мы порешили с «Капитаном» поменяться верхней одеждой при расставании в Сталупенене — он натянет на свои широкие плечи мое «почти новое» пальто и предстанет в Эйдкунене и Вержболове более похожим на англичанина, отправляющегося на мирное завоевание русских головотяпов, я же в выцветшем и потертом пальто «Капитана» буду менее соблазнять контрабандистов к измене. Этот проект, однако, не осуществился. Кажется, против него восстал Смирнов, утверждая, что на имевшиеся деньги обоим проехать немыслимо, да и деньги эти специально присланы мне покойною сестрою со специальной целью, и ее предсмертная воля не должна быть нарушена..

Томясь бездеятельностью в Лондоне в ожидании обещанного из Женевы паспорта для въезда в Россию, я, наконец, ре-

шил выехать из Лондона в Лейпциг и там ожидать получения этого паспорта. Из Лейпцига было уже вдвое ближе к дому, а жизнь там вдвое дешевле лондонской и, кроме того, хорошо зная немецкий язык, я мог рассчитывать найти там кое-какой заработок, чтобы не расходовать свой скудный наличный запас, потребный на дорогу.

Порешив это, я в конце февраля или начале марта 1878 г. двинулся в путь, взяв место на немецком пароходе по линии Лондон — Гамбург.

Привожу в заключение список всех изданий, выпущенных в свет редакцией «Вперед!» за все время ее существования, с конца 1872 по конец 1877 года, воспользовавшись для этого публикацией их на обертке последнего пятого тома.

Если считать каждый том непериодического обозрения и каждый год периодического двухнедельного обозрения за отдельный номер, то за 5 лет (с конца 1872 по конец 1877 года) редакциею было выпущено 26 номеров или opus'ов, — явление, не имевшее места в нашей зарубежной печати со дня закрытия А. И. Герценом его знаменитой Лондонской Вольной типографии. А именно:

Журнал «Вперед!».

а) Непериодическое обозрение.

1. «Вперед!», т. I. Цюрих, 1873 г.
2. То же, т. II. Цюрих, 1874 г.
3. То же, т. III. Лондон, 1874 г.
4. То же, т. IV, вып. I. Государственный элемент в будущем обществе. Лондон, 1876 г
5. То же, т. V. Лондон, 1877 г.

б) Периодическое двухнедельное обозрение.

6. «Вперед!», №№ 1—24. Лондон, 1875 г.
7. То же. С портретом М. Л. Михайлова. №№ 25—48. Лондон, 1876 г.

Другие издания (кроме «народных»).

8. «Русским цюрихским студенткам». Цюрих. 1873 г.
9. «Письма без адреса» Н. Г. Чернышевского. Цюрих, 1874 г.

10. «Русской социально-революционной молодежи». (Ответ П. Н. Ткачеву). Редактора журнала «Вперед!». Лондон, 1874 г.

11. «По поводу самарского голода». Лондон, 1874 г.

12. То же. Изд. 2-е. Лондон, 1874 г.

13. «1773—1873. В память столетия пугачевщины». Лондон, 1874 г.

14. То же. Изд. 2-е. Лондон, 1874 г.

15. «Общественная служба в будущем обществе». Перевод с французского. Лондон, 1875 г.

16. «Процесс пятидесяти». Выпуск I. Обвинительный акт и резолюция Сената. Лондон, 1877 г.

17. То же. Изд. 2-е. С приложением фотографической группы восьми осужденных. Лондон, 1877 г.

18. «Пролог». Роман из начала шестидесятых годов. Часть I. Пролог Пролога. Лондон, 1877 г.

«Народные издания»:

19. «Хитрая механика». Правдивый рассказ, откуда и куда идут мужицкие деньги. Цюрих, 1874 г.

20. То же. Изд. 2-е. Лондон, 1875 г.

21. То же. Изд. 3-е. Лондон, 1875 г.

22. То же. Изд. 4-е, стереотипное. Лондон, 1876 г.

23. «Сказка о Мудрице Наумовне». Лондон, 1875 г.

24. «Изнанки». Лондон, 1875 г.

25. «Внушителя словили». Лондон, 1875 г.

26. «Воля» или «Из огня да в полымя». Лондон, 1876 г.

Фотографии.

27. Борцы за свободу — Герцен, Бакунин и Огарев.

28. Группа осужденных 14 марта 1877 г.: София Бардина, Ольга и Вера Любатович, Александра Хоржевская, Евгения и Мария Субботины, Анна Топоркова и Екатерина Гамкрилидзе.

29. Портрет Шефтель, осужденной по делу о Казанской демонстрации.

Из означенных изданий к концу 1877 года разошлись без остатка издания под №№ 1, 2, 6, 8, 15, 19, 20, 21, 24 и 25.

XVI

В Лейпциг я приехал, вероятно, в последних числах февраля или в первых числах марта; хорошо помню, что по моем приезде я застал еще деревья в зимнем уборе, а уезжая из Лейпцига через

месяц, я ясно помню — загородные пивные уже среди зелени и немецких ремесленников социал-демократов, толпами с семьями отправляющихся в воскресный день ins Grüne.

Устроился я в Лейпциге очень дешево. У одного социал-демократа снял маленькую комнатку с окошком на соседнюю рощу, а у другого, сколько помнится, переплетчика, получил обед, к которому сходились: семья хозяина, его два подмастерья и четверо или пятеро юношей—чехов, слушателей «Классического института», учрежденного в Лейпциге по мысли нашего министра народного просвещения Д. А. Толстого для пополнения кадра дисциплинированных, вымуштрованных преподавателей классических языков в наших гимназиях.

Свободным временем в Лейпциге я воспользовался для написания статьи «Russische Artellen» в журнал «Zukunft», издававшийся в Берлине, причем половину гонорара, очень скудного, должен был уступить переводчику, с которым познакомился в Лейпциге. Эту статью в журнал я ездил отвозить в Берлин, где виделся с редактором этого журнала, фамилию которого не помню, а также с Газенклевером, который как один из шефов (Лассалевской фракции) социал-демократической партии был тогда очень популярен в Германии

В Лейпциге я тоже познакомился с некоторыми другими главными деятелями этой партии, между прочим, с Вильгельмом Либкнехтом, Фольмаром и некоторыми другими. Расскажу об оригинальной беседе, имевшейся у меня с Либкнехтом и сохранившейся в моей памяти. Мы беседовали с ним в его кабинете; между прочим, он упоминал мне в разговоре о некоторых русских социалистах, проездом бывавших у него, очень хвалил известного Дехтерева, изображеного И. С. Тургеневым под кличкой Кислякова в его романе «Новь» [142]. Его я также где-то встречал; мне он показался пустым болтуном и самохвалом, и я удивился, что Либкнехт так поверхностно к нему отнесся. Но я счел необходимым заметить Либкнехту, что вот он одобрительно отозвался о стольких русских деятелях; почему же в повременной немецкой социалистической печати с такой непримиримой ненавистью отзываются обыкновенно о России и о русских. Либкнехт взял меня за руку и подвел к большой, почти во всю стену, повешенной в его кабинете географической карте Европы. При этом, по условиям правильной картографии, только центральный меридиан поставлен на карте вертикально, а остальные в наклонном положении к северному полюсу, вследствие чего огромная, в сравнении с западно-европейскими государствами, площадь Российской империи как бы навалиается

на мелкие государства Западной Европы. «Вот видите,—говорил мне Либкнехт, — как там, справа и наверху карты, эта огромная страна, населенная полудикими народами, служащими безвольным орудием в руках какого-нибудь самодура-самодержца, грозит раздавить цивилизованную Европу и в первую голову нашу дорогую Германию. Можем ли мы равнодушно, а тем более благосклонно относиться к такой опасной соседке». Я, конечно, возражал Либкнехту, заметив, что если на карте поместить на центральном месте не Германию, а Россию, то впечатление будет обратное, и наваливаться на Россию или, по крайней мере, на наиболее культурную ее часть будет уже Германия, что и более согласуется с фактами, принимая во внимание немецкий Drang nach Osten; ведь два-три века тому назад значительная часть Померании и Восточной Пруссии населена была славянами, а нынешние центры германской культуры, как Данциг и Кенигсберг, были славянскими поселениями, и все эти области и города под настойчивым воздействием более культурных немцев превратились в чисто немецкие провинции. Конечно, наш спор ничем не кончился, но на меня Либкнехт произвел прекрасное впечатление. К сожалению, мне не удалось познакомиться с Августом Бебелем, который в это время отбывал тюремную повинность, как редактор главного органа немецких социал-демократов [143]. Это было именно время жестоких преследований социал-демократов в Германии, время изготовления прусскими бюрократами закона о социалистах [144], время покушений на императора Вильгельма I Геделя и Нобилинга, из них первого, когда я еще был в Лейпциге, и второго в июне, когда я уже был в России.. Хотя социал-демократическая партия очень энергично открещивалась от какого-либо прикосновения или даже сочувствия к этим террористическим актам, тем не менее они были поставлены в вину партии; и Бисмарком вскоре был издан известный закон против социалистов, загнавший на несколько лет в подполье всю многочисленную социал-демократическую партию Германии.

XVII

Это случилось по получении мною из Женевы обещанного легального паспорта, не помню, на чье имя, с которым я и въехал в Россию через Вержболово без всякого препятствия в конце марта или начале апреля 1878 года. Пользоваться однако внутри России этим паспортом я не был уполномочен, а должен был вручить его владельцу. Таким образом, в Петербурге я опять стал беспаспортным, пока после ряда малоблагонадежных фаль-

шивок я, наконец, заручился прекрасным паспортом на имя кандидата прав Мордвинова. Этот Мордвинов был мифическим лицом, но документ этот — аттестат, выданный якобы из Петербургского университета — был так артистически подделан, что на нем уже было несколько отметок о прописке в полиции. Этим паспортом я благополучно пользовался около года в Петербурге и начал уже привыкать к фамилии Мордвинова, как к собственной прирожденной, как неожиданно на ней споткнулся.

В Петербурге я застал уже немногих из прежних членов лавровского кружка, но он несколько пополнился лондонскими членами. Первым из Лондона вернулся «Капитан», который, кажется, обогнал меня и приехал еще тогда, когда я в Лейпциге выжидал обещанный паспорт. Вскоре после меня из-за границы приехал Яков Васильевич Вощакин. Ему надоела бродячая жизнь кочегара на английских пароходах. Да и здоровье не позволяло вновь приниматься за это нездоровое ремесло. В Лондоне он выпросил у товарища-кочегара личные его документы, выправил по этим документам въездной паспорт в Россию в качестве британского подданного и поступил на работу в один из крупных наших металлических заводов. Английский язык он знал настолько удовлетворительно, что эта подделка ему вполне удалась. Впрочем, вскоре он решил взять, как говорится, быка за рога и, не зная за собою особого преступления, решил съездить за настоящим для себя документом на родину, в Елисаветград. Там в мещанской управе ему прочитали выговор за долголетнюю «безвестную» отлучку, взыскали числившуюся за ним податную недоимку и выдали легальный паспорт. Вооружившись легальным документом, Вощакин стал гораздо храбрее вести революционную пропаганду среди рабочих на петербургских заводах, прикидываясь раскольником-начетчиком. Из членов кружка чаще всего он посещал или «Капитана», или же меня.

Примеру Вощакина последовал и Валерьян Николаевич Смирнов. Раздобыв себе такой же английский паспорт, он явился в Петербург в качестве корреспондента английских газет, но пробыл очень недолго. На второй неделе своего пребывания в болотистом климате Северной Пальмиры он серьезно заболел, и доктора категорически предписали ему выехать немедленно в Швейцарию, где он поселился в Берне в качестве доктора Идельсона и пробыл там до смерти в 1900 году, добывая себе средства к жизни писанием медицинских рецензий о русских книгах в английском журнале «The Lancet» и об иностранной медицинской литературе во «Враче», издававшемся профессором Манасеиным.

Разыскав свою экономическую библиотечку, состоявшую из 400—500 томов капитальных сочинений по политической экономии и сопредельным с нею дисциплинам на русском, французском и немецком языках, я окружил себя книгами и вновь принялся за прерванный отъездом в Лондон труд по составлению популярного для рабочих курса политической экономии, о котором говорил раньше. Две первые лекции, уже дважды испытывавшиеся среди рабочих в Петербурге и среди студентов в Одессе, я вновь пробовал читать в небольшой артели из семи-восьми рабочих и вновь, кажется, остался недоволен своей работой.

Кроме этой работы я озабочен был добыванием себе средств существования. Между прочим я поместил несколько рецензий и статеек в еженедельном журнале «Свет», который основал профессор зоологии Вагнер («Кот-Мурлыка»)[145], увлекшийся затем спиритизмом и всецело отдавший ведение журнала в руки Леонида Оболенского[146].

Затем через членов своего кружка я получил постоянную работу в комиссии, организованной по ликвидации крупной растраты в так называемом «Золотом» банке. Этим именем называлось организованное в Петербурге Всероссийское общество взаимного поземельного кредита, которое по своему уставу выпускало облигации и выдавало ипотечные займы в золотой валюте. Секретарь этого банка Юханцев совершил гомерическую растрату, более чем в один миллион рублей. Особой комиссии, под председательством опытного банковского деятеля Красовского, поручено было сверить за несколько лет все бухгалтерские записи этого банка с оправдательными документами, для чего было приглашено не менее 20—30 счетчиков. Красовский принял меня в число своих счетчиков, зная мое нелегальное положение, и как он, так и его жена принимали в моей судьбе горячее участие, когда надо мною вновь стряслась политическая невзгода.

Наконец, мне случайно нашлась более солидная работа. Из Сибири вернулся из ссылки Л. Ф. Пантелеев, задумавший тратить свои богатые средства на издание полезных, но убыточных для издателей книг. М. И. Янцын, познакомившись с Пантелеевым, рекомендовал ему меня, и Пантелеев предложил мне перевод на русский язык немецких сочинений по статистике по выбору и под редакцией проф. Ю. Э. Янсона. По его предложению я должен был пойти к самому проф. Янсону за оригиналом. Курьезность моего положения заключалась в том, что я должен был представиться Янсону под фамилией Мордвинова, между тем как лет 15—16 тому назад тот же Янсон был учителем словесности в 6 и 7 классах I киевской гимназии, где я состоял под своей соб-

ственной фамилией довольно усердным его учеником. Вопрос был в том, узнает ли он меня, и если узнает, то в какой мере посвящать его в тайну моего существования. Думаю, что Янсон не узнал, да, кажется, и Пантелеев едва ли был посвящен в эту тайну. Янсон заявил, что он может принять на себя ответственность в издании книги, рекомендованной им Пантелееву, в том только случае, если будет уверен в достоинстве перевода, и пожелал узнать, какие имеются у меня уже исполненные переводы. Я объяснил ему, что часто бывал в Германии и Швейцарии, слушал лекции в разных университетах и много переводил и даже редактировал переводы ученых статей в журнале «Знание». Эти объяснения, повидимому, не удовлетворили проф. Янсона, почему он для испытания предложил мне перевести для пробы три-четыре указанные им страницы в немецком издании «Логики» Д. Ст. Милля, где встречается много научных терминов и сложных абстрактных выражений. Когда я на другой день принес образец своей переводной работы, то он остался ею доволен и предложил мне перевести на русский язык четыре главы из четырех разных сочинений четырех известных немецких статистиков: Ад. Вагнера, Г. Рюмелина, Эттингена и Швабе, которые вместе составляли один сборный том главнейших основ статистики, объемом приблизительно в 20—25 печатных листов. Этот сборник, под одним общим заглавием «История и теория статистики в монографиях европейских ученых», он и предложил Пантелееву издать для студентов университета, так как в русской литературе, кроме слишком краткого учебника по истории статистики Н. Х. Бунге, нет других учебников, стоящих на высоте современных знаний, которые он, профессор, мог бы рекомендовать своим слушателям в университете. Собственный же его, профессора, курс еще не настолько разработан им, чтобы с спокойной совестью сдать его в печать. Поэтому он и решил задуманным сборным томиком образцовых работ упомянутых ученых восполнить указанный недостаток русских учебников. С его благословения я перевел указанные им работы, и сборная эта книжка, выпущенная Пантелеевым под вышеупомянутым заглавием, очень быстро стала библиографической редкостью. Не могу не упомянуть, что Л. Ф. Пантелеев щедро со мною расплатился и таким образом поддержал мое эфемерное тогда существование. Эфемерным я назвал свое тогдашнее состояние в виду того, что жил я под чужой фамилией и по самодельному документу, ненадежность коего вскоре и обнаружилась в нижеследующем происшествии.

Было это, кажется, в ноябре или декабре 1878 г. В это время я жил в меблированных комнатах, содержимых каким-то армя-

нином или грузином в четвертом этаже большого дома по Троицкой ул., вблизи «Пяти Углов». Не помню точно, по какому поводу, знаю лишь, что из области сношений нашего кружка с петербургскими рабочими, было назначено в моей комнате частное совещание, на котором должны были присутствовать два моих лондонских товарища, «Капитан» и Вощакин, и два петербургских деятеля нашего кружка—Александр Семяновский и второй, вступивший в кружок в мое отсутствие, молодой студент, еврей, фамилию которого я теперь не помню. Последние двое пришли во-время, и мы занялись чаепитием в ожидании остальных.

Как вдруг в передней раздался топот большого числа людей в солдатских сапогах, дверь моей комнаты резко распахнулась и в небольшую мою комнату ворвался чуть не десяток вооруженных людей с криком: «Отдавайте оружие! Ни с места!» и т. п. Оказалось, что ко мне явилась полиция с обыском и, повидимому, по числу людей и по манере обращения, ожидала вооруженного сопротивления.

Обыск производили не жандармы, а городская полиция во главе двух полковников (приставов?). Во время обыска появился на несколько минут еще какой-то штатский генерал в вицмундире со звездой. Все это показывало, что у полиции были какие-то превратные представления обо мне и моих гостях.

По счастью, обыск не обнаружил ничего преступного или подозрительного. У меня было большое количество книг на французском и немецком языках, многие из которых, например, сочинения Маркса, Энгельса, Прудона и др., с замысловатыми заглавиями, недоступными для понимания моих непрошеных гостей; на письменном столе и в ящиках было много рукописей и заметок. Все это показывало, что полиция попала в кабинет ученого или публициста, но никак не революционера. У моих гостей, которые объяснили свое присутствие личным знакомством, тоже не найдено было ничего подозрительного, хотя Семяновский впоследствии рассказывал, что у него в кармане брюк была фальшивая печать, но он, пройдя уже обысканный угол комнаты, потихоньку вынул эту печать из кармана и спустил ее между брюками и кальсонами на пол.

В начале обыска в передней раздался звонок, и я подумал, что Вощакин или Янцын попали в западню. И действительно, оба пристава вышли из моей комнаты, а затем один из них, вернувшись, начал очень миролюбиво меня расспрашивать, где я обедаю, встречаюсь ли я с кем-либо во время обедов и не имею ли я знакомых среди рабочих.

Я по возможности отнекивался от ответов или давал их в не-

определенных выражениях, но полковник очень настойчиво наводил меня на желательные ответы, так что я вынужден был признать, что обедаю изредка с начетчиком Яковом, которого снабжаю любопытными книгами. Пристав стал говорить, что этот Яков, по фамилии Вощакин, повидимому, очень образованный и начитанный человек. Затем он расспрашивал меня, не родственник ли я графам Мордвиновым в Ялте, и вообще показывал желание поговорить и показать себя любезным.

Часам к трем или четырем ночи обыск у меня окончился, составлен был протокол, для меня в высшей степени благоприятный, и затем оставшийся пристав отправил моих двух гостей с своими помощниками на их квартиры для обысков, а сам, забрав все мои рукописи и диплом на имя Мордвинова, предложил мне явиться для объяснений в названный им полицейский участок на другой день к 11 часам. После ухода полиции ко мне в комнату зашел расстроенный хозяин, который в виду очевидной безрезультатности полицейского налета стал бранить полицию, нападающую на мирных граждан, и рассказал, что во время обыска ко мне зашел рабочий Вощакин, которого полиция отвела в кухню и там обыскивала, раздевая его до рубашки, допрашивала и затем увезла.

Оставшись один, я стал соображать, что мне делать, и в виду того, что по отобранному у меня письменному виду Мордвинова полиция несомненно убедится в моей беспаспортности, нелегальности, а, следовательно, в моей преступности, я решил скрыться и пожертвовать вещами и книгами, оставшимися в моей комнате. Захватив с собою лишь денежный кошелек и серебряные часы, я надел пальто и вышел на улицу в семь-восемь часов утра, как только швейцар открыл парадные двери.

Побродив по разным улицам, отчасти чтобы замести свои следы на случай, если полиция, уходя после обыска, оставила у моих дверей наблюдателя, а отчасти чтобы рано не будить «Капитана», я около девяти часов утра зашел к нему, узнал, что он избег обыска и, может быть, ареста по причинам нездоровья, которое удержало его накануне вечером дома. Я рассказал ему обстоятельства дела и просил его подыскать мне пристанище на предстоящую ночь. Вернувшись домой после службы и поисков, он сообщил мне, что отыскал для меня временное, хотя и не особенно удобное, пристанище, а именно у одного офицера, товарища своего по прежней службе.

Товарищ этот жил в маленькой квартирке в небольшом одноэтажном домике в Коломне, т.-е. позади Мариинского театра. Он оказался маленьким бледным человечком, очень забитым и

угнетенным нуждою и к тому же обремененным женой болезненного вида и двумя или тремя малолетними рахитичными детьми. Мои новые хозяева поместили меня в небольшой проходной комнате, которая служила им гостиной, столовой, кабинетом и классной комнатой для детей. Неопрятная служанка приготовила мне постель на небольшом диванчике, и я мог ложиться спать и вставать с постели с таким расчетом, чтобы не мешать хозяевам пользоваться этой необходимой для них комнатой. Конечно, не эти личные мои неудобства побудили меня признать отысканное для меня пристанище непригодным, а сознание, что я за бескорыстную и очень ценную услугу, оказываемую мне бедняком-офицером и его семьей, отплачиваю им тем, что создаю для них большие неудобства и подвергаю их страшному риску. Это сознание так ужасно меня угнетало, что я через день ушел от офицера к «Капитану» с целью просить его приискать мне более удобное пристанище.

«Капитана» я застал лежащим в постели в большом жару и даже в бреду. У него, очевидно, разгулялась та болезнь, которая в своем зародыше помешала ему прийти на мое собрание и спасла его от обыска. Я немедленно побежал за доктором, который, осмотрев больного и прописав леченье, объявил, что у «Капитана» настоящая натуральная оспа. Это обстоятельство еще прибавилось к прежним для утверждения меня в намерении не возвращаться на квартиру офицера, так как я за его самоотверженную услугу мог бы еще наградить его и его детей натуральной оспой. Я написал офицеру письмо, сообщив, что благодарю его за оказанное мне гостеприимство, но отказываюсь от возвращения к нему, чтобы не занести к ним заразы, а останусь жить у «Капитана» до его выздоровления, под предлогом санитарного ухода за больным. Хозяевам «Капитана», очень милой семье французов, занимавшихся шитьем лайковых перчаток, я объявил, что останусь ухаживать за больным товарищем, и просил их не объявлять дворнику о моем постоянном пребывании в комнате больного, так как я прописан на своей квартире и вернусь туда по выздоровлении его постояльца, на что француз охотно пошел. Таким образом, болезнь «Капитана» стала тем заслоном, которым я укрылся в моей нужде безопасного пристанища. Разумеется, я все время самым добросовестным образом ухаживал за больным, пунктуально исполняя предписания врача, и выходил его так удачно, что болезнь не оставила почти никаких следов на теле больного.

А между тем, пока длилась болезнь «Капитана», я подыскивал себе новую безопасную от полиции квартиру. По совету «Капитана» я обратился к упомянутому уже раньше банковскому

деятелю Красовскому, который вместе со своей женой принял во мне большое участие. Жена его помогла мне в приобретении необходимых предметов, так как я бежал из своей квартиры, не захватив даже второго носового платка, а сам Красовский списался со своими знакомыми в Пскове, которые любезно пригласили меня приехать к ним на жительство.

Я действительно выехал в Псков, но кто были там мои хозяева, как я у них устроился и долго ли у них пробыл, обо всем этом у меня ничего не сохранилось в памяти, кроме воспоминания об угнетенном состоянии моего духа и крайнего неудобства моего положения во всех отношениях.

В дополнение к сказанному надо прибавить, что у всех моих неудачливых гостей, напоровшихся на обыск, полиция произвела обыски, но, не найдя того, что она искала, она их не преследовала, а Я. В. Вощакин довел свою продерзость до того, что, представившись наивным рабочим, не имеющим никаких понятий о политике и политических обысках, на другой день после обыска пошел в полицию требовать уплаты за сломанный замок в своем сундуке, наполненном книгами как душеспасительными, так и светскими. И действительно добился получения, кажется, 30 коп. Впрочем, А. Семяновский был вскоре административным порядком выслан в Пермь или Вятку, но была ли эта мера в связи с моим обыском, я не знаю.

В Пскове у рекомендованных мне Красовским его знакомых я пробыл не более трех-четырех дней и решился найти себе убежище самостоятельно, без помощи друзей и партийных товарищей. Мой младший брат Александр, о котором я много раз упоминал в этих записках, в то время оканчивал медицинский факультет Дерптского университета. Мне вдруг пришло в голову, почему бы мне не поехать в Дерпт под личиною будущего студента, собирающегося поступить в университет и загодя приехавшего пожить в Дерпте, чтобы поучиться немецкому языку. В то время в Дерпте паспорта полиция не прописывала, а я имел еще достаточно моложавый вид, чтобы не вызвать сомнений в моих учебных замыслах. Изредка я даже заходил к брату, но конспирация моя была так удачна, что даже двоюродный брат мой Алексей Петрович Магденко, обучавшийся в ветеринарном институте при университете и встречавший меня у моего брата, не узнал меня или, может быть, делал вид, что не узнал.

В моем дерптском уединении я подвергнул основательной критике свое тогдашнее положение. Катастрофа с моим «первоклассным «фальшивым документом на имя Мордвинова убедила меня в шаткости моего положения, пока мне не удастся реабили-

тировать свою собственную личность. А это, надо было полагать, было не особенно трудно. Насколько для меня ясны были обстоятельства моего нелегального состояния, я был привлечен не к собственному, а к чужому делу. Меня преследовали не за контрабанду изданий «Вперед!», которые развезены были повсюду благополучно, а за провоз членами московского кружка женевской газеты «Работник», в чем в действительности я ни малейшего участия не принимал. Дело московского кружка все выяснено процессом. С того времени прошло уже более трех лет, и новые раскопки обстоятельств дела едва ли могли открыть против меня какие-либо улики. Наилучше всего мне было просто где-нибудь не в бойком месте прописаться под своей собственной фамилией и ждать нападений в сознании своей полной невиновности.

К сожалению, для осуществления такого намерения явилось, однако, одно препятствие. Когда я после бегства из Одессы явился в Петербург, то личный свой документ — аттестат о службе на Кавказе — я отдал в свой кружок на сохранение. Когда же затем в следующий мой приезд в Петербург я навел справку о целости своего документа, то оказалось, что он вместе с некоторыми документами других скрывающихся лиц, в том числе и с какими-то бумагами Германа Лопатина, был спрятан в какую-то заветную «шкатулку» и отдан на хранение какой-то курсистке, прикосновенной к нашему кружку, но находившейся вне какого-либо подозрения со стороны властей. Тем не менее, вследствие какой-то случайности, в ее вещах произведен был обыск, и «шкатулка» с моим аттестатом была конфискована жандармами.

Наилучшим выходом из этого затруднения я находил поездку на Кавказ, где при помощи оставшихся там моих друзей мне, может быть, удастся получить или дубликат прежнего аттестата, или же совсем новый документ, который сотрет всякую мою связь с личностью, привлекавшеюся к следствию в Кишиневе.

Вернувшись из Дерпта в Петербург и посоветовавшись с моими петербургскими друзьями, я получил их одобрение этому моему проекту. Я добыл довольно скудную сумму денег, почти только достаточную на проезд до Тифлиса, и документ сомнительного достоинства на случай, если придется предъявить его в дороге. За этим документом я должен был заехать по пути на какой-то стеклянный завод в 10—15 километрах от ст. Тосна, в окрестностях Петербурга. Этот документ заключался в удостоверении тифлисской полиции о личности какого-то 22—23-летнего юноши Сокольского с пропущенным сроком его действительности. Пропуск срока особого значения не имел в виду того, что я ехал в Тифлис и, следовательно, мог всегда оправдаться тем, что еду

лично отвозить свой просроченный документ для перемены. Но слабое место этого документа заключалось в том, что мне тогда уже было 33 года и не легко было принять меня за 23-летнего юношу. Этот паспорт я по приезде в Тифлис должен был, разыскав родственников Сокольского, передать им.

В день моего выезда из Петербурга, 13 марта 1879 года, со мною приключилось преоригинальное происшествие. От зубного врача возвращался я на извозчике с Большой Морской на свою временную квартиру на Кирочной или Надеждинской мимо Летнего сада, через бывший так называвшийся Цепной мост. Это тот мост, о котором сложено было известное стихотворение:

> Будешь помнить здание
> У Цепного моста...
> Выйдет приказание —
> Высекут и просто.

Ныне этот мост перестроен. Монархисты-инженеры при перестройке его постарались заменить многопамятные по III Отделению цепи какими-то военными эмблемами, но в те времена цепи делили мост на две стороны—правую и левую, чтобы встречные едущие не сталкивались. И вот, когда мой извозчик своими санками въехал на правую сторону, навстречу нам с противоположной стороны въехала парадная карета, запряженная парой крупных лошадей. Оказалось, что сторона моста, по которой должна была ехать карета, была занята медленно двигавшимся обозом с дровами, и кучер, не желая выжидать проезда обоза, поехал навстречу противоположного течения. Мой извозчик вынужден был съехать на тротуар, чуть не опрокинув меня, и едва не попал под колеса кареты. Когда карета поровнялась со мною, я увидел за стеклом кареты мордатую физиономию жирного генерала в парадной форме, в орденах, и узнал в нем генерала Дрентельна, портреты которого были накануне напечатаны в газетах по случаю назначения его шефом жандармов.

Благополучно доехав на свою временную квартиру и застав там несколько членов нашего кружка, я, входя в комнаты, шутя сообщил: «А я только что имел столкновение с шефом жандармов на Цепном мосту!». Вскоре однако после меня пришли туда же еще новые гости, и когда они объявили сенсационную новость, что только что против Летнего сада, т.-е. у самого Цепного моста, какой-то всадник неудачно стрелял в генерала Дрентельна, то все взоры обратились на меня, поняв мою случайную связь с этим сенсационным событием.

Очевидно, Дрентельн, не догнав ускакавшего Мирского, вернулся домой переодеться и переменить разбитую карету и спешил в Зимний Дворец для личного доклада царю о совершенном на него покушении [147].

XVIII

У меня имелось намерение еще одинь день провести в Петербурге, но меня стали уговаривать выехать в тот же день без промедления, так как по случаю покушения на Дрентельна в эту ночь будет назначена генеральная чистка подозрительных квартир, и я вместо Кавказа могу попасть в узилище. На квартиру, где мы собрались, пришли еще Розалия Христофоровна Идельсон и «Капитан». Во время моего пребывания в Дерпте в Петербург приехала Р. Х. Идельсон для поверочного экзамена на доктора медицины по диплому, полученному ею в Берне. Она сняла себе квартиру, и к ней переехал квартирантом и нахлебником «Капитан», покинувший своих любезных французов-перчаточников. Я хотел было даже заночевать у «Капитана». Но меня в конце-концов отговорили, и вечером я под руку с шикарно одетой Розалией Христофоровой через вокзал прошел на платформу и уселся в приготовленное для меня товарищами место в вагоне, а в ту же ночь как раз у нее и у «Капитана» как у подозрительных лиц был обыск.

В Тифлисе я остановился в гостинице на Армянской площади против Караван-Сарая, отметившись собственной своей фамилией. Отвезя документ Сокольского его родителям по данному мне адресу, я отправился к присяжному поверенному Степанову, который жил в Салалаках, в лучшей, возвышенной части Тифлиса.

Александр Васильевич Степанов, был один из умнейших и популярнейших жителей Тифлиса. Окончив Киевский университет, он был приглашен сенатором Егором Старицким на службу по судебному ведомству на Кавказе, и в два-три года сделал «сногсшибательную» карьеру, достигнув поста председателя окружного суда. Но тут карьера его неожиданно оборвалась. Великий князь Михаил Николаевич, занимавший пост наместника кавказского, обиделся недостаточно почтительным приемом его при посещении окружного суда; Степанов подал в отставку и стал блестящим присяжным поверенным и издателем лучшего в то время в России провинциального органа, еженедельного журнала под названием, кажется, «Окраина» [148].

Степанов горячо принял к сердцу мое дело и назначил мне свидание после переговоров с членом Тифлисской судебной па-

латы Рашетом, за корректность которого Степанов ручался. По совместном обсуждении вопроса, главным образом по совету Рашета, решено было, что я подам официальную докладную записку второму председателю Тифлисской судебной палаты, князю Чавчавадзе, в отделении которого как раз имелась вакансия помощника секретаря судебной палаты. Я должен был проситься на это место и лично объяснить князю Чавчавадзе, что, оставив службу судебного следователя во Владикавказе по болезни, в удостоверение коей я представил три медицинских свидетельства, я ныне желаю возобновить свою служебную карьеру, хотя бы начиная с самых младших должностей. При личном свидании с Чавчавадзе, очень милым и любезным старичком, я в дополнение к докладной записке объяснил ему, что документы мои (метрика, университетский аттестат и др.) находятся при делах в Главном управлении кавказского наместника. Он, основываясь на благоприятном обо мне отзыве Рашета, обещал принять меня на службу, переговоривши обо мне с старшим председателем палаты Оголиным.

Пока тянулись эти переговоры, у меня иссяк мой кошелек, для пополнения которого, согласно данной мне из Петербурга инструкции, я должен был обратиться к члену нашего кружка, доктору Худадову, который по получении докторского диплома в Петербургской медицинской академии вернулся в Тифлис на родину. Здесь я узнал, что он получил место сельского врача в Сигнахском уезде, километрах в 50 от Тифлиса. Известно, что в Закавказьи не было введено земства, земских врачей не существовало, а в каждом уезде значилось только два правительственных врача: городской и уездный, которые, исполняя с грехом пополам полицейские обязанности, представляли крайне ограниченную и неудовлетворительную врачебную помощь сельскому населению. Вследствие этого в некоторых местах состоятельные жители уездов в складчину приглашали для своих семей годового врача, которому предоставляли право иметь и частную практику. На таких основаниях и Худадов устроился сельским врачем в плодородном, богатом и живописном ущельи благословенной Кахетии.

Рано утром, выйдя из Тифлиса, я пошел пешком по шоссе на север. Пешеходное путешествие я избрал отчасти в видах экономии, но также из большой склонности к пешеходным прогулкам. Пройдя около 40 километров по шоссе, я прибыл в немецкую колонию, название которой теперь забыл и которая расположена была на берегу быстротечной речки Алазань. Моста для переправы через эту речку не было, и жители переходили ее в брод

в случаях низкой воды. Я наугад обратился в первую попавшуюся избу немецкого колониста и на немецком языке попросил его дать мне за деньги лошадь для переправы через речку. Он охотно на это согласился, и, кажется, за двугривенный снабдил меня лошадью и дал проводником своего сына, восьми- или десятилетнего мальчика, на другой лошади. Река была значительно более быстрая и более обильная водою сравнительно с Ардоном, которого мне не удалось одолеть верхом на лошади инженера Счастливцева, и несмотря на это, я без всякого страха и головокружения одолел эту переправу, потому что она оказалась необходимой.

Сойдя с лошади, я возобновил пешеходное путешествие, и через два-три часа очутился в «роскошной Грузии долине», среди садов и виноградников Кахетии, в деревне, названия которой не помню, в месте пребывания сельского врача Худадова. Он очень предупредительно меня встретил, но в материальном отношении не мог оказать мне непосредственной помощи.

— Здесь, в центре счастливой Грузии, в области почти полного «натурального» хозяйства, я не испытываю почти никакой потребности в деньгах, — объяснил мне Худадов, — вследствие чего мое жалованье или гонорар уплачивается моей жене в Тифлисе; поэтому я вам дам письмо к ней, а пока будьте у меня гостем.

Не помню теперь, сколько времени я провел у него и с кем там встречался. Вероятно, я уехал от него на второй день после обеда, наняв подводу до немецкой колонии с переправой, конечно, в телеге через реку.

Пускаться в 40-километровое пешеходное путешествие до Тифлиса было тогда уже поздно, и мне пришлось просить ночлега у немцев. Меня направили к кокетливому домику молодого органиста, где мне легче всего было можно найти пристанище на ночь. Органист и его молодая жена охотно меня приняли и даже угостили ужином, отказавшись от какой бы то ни было платы. После ужина молодой хозяин снял со стены скрипку и стал меня угощать концертом. Думая доставить мне, как русскому, особое удовольствие, он мне сыграл и гимн «Боже, царя храни»... Домик этого колониста был довольно обширен, и мне приготовили постель в их передней приемной комнате. На другой день, уходя, я тщетно пытался заплатить за свой ночлег и угощение, и должен был ограничиться одним благодарным за гостеприимство воспоминанием, которое сохранил и по сей час.

В Тифлисе я легко разыскал жену Худадова, которая жила со своей сестрой или свояченицей. У них насчет денег тоже было

не густо. Они помогли мне расплатиться с задолженностью в гостинице, но за большею субсидией посоветовали обратиться к члену же нашего петербургского кружка, по фамилии, кажется, Цвибак, с которым я хотя и встречался в Петербурге, но которого совсем мало помню. По окончании Медицинской академии он отбывал за стипендию служебную повинность в должности полкового врача в одном из глухих углов недавно перед тем завоеванной от Турции Карской области, в такой глуши, в которой трудно умудриться тратить даже скудное казенное жалованье для человека, не записавшегося в разряд игроков и пьяниц. Конечно, я воспользовался этим советом и написал ему письмо, на которое ответа не получил, настигнутый быстро последовавшими дальнейшими событиями.

От Рашета я получил неблагоприятные сведения о положении моего дела. Оказалось, что на представление князя Чавчавадзе старший председатель судебной палаты Оголин высказал категорически отказ принять меня на службу, не объясняя причин. Тогда Рашет предложил мне обсудить другой путь, несколько более рискованный. Он говорил, что находится в дружеских отношениях с начальником Главного управления кавказского наместника Пещуровым.

«Занимая очень высокое место второго лица на Кавказе после великого князя, наместника, он, — говорил мне Рашет, — в частной жизни выдает себя за большого либерала и в качестве такового может иногда делать большие отступления от «служебного» долга; но если он по каким-либо соображениям и откажется оказать вам помощь, то во всяком случае, насколько я его знаю, он не решится стать предателем и не заплатит злом за доверие».

Я настолько доверял опытности и расположению ко мне Рашета, что решился последовать его совету.

Совместно с ним мы отправились к Пещурову на квартиру, и я, не открывая ни своего образа мыслей, ни своего участия в издании «Вперед!», откровенно объяснил ему, что по какой-то неосторожности знакомых мне молодых социалистов, осужденных по московскому процессу, имевшему место два-три года тому назад, я был запутан в их дело и, не желая подвергнуться всем неприятностям политического процесса, уклонился от явки к дознанию и следствию и теперь уже более трех лет нахожусь на нелегальном положении. Находя это свое положение слишком тяжелым, я прошу его оказать мне помощь неофициальной легализацией путем принятия меня на службу или выдачею удостоверения о прежней моей службе. Пещуров в присутствии Рашета

выслушал меня очень благосклонно и сказал, что он подумает, соберет справки в делах управления, и назначил мне для получения ответа один из дней будущей недели, когда у него бывает прием по службе, причем в присутствии Рашета обещал мне, что, если и откажется оказать мне просимую услугу, то во всяком случае не злоупотребит мне во вред моим доверием и откровенностью.

Здесь я перехожу к изложению истории моего ареста в Тифлисе, сопровождавшегося совершенно невероятными обстоятельствами, в роде вещего сна, предостережения неразумных сил природы, отсрочки на 25 лет угощения заготовленным пловом, т.-е. такими, которые могли приключиться с суеверным человеком, каким я никогда не был.

День, назначенный мне Пещуровым к явке, приходился на 13 мая. Я запомнил эту дату, так как в этот день в нашей семье праздновалось рождение моей старшей сестры Марии. Вероятно, под влиянием волнения, с которым я ожидал наступления этого дня, мне в ночь на 13-е число приснился совершенно исключительный по оригинальности сон. Мне представилось, что сижу я в саду на какой-то простой некрашеной деревянной скамейке и огромным кухонным ножом отрезаю себе голову; я ясно видел, не знаю уж какими глазами, что моя голова покатилась по дорожке, посыпанной песком, а остальное тело, лишенное головы, упало на скамейку. Проснувшись, я стал рассуждать о том, как мог я видеть свою голову как посторонний предмет в то время, как мои глаза, при посредстве которых я видел эту голову, покатились вместе с головою на дорожку, а также, что сознание мое как-будто осталось не в голове, а в остальном теле.

Лишь после невозможности разрешить эти недоразумения, у меня явилась мысль о том, что при некоторой склонности к снотолкованию я мог бы принять этот сон за предостережение в виду предстоящего мне в этот день рокового свидания с Пещуровым. Но, конечно, я всей своей жизнью слишком далек был от всякого рода суеверий и поэтому не придал нелепому сну никакого реального значения.

Так как мне предстояло явиться к Пещурову в общем приемном зале, где мой потертый костюм не сулил мне вежливого обращения, то я зашел предварительно на Головинский проспект к хорошему портному и взял напрокат фрачную пару, в которой бодро стал среди прочих «просителей». Пещуров меня узнал и, подойдя ко мне в ряду других, не стесняясь интимности своего сообщения, громко заявил, что не может исполнить моей просьбы, так как по наведенным справкам на мне продолжает тяго-

теть упомянутое мною обвинение, что подтверждено ответом из Кишинева на телеграфный запрос тифлисского жандармского полковника.

— Так вы, следовательно, сообщили жандармскому полковнику то, что узнали от меня келейно, вследствие чего жандармский полковник меня арестует?

— Если вы, — ответил он, — говорили мне правду, что вы не причастны к московскому политическому делу, то ваш арест и следствие только ускорят ваше освобождение от несправедливого подозрения и улучшат ваше положение: ведь вы сами говорили, что ваше положение «нелегального» для вас невыносимо.

— Вы имели удостоверение Рашета в моей порядочности,— сказал я ему в негодовании, — и если не доверяли ему, то, как честный человек, должны были отказать мне в просьбе, но не доносить на меня. Очень жаль, что Рашет ошибся в вас и рекомендовал мне вас как честного человека.

С этими словами, сказанными во всеуслышание, я повернулся и быстро вышел из приемного зала. Я думал, что меня тут же схватят «за шиворот», но оказалось, что меня свободно выпустили на улицу.

Заехав к портному для обмена на свое платье, я отправился не в свою гостиницу, а к Худадовой для того, чтобы там на свободе обдумать свое положение.

Худадова и ее сестра посоветовали мне не являться больше на свою квартиру. Они вечером обещали отвезти меня на свой «хутор», в окрестностях Тифлиса, где я мог бы в безопасности прожить два-три месяца, пока иссякнет энергия жандармов в моих поисках, а затем можно будет устроить мой переезд в Турцию через Батум.

Я соглашался принять их предложение, но предварительно решил зайти в гостиницу за своими вещами и, хотя эти «вещи» заключались в паре переменного белья и нескольких книжках, но я не хотел отказываться от них, разыгрывая из себя труса и вспоминая, как я еще недавно в качестве «кандидата прав» Мордвинова без достаточного, может быть, основания покинул все свое имущество. Но тогда дело шло действительно о ценной библиотеке, о дорогих для меня рукописях, а теперь было нелепо рисковать.

Пока я наскоро писал записку доктору Цвибаку, чтобы он воздержался от присылки денег по почте на мое имя, чтобы не впутать себя в мое дело, мои милые хозяйки продолжали уговаривать меня не пускаться в опасную экспедицию за своими ве-

щами. Но я твердо стоял на своем. В заключение Худадова, провожая меня, сказала:

— Смотрите же, приходите скорее! У нас сегодня будет на обед настоящий кавказский плов, и мы вас будем ожидать.

Обещав через полчаса вернуться, я отправился в свою гостиницу.

Выйдя на Армянскую площадь, я увидел, что против входа в мою гостиницу на парапетах Караван-Сарая столпились зеваки, как бы наблюдающие или выжидающие какого-то события или происшествия в моей гостинице.

Мне сейчас же пришло в голову, что эти зеваки, увидя полицию или жандармов, пришедших, может быть, для моего ареста, выжидают, чем кончится это происшествие. В дальнейшем продолжением этого рассуждения должно было быть у меня решение, не доходя до входа в гостиницу, повернуть оглобли и вернуться к Худадовой, бросив на произвол судьбы свое ничтожное имущество.

Но, к сожалению, я этой мысли не закончил. К моему и своему несчастию, маленькая уличная собачка, перебегая площадь против подъезда гостиницы, попала под колеса бешено мчавшегося по тифлисскому обычаю извозчика. Колесами фаэтона ей, повидимому, перебило спинной хребет, и она, страшно визжа, вертелась на мостовой как раз против дверей моей гостиницы. Задумавшись о печальной судьбе этой несчастной собачки, я не докончил начатую мысль о собственном моем положении и об очевидной необходимости миновать гостиницу и совсем машинально вошел обычным путем в парадный подъезд.

— Ваша фамилия? — обратились ко мне два жандарма, стоявшие за дверями, и, узнав мою фамилию, повели меня к жандармскому полковнику Орловскому. Этим эпизодом закончилась моя свобода, и я попал в тюрьму ровно на целых 14 месяцев.

Прерву здесь хронологию и, перенесясь на двадцать пять лет вперед, расскажу еще один тифлисский эпизод, находящийся в связи с описанным.

Был декабрь 1904 года. Неудача внутренней и внешней политики Николая II всколыхнули всю страну. На Юге, в Баку, в Ростове-на-Дону и Одессе к концу года разразились громадные забастовки рабочих, смело выставлявших не одни экономические, но и политические требования. На Севере рабочие не оторвались еще от старых традиций и предрассудков и под руководством попа Гапона собирались принести кровавую жертву 9 января во имя еще не изжитой ими веры в царя, покровителя и попечителя угнетенных. Зато на Севере проснулась из традиционной спячки

интеллигенция и 20 ноября в зале Павловой устроила многолюдный банкет под предлогом юбилея судебных уставов и под председательством В. Г. Короленки приняла резолюцию, требовавшую у правительства отказа от самодержавия. Я присутствовал на этом банкете в числе более 400 подписавших эту резолюцию: был в Петербурге и в день 9 января 1905 года, тщетно пытаясь днем проникнуть на Дворцовую площадь, а вечером присутствуя на многолюдном митинге в здании Вольного экономического общества. В промежутке этих дат я по делам компании «Надежда», где в то время состоял на службе, ездил в некоторые города Юга, где всюду устраивались банкеты, в том числе и в Тифлисе.

Узнав по приезде в Тифлис, что в этот день предполагалось устройство банкета, я раздобыл себе билет, и каково было мое удивление и вместе с тем удовлетворение законной гордости, когда увидел, что председателем банкета выбран был бывший член нашего лавровского кружка — доктор Худадов. Значит, за 25 лет не остыли в нем идеалы юности, и он оставался в числе лучших граждан города. Конечно, я по окончании митинга подошел к нему, чтобы горячо пожать ему руку. Он обрадовался, услышав мою фамилию, и пригласил меня на другой день к обеду, прибавив, что его жена тоже будет очень рада меня увидеть, так как очень огорчена была, 25 лет тому назад, моим арестом и часто вспоминала и упрекала меня в неосторожности.

Когда на другой день я приехал к Худадову, жена его вспомнила, что тщетно ждала меня в день моего ареста с приготовленным для меня кавказским пловом, который остался таким образом несъеденным.

— Таким образом вы сегодня съедите тот несъеденный тогда плов, так как я его сегодня нарочно для вас приготовила к обеду.

К сожалению, благотворная деятельность Худадова скоро была насильственно прикончена. Как выдающийся деятель тогдашнего революционного движения, он погиб на улице Тифлиса под ударом кинжала от рук наемного убийцы из тифлисской «черной сотни».

XIX

Возвращаюсь к рассказу о моем аресте. Полковник Орловский произвел тщательный обыск в скудном моем багаже, который вызвал, повидимому, некоторые сомнения полковника относительно моей благонадежности, так как он в числе книг, взятых мною в дорогу из Петербурга, нашел сочинение экономиста

А. Шеффле «Капитализм и социализм» в русском переводе. На какое-то замечание полковника по поводу заглавия этого сочинения я ему ответил, что этот Шеффле был, между прочим, министром в Австрии. Из квартиры после обыска меня отвезли в тифлисскую тюрьму, так называемый Метехский замок, построенный на отвесной скале над городом. Мне отвели там небольшую камеру, довольно неопрятную, но с чудесным видом из единственного окна. Стена, в которой прорублено было это окно, составляла как бы продолжение отвесной скалы в сто или более метров, возвышавшейся прямо из вод реки Куры, которая в тесных скалистых берегах несла свои пенящиеся волны. Окно это выходило на юго-восток, возвышаясь над старым туземным городом, тесно сдавленным между правым берегом Куры и скалистою горою, замыкавшею город с юго-востока, из-под которой фонтаном выбивались горячие серные источники, издревле славившиеся своею целебностью и давшие, как мне говорили, название самому городу, так как на каком-то из туземных языков слово «тип-лиз» означает «горячий ключ». С высоты, на которую вознесла меня моя злая доля, я любовался тесно скученным лабиринтом взаимно пересекающихся узких переулков, где местами с трудом расходились встречавшиеся верблюды с кладью. Переулки эти были малолюдны и совершенно лишены окон, так как все дома туземцев строились внутри высоких глиняных стен с окнами исключительно во двор.

В этой камере меня запирали лишь на ночь, а днем я мог свободно прогуливаться среди прочих арестантов по обширному тюремному двору, вымощенному каменными плитами. Между прочим, в одиночном заключении неподалеку от моей камеры находился тогда приобревший громкую славу на всем Кавказе какой-то туземец-разбойник, обладавший, говорили, сверхъестественной физической силой. В то время как раз разбирались его подвиги в суде, и каждый день с утра его отводили в суд, закованного в кандалы по рукам и ногам и окруженного 10 — 15 вооруженными стражниками как пешими, так и конными. При выходе из камеры его окружала толпа обитателей тюрьмы, и он, принимая театральные позы, произносил непонятные для меня слова. Мне передавали, что он насмехался над своими стражниками и говорил, что не думает бежать в городе, но когда его отправят в Сибирь, он непременно убежит с дороги и явится вновь на Кавказе продолжать свои геройские подвиги.

В тюрьме меня любезно три раза посетил жандармский полковник. В первый раз он спрашивал меня, кого я знаю в Тифлисе. Вероятно, кто-нибудь надоумил его удостовериться, что он

действительно арестовал то самое лицо, которое разыскивалось кишиневскими властями, а не какого-либо самозванца. Я, конечно, остерегся назвать Степанова и Рашета, которые помогали моему делу в Тифлисе, а тем более доктора Худадова и его жену, и поэтому сначала сказал, что меня в Тифлисе никто не знает; но этот ответ показался мне самому неудачным, так как естественно, что, служа несколько лет на Кавказе по судебному ведомству, я не мог не иметь знакомых в столице Закавказья; поэтому, подумав немного, я вспомнил, что, вероятно, в Тифлисе находится мой товарищ по бывшей службе во Владикавказе, сын тифлисского губернатора Орловский, однофамилец жандармского полковника. Когда я во Владикавказе занимал место судебного следователя городского участка, он был следователем одного из пригородных участков, населенных осетинами. По отсутствию в округе каких-либо благоустроенных дорог, кроме Военно-Грузинского шоссе, ему, несчастному, приходилось колесить по участку верхом по головоломным тропинкам, рискуя даже пасть жертвою какого-нибудь мстителя-туземца. Имея солидную протекцию, он, наверное, давно покинул этот неудобный и опасный пост и пристроился, я думал, на какую-либо более приятную должность при отце. Кроме того, по этой же причине и знакомство со мною не могло его компрометировнать.

Через несколько дней ко мне в тюрьму снова пожаловал полковник; он вызвал меня во двор и, прогуливаясь по двору, задавал разные, повидимому, никчемные вопросы о том, где я родился и учился, кто у меня имеются родные и где они находятся, после чего отвел меня в мою камеру обратно. Я ясно понимал, что задавая эти вопросы, он не совершал никакого следственного акта, так как не сотавлял протокола и не записывал моих ответов. Только затем я догадался, что жандармский полковник предъявлял меня «для опознания» моему бывшему товарищу по службе Орловскому, спрятанному в одном из окон тюремного двора, так как, вероятно, сын тифлисского губернатора счел недостойным своего высокого положения встретиться с арестантом на равной ноге, а жандармский полковник делал «выводку» преступника, подобно тем конюхам, которые выводили лошадей перед знатными посетителями или покупателями в конюшнях.

Наконец, полковник зашел ко мне в третий раз и заявил, что молодой Орловский очень сожалеет, что не имеет времени посетить меня в моей печальной доле, желает мне благополучно выпутаться из постигшего меня несчастья и, узнав, что при аресте мой кошелек оказался почти пустым, он просит меня принять от

него, как от бывшего товарища, 25 руб. на улучшение моего тюремного положения.

Приблизительно недели через две после ареста меня отправили в сопровождении двух жандармов из Тифлиса в Кишинев, сначала по железной дороге до Поти, оттуда пароходом РОПИТ'а * до Одессы в особой каюте II класса.

В Евпатории пароход останавливается на рейде далеко от берега, так как морское дно опускается там чрезвычайно медленно, так что нужно итти по воде чуть не с километр, чтобы погрузиться в воду до пояса. Выйдя в сопровождении жандармов на палубу, я подумал, что, может быть, не особенно трудно было бы бежать с парохода, бросившись прямо в воду и проплыв небольшое расстояние до места, где можно ногами достать дно; в случае усталости я мог бы, имея в руках зонтик вместо трости, распустить в воде этот зонтик и поддержать себя во время отдыха. Жандармы же свое усердие к службе не проявят, я думал, настолько, чтобы броситься за мною в воду, а будут хлопотать о спуске в воду лодки, что при неуклюжести наших казенных исполнителей, потребовало бы столько времени, что я успел бы выйти на берег и убежать далеко в степь. Конечно, мое благоразумие взяло верх над фантазией, так как, несомненно, отяжелевшая в воде моя одежда быстро потащила бы меня на дно, а если бы мне удалось выйти на берег, то в мокрой одежде я не далеко бы успел убежать среди многолюдной публики на пляже, не говоря уже о том, что жандармы не поцеремонились бы меня застрелить.

Из Одессы меня по железной дороге отправили в Кишинев вечерним поездом уже не с жандармами, а с двумя городовыми. Поместились мы втроем на двух скамейках у самого входа в вагон.

К Кишиневу мы подъезжали уже на рассвете. Поезд шел, страшно медленно двигаясь, вдоль берега речки Бык по пустынной, почти лишенной растительности, степи, гладкой, как письменный стол. Здесь меня опять стала соблазнять мысль сделать попытку к побегу и притом с большими как-будто шансами на успех. Поезд шел так медленно, что не представлялось никакого риска спрыгнуть с нижней ступеньки площадки, если прыгать лицом вперед; выбежать из вагона тоже не представляло большой трудности, так как я сидел у самой выходной двери, и не только выбежать, но даже захлопнуть за собою дверь. Сиволапые городовые, изморившиеся от бессонной жаркой ночи, сразу не успели бы последовать за мною, так что, пока они оказа-

* Т. е. Русское общество пароходства и торговли.

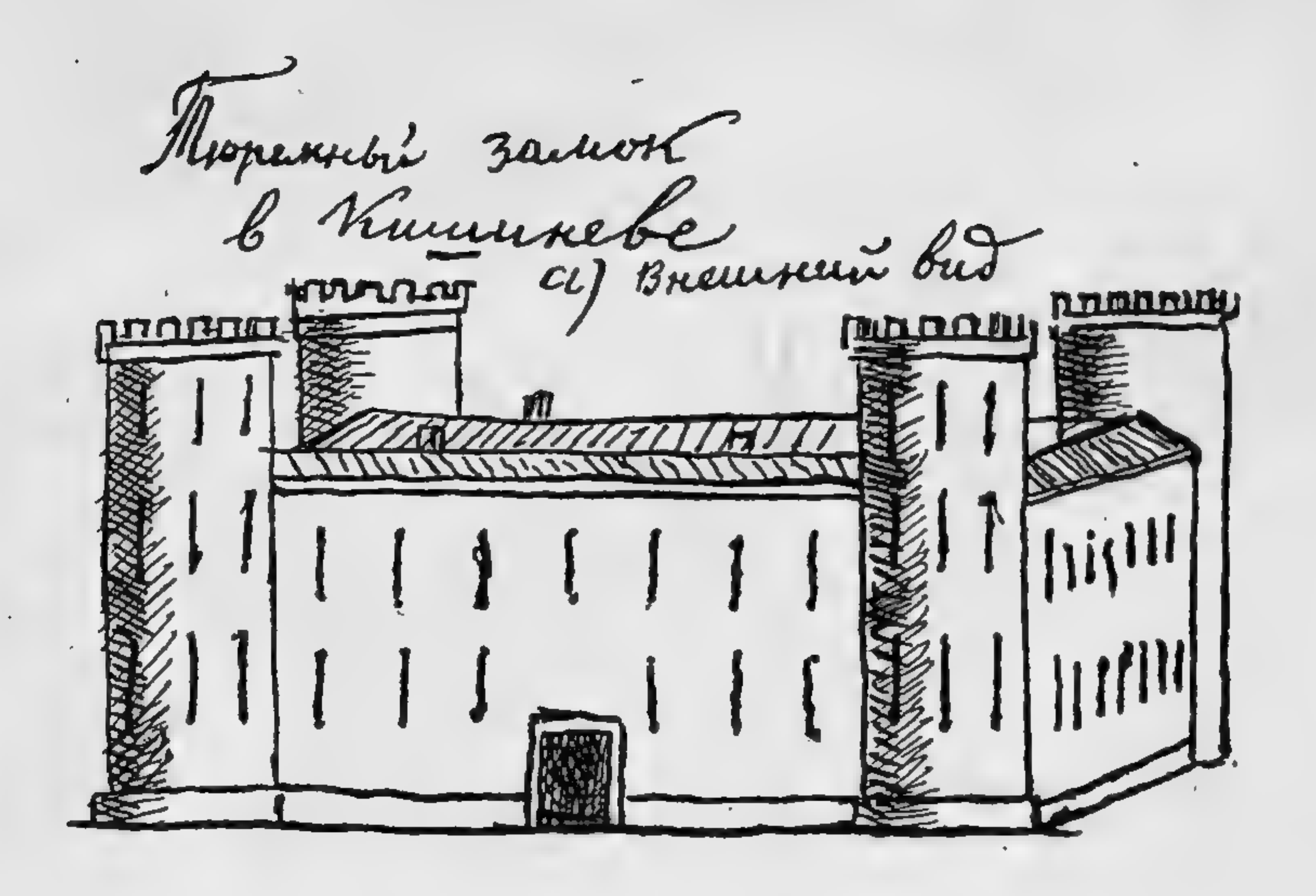
лись бы на площадке, поезд отошел бы от места моего скачка не на одну сотню шагов, так что опасаться выстрела из револьвера со стороны стражников не было оснований. Если же кто-либо из моих конвойных рискнул бы прыгать за мною, то, вероятно, он сделал бы это на свою погибель, так как, рассуждая психологически, можно предполагать, что он прыгал бы лицом ко мне, а не спиною, и по законам механики полетел бы кубарем. Пока им удалось бы остановить поезд, я был бы уже за километр и более от железной дороги и поезда. Конечно, и этот проект в конце концов оказался бы нелепым. Я, при моей привычке к пешеходным путешествиям, мог бы на первое время убраться далеко от погони, но куда же мне было бы укрыться, добыть пристанище и пропитание, не имея в кармане ни копейки? Мне пришло в голову, что я мог бы укрыться в имении семьи Сильверсванов, моих родственников по покойной сестре, в с. Саблуковке, на правом берегу нижнего Днепра, близ Каховки и Берислава; но, судя по карте, туда должно было быть не менее 300 — 400 килом., причем вопросом являлось, как переправиться через три судоходные реки: Днестр, Южный Буг и Ингул. Очевидно, преодолеть все эти препятствия было бы для меня немыслимо, и моим городовым не представилось случая проявить свою нерасторопность.

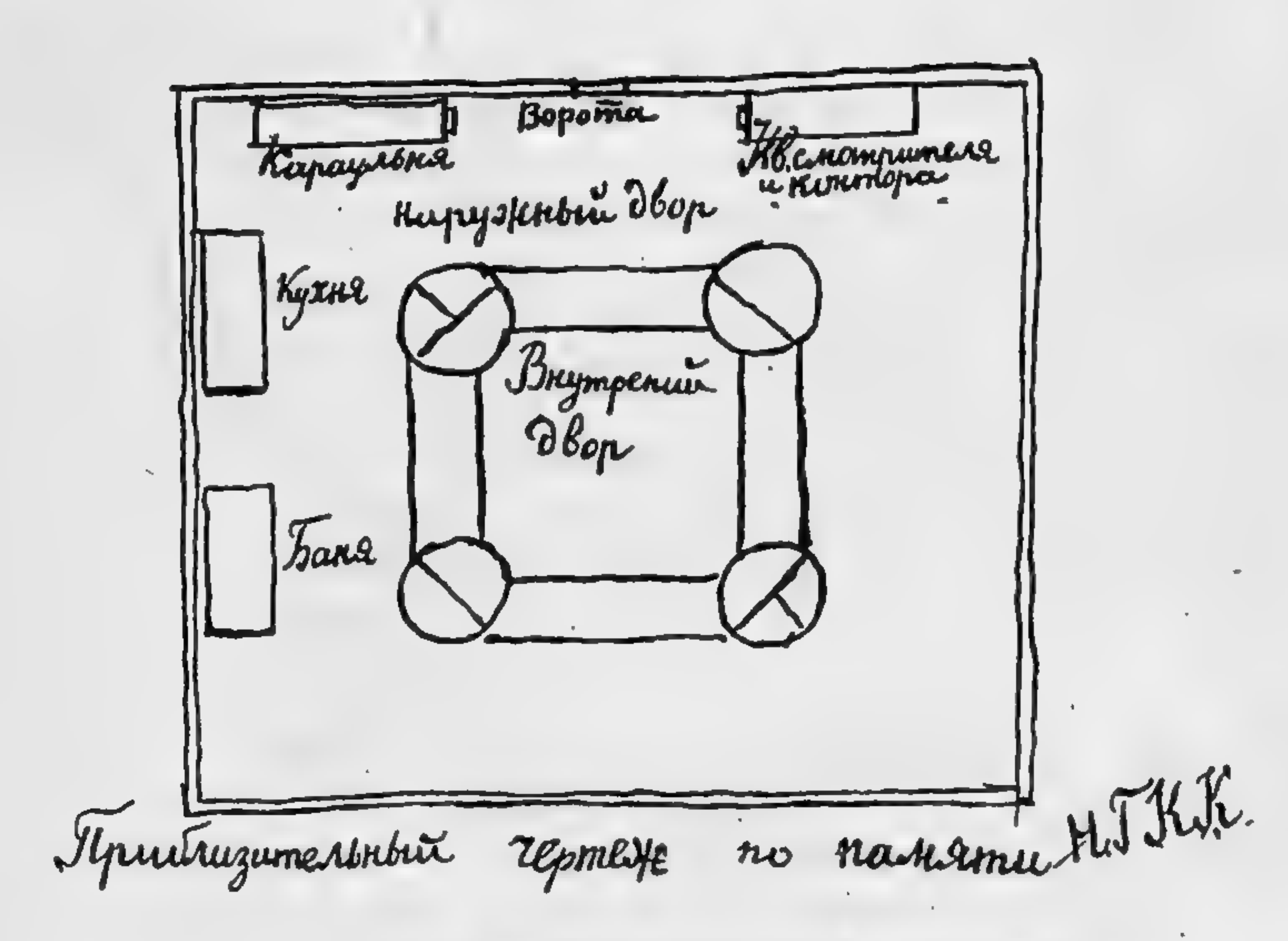
XX

В Кишинев мы прибыли очень рано утром; городовые усадили меня на извозчика и отвезли в Кишиневский тюремный замок. Смотритель тюрьмы уже сидел в канцелярии и выдал городовым квитанцию в принятии пакета и, как приложение к нему, «государственного преступника» такого-то, как значилось на конверте, хотя я не был еще «преступником», а лишь подозреваемым. Обращаясь ко мне, смотритель заметил, что я с дороги желал бы, вероятно, помыться, и предложил в сопровождении арестанта отправиться в тюремную баню, в которой, кстати, имеется и теплая вода.

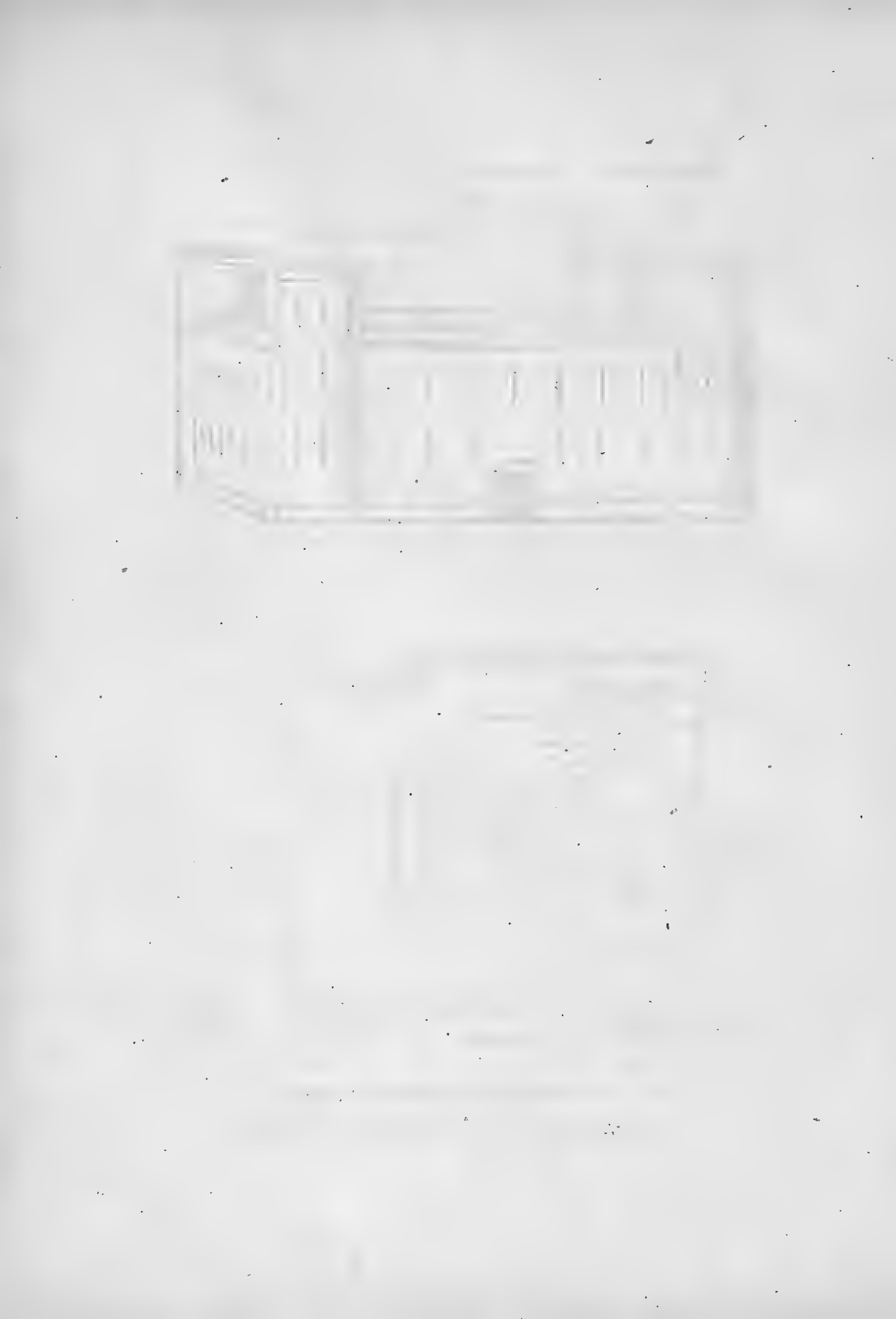
Когда я вернулся из бани, он позвонил, и в комнату из дверей смотрительской квартиры вошла изящно одетая горничная и поднесла мне стакан кофе со сливками и булкой. Такая любезная встреча, противоречившая всем моим ожиданиям, меня, конечно, тронула.

Вскоре после этого в контору пришел ключник с заявлением, что моя камера готова, и повел меня в тюремный корпус, в просторную комнату, помещавшуюся во втором этаже, в круглой башне, вследствие чего одна из стен комнаты была полукруглая





Чертеж Кишиневской тюрьмы,
сделанный Н. Г. Кулябко-Корецким



с очень высоким и узким окном в виде бойницы, сквозь которую нельзя пропустить голову, но дающую достаточно света вследствие высоты окна.

Здание Кишиневской тюрьмы заслуживает описания. Оно является чуть ли не самым капитальным и красивым или во всяком случае, стильным в Кишиневе *. По рассказам местных людей, М. С. Воронцов, бывший новороссийский генерал-губернатор, сославший Пушкина в с. Михайловское, во время своих заграничных путешествий обратил внимание на понравившийся ему средневековый замок в Германии и приказал снять с его плана и с фасада копии, а когда поднят был вопрос о постройке тюрьмы в Кишиневе, то он приказал привести этот план в исполнение. Тюрьму эту составляют четыре каменных двухэтажных корпуса, образующих внутренний квадратный двор, вымощенный плитами, в котором свободно гуляют арестанты, занимаясь разными играми, не исключая и азартных, а по четырем углам этого здания высятся трехэтажные круглые башни для одиночных камер. В одну из этих камер меня и заключили, причем к камере прибавлен был небольшой к ней коридорчик, который по произволу мог присоединяться или отделяться от камеры, смотря по тому, на какой двери накладывался висячий замок. Для меня этот коридорчик оставался открытым, и я из окна коридорчика мог наблюдать занятия арестантов во дворе, который можно было назвать специальным воспитательным заведением для обучения арестантов играм, тунеядству, праздности и прочим порокам.

После полудня мне принесли от смотрителя полный обед из трех блюд, что продолжалось и в последующее время. Впоследствии мне говорили, что в Кишиневе до меня собственно не бывало постоянных политических арестантов. Я был там, так сказать, первой ласточкой; со мною поэтому церемонились; жандармское управление платило смотрителю особую плату за мой стол. Впрочем, и до меня через кишиневскую тюрьму прошли некоторые заключенные по политическим делам. Именно, незадолго до моего прибытия в эту тюрьму в Одессу назначен был временным генерал-губернатором генерал Тотлебен, который с своим помощником Панютиным принес в Новороссийский край жестокий террор со смертными казнями и другими зверствами. С целью очистить край от неблагонадежных элементов он арестовывал массу ни в чем неповинных людей, известных за либералов, и ссылал их в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Между прочим от ключника я узнал что незадолго до моего прибытия через

* Прилагается приблизительный чертеж.

эту тюрьму прошли мой двоюрдный брат Сергей Кулябка и его сестра Анна. Это мне причинило много беспокойства, так как я подозревал, что ссылка их находилась в связи с моею деятельностью в Кишиневе, и на меня косвенно падала как-будто бы вина в их злоключениях, что впоследствии оказалось неосновательным.

На второй день по моем прибытии в Кишинев меня позвали в контору, где в соседней комнате я встретил своих следователей — молодого жандармского поручика и столь же молодого товарища прокурора, по фамилии Варзар. Товарищ прокурора с ехидной улыбкой с места в карьер обратился ко мне с ядовитыми словами:

— Каким это образом вы, стоя на пути блестящей карьеры по судебному ведомству, вдруг бросили эту карьеру и занялись торговлей кожевенным товаром?

— Никаким кожевенным товаром я не занимался и удивляюсь вашему вопросу.

— Как же, мы имеем доказательства, и вам советую сознаться добровольно для облегчения своей участи.

Я возразил ему, что не нуждаюсь в его советах, что я не мальчик, которого он мог бы уловлять своими следовательскими, довольно топорными, приемами, и с своей стороны прошу объяснить мне, в чем меня обвиняют и какие к тому имеются доказательства. А так как он продолжал глумиться надо мною, то я твердо заявил, что откажусь говорить с ними и обращусь к его начальству с требованием назначить более добросовестного и беспристрастного следователя.

— Я сам был, как вы знаете, следователем, и знаю, как добросовестный и честный следователь обязан добывать истину, а не фабриковать доказательства заранее придуманного обвинения.

Этот решительно выраженный протест несколько умерил обвинительный пыл прокурора, и он неохотно передал первую роль обвинителя в руки более скромного жандармского офицера.

Последний объяснил мне, что меня обвиняют в перевозке через границу, с помощью контрабандиста-молдаванина, многих экземпляров запрещенного в России революционного бакунистского журнала «Работник» и в отправке его по железной дороге в Москву под видом кожевенного товара.

Это сообщение сразу подняло мой дух. Я убедился, что первоначальное мое предположение о том, что меня запутали в свое дело члены московского революционного кружка, осужденного по процессу пятидесяти, подтверждается, и что о моей личной де-

ятельности по перевозке журнала «Вперед!» жандармы никаких сведений не имеют.

Я так и не добился предъявления моими обвинителями доказательств моего участия в приписываемом мне действии, утверждая, что onus probandi, т. е. обязанность представлять доказательства, лежит на обвинителях, а не на обвиняемом; но они настаивали на том, чтобы я доказал, что не находился в связи с другими обвиняемыми и что в момент совершения преступления находился в другом месте. На мое заявление, что я во время отправления кожевенного товара из Кишинева уже не находился в этом городе, а был в Петербурге, они возражали, что, по справкам в адресном столе, я в это время на жительстве в Петербурге не числился.

Я воспользовался этим замечанием, чтобы резко уязвить неосторожного в своих выступлениях товарища прокурора. Я вспомнил случайную свою встречу в вагоне под Петербургом с одной дамой, ехавшей пополнять через букинистов свою старую библиотеку для чтения в провинциальном городе. Я ей порекомендовал своего приятеля, приказчика книжного магазина, при содействии которого она блестящим образом выполнила свою задачу, за что изъявляла мне бесконечную благодарность. Она может по денежным записям точно установить дату нашей встречи и доказать мое alibi. Если бы дело шло об обвинении меня в каком-нибудь обычном преступлении, то я бы не преминул воспользоваться этим средством защиты, но, к сожалению, из сегодняшнего допроса я убедился, что не могу рассчитывать на беспристрастного следователя, как я сам понимал собственные обязанности, основываясь на наших судебных уставах. Пристрастный следователь, — говорил я, — сознательно будет стремиться толковать против меня даже факты, говорящие в мою пользу, и не задумается даже привлечь к следствию в качестве обвиняемой указанную мною свидетельницу, занимающуюся таким «неблаговидным» делом, как книжное.

Возбужденный спором, который превратился у нас в спорт, я говорил гораздо красноречивее и язвительнее, чем излагаю это теперь. Я довел товарища прокурора до того, что он инициативу допроса предоставил мало опытному жандармскому офицеру. В заключение я заявил желание лично писать мое показание, чтобы запечатлеть на бумаге полный провал обвинения. Это обвинение даже в руках весьма опытного следователя не могло быть особенно успешным, так как действительно я был совсем посторонним человеком к событиям, мне инкриминированным.

Заканчивая допрос, обвинители заявили мне, что в такой-

то день на будущей неделе они меня предъявят для уличения молдаванину-контрабандисту, с которым будто бы я имел дело.

На это я возразил, что упомянутый молдаванин, напуганный важностью совершенного им проступка, охотно признает всякого предъявленного ему человека, лишь бы развязаться с опасной для него авантюрой.

— Мы предъявим вас в группе с несколькими другими лицами, — ответил мне жандармский офицер, — чтобы предъявление это не носило характера подстрекательства.

Несмотря на это обещание, я все-таки с большою долей опасения ожидал этой встречи с молдаванином, так как подозревал, что это был тот самый контрабандист, с которым и я имел дело при перевозке изданий «Вперед!», и он легко мог бы меня вспомнить и признать.

В назначенный день меня снова вызвали в контору и предъявили вызванному контрабандисту в сообществе трех моложавых тюремных обитателей, ожидавших или отбывавших наказание.

Нас четырех поставили рядом, меня на правом фланге, и вызвали молдаванина из другой комнаты.

На вопрос, признает ли он кого-либо из предъявленных лиц теми, с которыми он имел дело при перевозке через границу запрещенной газеты, он, не колеблясь, тотчас же ответил отрицательно.

Тогда товарищ прокурора, огорченный неудачей очной ставки, продолжал свою роль обличителя à l'outrance, и довел свою продерзость до того, что откровенно обратился к молдаванину с замечанием:

— Что же это вы так скоро решаете? Вы присмотритесь внимательнее. Может быть, этот? — и при этом левою рукою указывал прямо на меня.

Молдаванин уставился глазами на меня и продолжал молча смотреть на меня довольно долго, так что у меня уже начали набегать слезы на глаза от усилий не моргнуть глазом и не выдать себя каким-нибудь движением. Эта пытка смутила даже жандармского офицера, и он, наконец, сказал молдаванину:

— Что же это вы все на одного смотрите? Вы посмотрите на следующего!

Молдаванин перевел глаза на моего соседа и дал мне возможность передохнуть.

— Вот у этого, — сказал он, указывая на моего соседа, — несколько похожа борода; но нет, и этот непохож. Я уже докладывал и раньше, что один был высокий чернявый (или черненький), а другой пониже, рыжеватый. А все эти непохожи.

Когда стали писать протокол, я хотел было потребовать отметки в протоколе слов товарища прокурора, явно подстрекавшего свидетеля показывать против меня, но затем отказался от этого намерения, чтобы поскорее закрепить протоколом удачный для меня оборот дела и своим вмешательством не дать повода молдаванину более внимательно фиксировать свое внимание на мне, так как мне показалось, что вызванный контрабандист был именно тот, который работал и для меня, но за давностью времени и краткостью свиданий не сохранивший меня в своей памяти.

После неудачи последнего следственного действия мои обвинители несколько дней бездействовали, а затем вновь вызвали меня в контору и заставили подробно написать мою автобиографию с указанием моего рождения, учения, перечисления родных, службы и моих поездок за границу, причем в особенности добивались перечисления городов, которые я посещал за границей, и гостиниц, где я останавливался. Я отказался описывать все эти подробности, ссылаясь запамятованием, а коротко писал, что во время моего укрывательства жил «в разных местах империи», за границей был «много раз», что перебывал почти во всех крупных городах и замечательных местах Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции до Константинополя включительно, ездил за границу с целями лечения болезни, слушания лекций в университетах и в качестве туриста.

После этого допроса все следственные действия по моему делу прекратились, и я больше года просидел в заключении без всякого объяснения причин моего столь долгого и бесцельного задержания. Очевидно, у моих следователей составилось твердое убеждение о моей виновности, и они втайне от меня изыскивали какие бы то ни было улики, для чего даже два или три раза снимали с меня фотографии. Удивительно, как не нашлось у моих обвинителей каких бы то ни было данных. Ведь я в течение около двух лет многократно разъезжал по центральной и западной России, развозя заграничные издания во многие города этой части России, собирая деньги на эти издания и корреспонденции, а затем тоже около двух лет прожил эмигрантом, не скрываясь, в Лондоне, сотрудничая в редакции революционного журнала. Как, значит, несовершенны были в те времена приемы III Отделения и его агентов в борьбе с революционерами, и, с другой стороны, насколько осторожно было поведение членов «впередовского» кружка во взаимных сношениях и как отрицательно было их отношение к какой бы то ни было рекламе.

Тюремный режим мой менялся много раз. И мне остается

здесь только охарактеризовать вкратце последовательные в нем перемены.

Сначала кругом меня все складывалось по-старому. Ежедневно мне приносили обед от смотрителя, а жена его раз или два в неделю переменяла книги для моего чтения в библиотеке моей старой знакомой, кишиневской библиотекарши Гришенко. Она снабжала меня по преимуществу произведениями польских романистов — Крашевского, Гловацкого, Оржешко и других в русском переводе. После обеда меня «выводили» на прогулку, которая состояла в том, что мне отводили до 30—40 метров тропинки вдоль здания тюремной конторы и по концам этой тропинки ставили солдат с ружьями. Обстановка такой прогулки была столь непривлекательна, что я часто уклонялся от нее под предлогом то плохой погоды, то моего нездоровья. Смотритель снабжал меня газетами, предупреждая, впрочем, чтобы я эти газеты аккуратно прятал под тюфяк, так как ему «влетит» в случае, если какое-либо из начальств, зайдя ко мне в камеру, обнаружит такое капитальное отступление от тюремных правил. Из того, что он сам для себя выписывал либеральную газету «Русские Ведомости», я заключал, что этот смотритель, вопреки обычному, принадлежал к числу либералов, что заметно было также по гуманному его обращению с подчиненными и, кажется, насколько я успел подметить, и с арестантами. Только один раз, о котором я скажу далее, я видел его прибегающим к рукоприкладству.

Через две или три недели после последнего допроса ко мне в камеру в сопровождении смотрителя явился прокурор Кишиневского окружного суда, который, в противоположность своему подчиненному Варзару, держал себя очень любезно и вежливо. Он предложил мне, взяв у смотрителя лист бумаги, написать в конторе прошение на имя прокурора Одесской судебной палаты с просьбой об освобождении меня от ареста с отдачей, до окончания дела, на поруки или под надзор полиции.

— Ваше дело не находится в моем распоряжении, — говорил он мне; — по окончании следствия я переслал его в Одессу. Теперь я завтра сам еду в Одессу по делам службы; буду у прокурора палаты и передам ему ваше прошение. Если он не будет ничего иметь против, то я немедленно буду телеграфировать в Кишинев о вашем освобождении. У нас действует правило: в политических делах по телеграммам не освобождать арестованных, а ждать получения формальных письменных предписаний; но в данном случае я условился наперед с жандармским полковником и смотрителем, чтобы они вас освободили по моей телеграмме,

так как иначе, пока будут писаться, регистрироваться и пересылаться бумаги, вам пришлось бы просидеть еще несколько лишних дней.

Я, конечно, возликовал от столь быстрого окончания моих тюремных злоключений и упрекал себя за мое упрямое недоверие к «гуманности» властей, благодаря которому я столько лет пребывал в положении зайца на парфорсной охоте.

После этого прокурорского визита ежедневно во время моей послеобеденной прогулки выходил ко мне навстречу смотритель и, гуляя рядом со мною, вздыхая, приговаривал: «Нет телеграммы», «Все нет телеграммы»... пока перестал о ней и вспоминать. Очевидно, прокурор судебной палаты Евреинов по моему делу держался иных взглядов.

Еще через одну или две недели меня в утренние часы снова вызвали в контору. На этот раз меня встретил мой двоюродный брат Григорий Николаевич Кулябка, получивший от жандармского полковника и прокурора разрешение на свидание со мною. Это тот Кулябка, который в январе 1876 года приезжал в Одессу предупреждать меня о том, что в моей бывшей квартире в Кишиневе был обыск, и побудивший меня скрыться из Одессы. Особенно обрадовало меня его сообщение о том, что ссылка в Сибирь его брата Сергея и сестры Анны не стояла ни в какой связи с моею деятельностью в Кишиневе, а была в ряду общих мер генерала Тотлебена по очищению Новороссийского края от либеральных элементов населения.

Еще через небольшой промежуток времени я был обрадован еще одним посещением; из Полтавы приехал меня навестить мой зять, муж моей сестры, Булюбаш. От местного губернатора, получившего обо мне запрос из Кишинева, он узнал о моем аресте и, получив разрешение, приехал повидать меня. Он сообщил мне, что посетил в Кишиневе всех властей, касающихся моего дела, и получил везде благоприятные сведения о том, что следствие не выяснило против меня никаких данных и что местные власти сами находятся в недоумении, чем объяснить причины, задерживающие мое освобождение. Мой зять пробыл в Кишиневе два или три дня и каждый день приходил ко мне на свидание, для чего меня вызывали в контору. Он накупил для меня некоторое количество белья, которого у меня был большой недостаток, оставил некоторую сумму денег на мои повседневные расходы и подписал абонемент на книги для чтения в упомянутой библиотеке Грищенко, которая заявила ему, что охотно будет снабжать меня книгами, даже вне всяких правил, как хорошего своего знакомого.

Действительно, с этого времени она присылала через тюремного посыльного еженедельно целые связки книг по моим спискам, так что книжного материала у меня был всегда большой избыток.

Прошло еще несколько недель, и я совершенно свыкся с тюремным режимом, как-будто это был для меня нормальный образ жизни, и за чтением книг время проходило у меня незаметно. Но однажды во время обычной моей послеобеденной прогулки ко мне присоединился смотритель, что он делал очень часто и раньше, стараясь меня развлечь, хотя ни мне, ни ему не удавалось найти постоянный предмет для наших разговоров. На этот раз он спросил меня, не чувствую ли я большой тяжести от постоянного одиночного заключения. Не желая с ним откровенничать, я довольно неопределенно ответил: «Да, конечно, не легко мне; тем более, не видя конца этому истязанию!». Тогда смотритель сказал мне: «Я поговорю о вас с жандармским полковником; я буду ему говорить, что мне показалось, как-будто вы начинаете заговариваться. Быть может, вас поместят с кем-либо из других арестованных по политическим делам».

Я сразу понял, что смотритель говорил не от себя, а по поручению полковника. И, действительно, на другой же день ко мне в камеру зашел жандармский полковник, раньше ко мне не показывавшийся. Это был довольно плюгавенький старичок, небольшого роста и довольно невзрачного вида, мало похожий на тех бравых воителей против внутреннего врага, с которыми мне приходилось встречаться и раньше, и позже.

Он тоже спросил меня о состоянии моего душевного здоровья и получил довольно неопределенный ответ, и затем спросил меня, охотно ли я соглашусь поместиться в одной камере с двумя содержимыми в тюрьме молодыми людьми, из коих один — гимназист последнего класса, очень умный и симпатичный юноша, а другой — актер местной драматической труппы, очень юный, почти мальчик, мало развитой и скромный. Когда я изъявил согласие на это перемещение, меня сейчас же перевели в их камеру, помещавшуюся в другой тюремной башне, очень обширную, высокую и освещенную тремя бойницами в три-четыре аршина высотою, дававшими обилие света.

С этими сожителями мне пришлось прожить, сколько помню, около трех месяцев. Гимназист, местный уроженец, молдаванин, хотя и с русской фамилией — Попович, оказался очень умным и развитым мальчиком, лет восемнадцати, с живым умом и большою жаждою знаний. Он очень обрадовался обилию книг, которые я принес с собою из моей камеры. Взаимно условившись

относительно состава желательных для чтения книг, мы порешили читать их вслух по очереди, и в течение трех месяцев, что провели совместно в тюрьме, мы успели прочитать огромное число книг, лишь частью мне известных, а для него большею частью еще незнакомых. Перечитали мы полные собрания первоклассных иностранных авторов в изданиях Гербеля — Шекспира, Байрона, Шиллера, Гете и других, также французских, испанских и итальянских авторов, затем всеобщую историю Шлоссера, историю Гервинуса и множество других книг, так что не только юный мой сочтец, но и я почерпнул, а отчасти обновил за это время немало познаний.

Относительно актера, по фамилии Короткевич, надо сказать, что жаждою знаний он не мог похвалиться и часто негодовал на нас, что мы не хотим дать роздыха его ушам. Но он был юноша добрый, не лишенный юмора и даже, повидимому, некоторой талантливости. Так он обладал особой способностью к звукоподражанию. Он артистически имитировал крик петуха, лай собак и вообще звуки, издаваемые многими другими животными, а также акцент иногородцев — евреев, армян, греков, молдаван и др. В часы, когда мы давали отдых его ушам, он забавлял нас сложными сценами, артистически им выполнявшимися, как, например, разноголосая грызня собак, или сцена, в которой мать ругает сына, не умеющего унять плачущего мальчишку-брата, причем все трое кричат и плачут на разные голоса.

Оба мои сожителя были все время радостно настроены и не беспокоились о предстоящей им судьбе. Они были взяты ночью при расклейке на улицах Кишинева революционных прокламаций по поводу покушения Мирского на генерала Дрентельна. Так как следствием не было установлено никакой связи их с революционной организацией, то они полагали, что дело их окончится кратковременным арестом. Гимназист Попович говорил, что по отбытии наказания он полагает уехать доучиваться в Румынию; а на замечание мое Короткевичу, что он в своем таланте к звукоподражанию будет иметь кусок хлеба на всю свою жизнь, он с негодованием возражал что нужно потерять всякое человеческое достинство, чтобы решиться с эстрады «петь петухом».

Через два или три месяца после пребывания их в кишиневской тюрьме их обоих повезли в Одессу на суд. Впоследствии мне передавали, что оба они были присуждены судом за «участие в тайном сообществе и пр.» к каторжным работам, причем суд, приняв во внимание их несовершеннолетие и «неразвитость», понизил им наказание до кратковременного ареста в несколько месяцев [149].

Дальнейшая судьба Поповича мне неизвестна, а относительно Короткевича я могу вспомнить два эпизода моих с ним последующих встреч, которые сообщаю здесь, не рассчитывая добраться до этих событий в своих мемуарах.

Года через два или три после моего пребывания в кишиневской тюрьме я проживал в Полтаве и в летнее время ходил обедать в дешевенький ресторан в Александровском саду. Время было ярмарочное, и заборы пестрели рекламами и объявлениями о разного рода увеселениях на ярмарке. Между прочим мне бросилась в глаза афиша, на которой огромными буквами извещалось, что «знаменитый звукоподражатель животных Егоров» будет иметь честь давать представления в Александровском саду. Я вспомнил своего тюремного сожителя Короткевича и подумал, что едва ли этот «знаменитый» Егоров сравняется с ним в искусстве звукоподражания. Усевшись обедать на терассе ресторана, я увидел, что на площадке вдоль этого ресторана прогуливался молодой человек небольшого роста, внимательно меня рассматривавший. Всмотревшись в него, я узнал в нем Короткевича и подозвал к себе. Он очень обрадовался свидеться со мной, сейчас же узнал меня, но не решался подойти первым. На мой вопрос, что он делает в Полтаве, он, сконфузившись и опустив глаза, ответил:

— К крайнему стыду моему, вы когда-то предугадали мою судьбу. Я пою петухом на эстраде.

Затем в подробностях рассказал, что завел себе семью и бедствует, с трудом зарабатывая семье черствый кусок хлеба, разъезжая по ярмаркам и сознавая, как низко он пал в собственных глазах. Я, конечно, старался ободрить его, приласкал, повел к себе и напоил его чаем, а вечером повел некоторых своих знакомых в Александровский сад, чтобы показать им его талант и вместе с тем наглядно показать ему, что я не отношусь к нему свысока.

Прошло с этого времени более 20 лет. По делам компании «Надежда», где я состоял на службе по страховому отделу, я посетил г. Воронеж и вечером по окончании занятий отправился развлечься в театр. Не помню теперь, какую давали пьесу, но хорошо помню, что при выходе на сцену пожилого актера, изображавшего комическую роль, весь театр разразился громом рукоплесканий, свидетельствующих о высоком почете, которым пользовался этот актер у театральной публики. Взглянув на афишу, я к великому своему удовольствию узнал, что этот любимец публики был не кто иной, как Короткевич, мой старый знакомец по кишиневской тюрьме, который, пройдя самые низкие слои чело-

вического общежития, добился таки в жизни почетного положения и общественного уважения.

После увоза молодых моих тюремных сожителей в Одессу, меня перевели из нашей общей огромной камеры в мою прежнюю комнату с примыкающим к ней коридорчиком, а через некоторое время, уже не спрашивая моего согласия, ко мне в камеру посадили нового пленника.

Это был молодой дезертир, обвинявшийся в политическом преступлении. Назывался он — Бойко, но утверждал сам, что это не настоящее его имя. Он рассказывал мне, что по происхождению он крестьянин Екатеринославской губ., из селения, принадлежавшего некогда помещикам Жебуневым. Он хорошо знал обоих Жебуневых, сосланных в Сибирь, от них усвоил революционные идеи и, попав по набору в солдаты, деятельно распространял революционные идеи между товарищами; а когда деятельность его обнаружилась, он успел бежать и участвовал затем во многих террористических актах. Не знаю, искренно ли или прикидываясь он выдавал себя за отчаянного анархиста, возмущался, что его не привлекли к делу о повешенных в Николаеве матросах, и уверенно утверждал, что кончит жизнь не иначе, как на виселице. Несмотря на такую радикальную программу в жизни, он не остерегался показывать признаки некоторой изнеженности.

Надо сказать, что со времени перевода меня из одиночной камеры режим моего продовольствия начал сильно понижаться и ко времени моего сожительства с Бойко перешел на чисто арестантскую пищу. Ежедневные без перемены меню обеды и ужины (пустые щи и постная пшенная каша) до того опротивели Бойко, что он не только не мог питаться ими, но даже отворачивался от них, тогда как я, гораздо более его избалованный, относился к пище с меньшим отвращением. Питались же мы главным образом чаем и белым базарным хлебом, для чего у меня было достаточно денег, оставленных мне моим зятем.

Сожительство мое с Бойко кончилось несколько трагически. Однажды, рассматривая через коридорное окно внутренний тюремный двор, я вдруг заметил в окне третьего этажа противоположной круглой башни миловидное женское лицо, а когда ко мне присоединился Бойко, то мы увидели, что эта женская особа заметила нас и шлет нам поклон. У Бойко загорелось желание непременно завести с этой особой сношения, и я был настолько неосторожен, что первый предложил для этого удобный способ. В моих вещах были старые газеты. И вот мы без ножниц, при помощи одних пальцев, стали из газетной бумаги вырезывать

буквы высотой не менее восьми-двенадцати сантиметров. Эти буквы мы наклеивали слюной на стекло и установили таким образом с нею сношения. Мы спросили ее фамилию и за что она сидит. Она сообщила свою фамилию, которую я не помню, и что была арестована «на границе». Я, как инициатор этого способа сношений, был, конечно, горд им, но считал благоразумным ограничиться полученными сведениями и не злоупотреблять открытым способом. Моего сожителя уговорить однако к умеренности было трудно; ему непременно нужно было узнать от нашей корреспондентки какие-то важные для него сведения, а я указывал на то, что двор был полон арестантами, между которыми могли найтись доносчики, да и надзиратели постоянно проходят через двор. И действительно, один из надзирателей, проходя через двор, увидел Бойко, наклеивавшего на стекло буквы, и погрозил нам пальцем. А через четверть часа к нам явился смотритель, выбранил нас обоих и распорядился запереть на замок дверь между нашей камерой и коридором, причем так называемая «параша», стоявшая раньше в конце коридора, была внесена к нам в камеру и стала отравлять в ней воздух. Это во всех отношениях ухудшило наше положение.

Неудача не охладила рвения моего сожителя. Еще раньше я заметил у Бойко небольшой карандашик, которым он писал какие-то записки на клочках бумаги, секретно передавая их арестантам, ежедневно приходившим в сопровождении ключника убирать нашу камеру.

Не прошло, кажется, недели, как арестант, переносивший куда-то записку Бойко, попался с нею, и смотритель вместе с двумя надзирателями явился производить обыск. Бойко, вынув из кармана какую-то записочку, взял ее в рот, чтобы проглотить, но в это время бывший всегда скромным и вежливым смотритель вдруг превратился в разъяренного зверя, бросился на Бойко и так стиснул его горло, что я опасался, что он его задушит. Бойко, конечно, раскрыл рот и выпустил записку, которая попала в руки смотрителя. Затем в белье и платье Бойко и в его постели был сделан тщательный обыск и найден был его карандашик. После этого Бойко увели в карцер, а через два-три дня снова мне открыли дверь в коридор, так как и переговоры наши с пленницей противоположной башни были отнесены к единичной вине Бойко, а не моей.

После этого инцидента властями уже не делалось опытов совместного помещения меня с кем-либо из заключенных, и я еще несколько месяцев просидел в Кишиневе в одиночной камере без каких-либо признаков движения моего дела. Только раз или два

меня выводили на тюремный двор, где фотограф снимал с меня фотографию. Очевидно, следственные власти, чувствуя во мне скрытого «преступника», изощрялись в средствах для отыскания против меня улик.

XXI

Весною 1880 года, в каком месяце — не помню, меня перевезли из кишиневской тюрьмы в одесскую, и я тотчас же почувствовал глубокую разницу в режиме этих двух тюрем. В Одессе смотрителем тюрьмы был форменный злодей, по фамилии, кажется, Зубачевский, приобревший громкую славу в арестантском мире и в конце концов покончивший жизнь под ударом кинжала от руки арестанта.

Осматривая вещи в моем чемодане при моем прибытии в тюрьму и увидя пачку табака, он разразился криком и бранью, утверждая, что употребление табака воспрещено у них. Я спокойно заметил ему, что если употребление табака воспрещено, то ему достаточно отобрать его от меня, не прибегая к крику; он однако продолжал кричать, но табак все же оставил в моем распоряжении. Затем он повел меня в полутемную камеру, окно которой выходило на противоположную стену и давало мало света даже в солнечные дни, и при этом, желая действовать на мои нервы, он сообщил, что в этой камере содержался Малинка и последнюю ночь перед казнью провел на той же койке, на которой мне предстоит спать. Это замечание сделано было им, очевидно, исключительно из ехидного желания помучить мои нервы. Разыгрывая из себя усердного службиста, он ежедневно по утрам и вечерам в сопровождении ключника обходил одиночные камеры с однообразным вопросом: «Не имеете ли чего заявить?», на что от меня постоянно был ответ: «Нет, не имею».

Я вообще проявлял к нему абсолютный индиферентизм и ни разу не обратился ни с какой просьбой или с вопросом. Впрочем, через несколько дней он сам предложил: «Не хотите ли чего почитать?», и когда я односложно выразил согласие, то прислал мне маленькую, грязно изданную брошюрку какого-то священника под заглавием в роде «Нравоучительные (или Назидательные) беседы с узником». Очевидно, это сделано им из желания поглумиться над узником, попавшим в его переделку. Несколько позднее он прислал мне тоненькую книжицу—«Четыре евангелия» на русском языке, чему, впрочем, я обрадовался, как случаю познакомиться с подлинным переводом евангелий, так как до того времени я был знаком с историей жизни и учения Христа только в переложении гимназических учебников. Я несколько раз

перечитал эту книжку, так как свободного времени имел много, но должен признаться, что на меня это чтение произвело очень слабое впечатление, и я удивляюсь, как могла книга, столь элементарно, наивно и противоречиво написанная, производить колоссальное впечатление на миллионы людей и созидать мировые перевороты.

Через несколько недель меня перевели из моей полутемной камеры главного тюремного корпуса в светлую и веселенькую комнатку в специально построенном для политических заключенных одноэтажном здании. В нашем коридоре было, повидимому, всего шесть или семь небольших камер, метра в три ширины и четыре метра длины. Окна были достаточно широкие, с форточками, а деревянные стены не очень толстые, легко передававшие звуки из камеры в камеру. Таким образом из действительного одиночного заключения я попал в формальное и очутился среди непрестанного стука и шума вследствие перестукиваний соседей между собою или же откровенных переговоров через форточки в окнах или через «глазочки» в дверях. Не могу сказать, чтобы я особенно был доволен этой перемене; хотя я и понимал азбуку перестукиваний, но ее не выучил наизусть и не мог следить за быстро следующими друг за другом буквами, выстукивавшимися моим соседом. Откровенные же переговоры через форточку вызывали часто грубые окрики со стороны часовых, из которых один ходил вдоль коридора внутри здания, а другой — вдоль окон во дворе. Поэтому для меня лично эта легкость сообщений была скорее в тягость, чем в удовольствие, и я подчинился этому режиму лишь из чувства товарищеской солидарности, чем из потребности в общении. Меня, конечно, немедленно засыпали вопросами о моем имени, о деле, по которому я арестован, причем наивно добивались узнать подробности. Когда же узнали из моих слов, что я бывал за границей, то понуждали меня чуть ли не читать лекции о германской социал-демократии, о рабочем движении в Англии и Швейцарии, о сущности учения Маркса и т. п. Почти наверное между сидящими в таком «одиночном» заключении помещались и провокаторы, в ограждение от «измены» которых наивная молодежь не принимала никаких мер.

К заключенным в этом флигеле смотритель также заходил два раза в день с теми же вопросами, и мои соседи нередко вступали с ним в пререкания, хотя иногда и основательные, но по результатам всегда бесцельные. Наиболее основательными были жалобы на отсутствие прогулок и на недостаток продовольствия. Хотя я по тюремным правилам и состоял на «дворянской» порции, но получал отвратительную еду. Мясо в щах подавалось та-

кое, что его можно было только высасывать, а не жевать, каша давалась большею частью на постном вонючем масле с большою примесью песку. Я пользовался исключительно собственною пищей, так как имел в канцелярии тюрьмы свои деньги, присылавшиеся мне родными, но беда была в том, что за покупками из тюрьмы посылалось всего один раз в неделю, а камеры были настолько сыры, что на второй день базарные булки покрывались плесенью, так что покупать можно было только чай, сахар и какие-то, довольно, впрочем, вкусные, «галеты». И я за все время пребывания в одесской тюрьме, продолжавшееся около трех-четырех месяцев, питался исключительно одним чаем в прикуску и галетами. Три раза в день нам приносили кипяток в собственных жестяных чайниках, а так как в моем чайнике помещалось около семи небольших стаканов, то, следовательно, я ежедневно выпивал до двадцати одного стакана, и такой режим отразился впоследствии в виде упорного катара желудка.

Бывший член нашего лавровского кружка, известный впоследствии профессор-клиницист Киевского университета В. П. Образцов, временно пользовавший меня в Киеве через шесть-семь лет по выходе из тюрьмы от катара желудка, говорил мне, что у меня желудок так растянут, как у закоренелого пьяницы.

Никаких происшествий за время моего пребывания в одесской тюрьме не произошло. Но как арест мой в Тифлисе сопровождался описанными мною несуразными происшествиями, в роде вещего сна, неожиданного предостережения и т п., так и освобождение мое сопровождалось неожиданными приключениями и отступлениями от нормы.

Я очень хорошо помню, что было 14-е число июля месяца. Ключник накануне при раздаче обедов заявлял в каждой камере, что на другой день объявлено посещение тюрьмы вновь назначенным в Одессу генерал-губернатором Дрентельном, и просил заключенных привести в порядок свои камеры, спрятать табак и т. п., чтобы не вызвать замечаний такого важного посетителя. Тотчас же после этого между заключенными завязался оживленный разговор по вопросу о том, предъявлять ли генералу какие-либо просьбы или жалобы. На их вопрос по этому предмету я говорил, что никаких замечаний или запросов и жалоб я не предполагаю делать и вообще ни в какие рассуждения пускаться не намерен. В случае же запроса самого генерала о моих пожеланиях я могу ответить лишь одним, что желаю получить свободу и ничего более.

На другой день в нашем коридоре царствовала необычная тишина. После 12 часов послышался в коридоре топот большо-

го числа лиц, шедших по преимуществу со шпорами; эта толпа медленно двигалась по коридору, останавливаясь около каждой камеры, но звука отпираемых запоров и замков, столь приевшихся каждому из заключенных, не слышалось. Очевидно, генерал останавливался около каждой камеры, заглядывал в «глазок» каждой двери и выслушивал доклад смотрителя или другого чиновника о заключенном, но ни к кому из последних не заходил, так что все приготовления моих соседей, касавшиеся жалоб и запросов, остались безрезультатными. Так двигался Дрентельн со своим многолюдным хвостом вдоль всех камер до моей, бывшей последней в коридоре, и только у моей двери я к удивлению своему услышал приказ ключнику: «Отворяй!», после которого раздался обычный лязг железного запора, и в мою камеру вошел пожилой чиновник небольшого роста в вицмундире со звездой, обратился ко мне с вопросом: «Вы такой-то?» и на мой утвердительный ответ сказал: «И вы не освобождены?» — «Как видите»,—отвечал я. Тогда прокурор судебной палаты Евреинов (это оказался он) заявил, что он еще вчера подписал бумагу о моем освобождении из тюрьмы и удивляется, что это его распоряжение до сих пор не исполнено. Вошедший в мою камеру вместе с прокурором генерал, оказавшийся одесским градоначальником, громко стал выражать свое неудовольствие по поводу неисправности его же подчиненных и заявил намерение подвергнуть виновных взысканию, после чего оба сановника вышли из моей камеры в коридор, и ключник с грохотом закрыл на запор дверь перед недоумевающим мнимо-свободным пленником.

Когда затихли шаги удаляющихся ревизоров, во всех соседних с моею камерах поднялся шум, и все мои соседи закидали меня вопросами о том, что говорил со мною генерал, а сообщение мое о том, что я был объявлен свободным и немедленно затем вновь заперт под замок, стало предметом оживленных разговоров на весь день до глубокой ночи.

По отъезде генерала из тюрьмы ко мне в камеру специально заходили и ключник, и смотритель, выражая свое недоумение по поводу небывалого в тюрьме казуса, но смотритель, изменив грубый тон на вежливый, стал извиняться передо мною, что по словесному распоряжению прокурора он не считает себя в праве освободить меня до получения формального письменного приказа. Таким образом, мне пришлось еще провести одну ночь в тюрьме, и только на другой день, т. е. 15 июля, утром ключник зашел ко мне в камеру и сказал: «Собирайте вещи и пожалуйте в контору». Там смотритель заявил мне, что он до сих пор не имеет распоряжения о моем освобождении, но так как по закону он не

имеет права держать в заключении более суток неправильно арестованного, то он меня под стражею отправляет при бумаге в одесское городское полицейское управление, в ведении которого числилась тюрьма. Получив из конторы оставшиеся неизрасходованными несколько рублей моих денег, я уселся в тюремную карету и торжественно, окруженный тремя-четырьмя солдатами с ружьями, двинулся по городу в полицию. Там меня провели в присутственную комнату, где какой-то чиновник торжественно прочитал мне какую-то бумагу, из которой я узнал, что 14 месяцев, проведенных мною в тюрьме, «по высочайшему повелению» засчитаны мне в наказание за неведомо какое преступление, и я ссылаюсь на родину в Полтавскую губернию под гласный надзор полиции сроком на пять лет. Отобрав от меня подписку в том, что «высочайшее повеление» мне объявлено, мне сказали, что я свободен и должен немедленно ехать в Полтаву. На мое же заявление, что у меня нет достаточно денег на расходы по переезду, мне сказали, что слово «немедленно» надо понимать в расширительном смысле и что я могу прожить в Одессе несколько дней до получения денег. Городовой снес за двугривенный мои вещи в гостиницу «Одесса», по Преображенской улице, рядом с полицейским управлением. На требование документов я объявил к вящшему соблазну коридорного, что документа у меня не имеется и что приехал я «из тюрьмы».

Послав телеграмму моему брату, который, окончив Дерптский университет со званием врача, переехал на жительство в Полтаву, с просьбой прислать 25 рублей на дорогу, я на другой день пошел в канцелярию прокурора Евреинова, где получил отобранные от меня при аресте в Тифлисе некоторые вещи — книги, карманные серебряные часы, ножик и ножницы, и просил выдать мне документ на жительство. Чиновник канцелярии вытащил из шкафа объемистый том моего «дела», толщиною более вершка, порылся в нем довольно долго, а затем, разрезав сшитые нитками бумаги, выдал мне под расписку одну из них, оказавшуюся копией моего аттестата по службе. Эта копия, как оказалось впоследствии, была своевременно вытребована прокурором Одесской судебной палаты из Тифлиса для приобщения к следственному обо мне делу без обозначения, что она выдается для проживательства, но тем не менее служила мне в течение многих лет законным письменным видом.

Этим заканчиваются мои тюремные злоключения, вызванные каким-то недоразумением при жандармском дознании в Кишиневе по делу о перевозке через границу газеты «Работник»,

недоразумением, оставшимся для меня так и невыясненным. Всего в тюрьме я пробыл 14 месяцев и 2 дня.

Через пять-шесть дней я получил от брата 25 рублей и немедленно выехал к месту моей административной ссылки, в Полтаву, где пришлось прожить с некоторыми перерывами почти 17 лет.

Что же касается кружка лавровцев в Петербурге, то по сведениям, дошедшим до меня вскоре в Полтаве, проживавшие в то время в Петербурге члены его в конце 1879 года признали кружок формально закрытым, хотя одиннадцать его наиболее активных членов сохранили до конца дней своих личную свою дружбу и солидарность в основных своих социалистических и политических убеждениях.

В алфавитном порядке их фамилии следующие: Бутурлин Александр Сергеевич, Варзар Василий Егорович, Варзар Александра Григорьевна, Гинзбург Лев Савельевич, Копосов Василий Александрович, Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич, Покровский Василий Иванович, Рихтер Дмитрий Иванович, Семяновский Александр Степанович, Таксис Антон Феликсович, Янцын Михаил Иванович.

Съезжаясь случайно в Петербурге в более или менее полном составе многократно как в конце XIX, так и в начале XX века, вплоть до 1911 года, они в знак неизменной их моральной и политической солидарности снимались в виде фотографических групп, которые мною переданы на хранение в Музей Революции, частью в Москве и частью в Ленинграде.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сажин Михаил Петрович — участник революционного движения с 60-х годов. В связи со студенческими волнениями в Технологическом институте в 1867 — 1868 гг. был выслан из Петербурга в Вологодскую губ., откуда в 1869 г. бежал за границу. Поселившись в Швейцарии, сблизился с М. А. Бакуниным, был членом I Интернационала и тайного бакунинского «Альянса». В 1876 г. Сажин отправился в Россию с революционными целями, был арестован и по процессу 193-х приговорен к каторжным работам. По отбытии их был поселен в Киренском округе, где женился на ссыльно-поселенке Евгении Николаевне Фигнер. В 1900 г. получил разрешение на возвращение в Европейскую Россию. С 1906 г. по 1916 г. заведывал хозяйственной частью журнала «Русское Богатство». В настоящее время живет в Москве и состоит членом Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

[2] В. Н. Смирнов вместе с упоминаемыми ниже товарищами его по медицинскому факультету Московского университета: Александром Леонтьевичем Эльсницем, Владимиром Августовичем Гольштейном и Александром Сергеевичем Бутурлиным принимал участие в так называемой «полунинской истории», разыгравшейся в октябре 1869 г. История эта заключалась в том, что студенты четвертого курса медицинского факультета категорически отказались слушать лекции проф. Полунина, находя, что он недостаточно знаком с предметом, преподавать который взялся. В результате — несколько студентов, в числе которых находились Смирнов, Эльсниц, Гольштейн и Бутурлин, были исключены из университета и высланы из Москвы. Перед отъездом из Москвы они примкнули к тайному обществу «Народная Расправа», организованному С. Г. Нечаевым. В связи с провалом этой организации Смирнов и его товарищи были привлечены по нечаевскому делу. Не дождавшись суда, Смирнов, Эльсниц и Гольштейн в июне 1871 г. бежали за границу.

[3] Ралли-Арборе Земфирий Константинович, состоя студентом Медико-хирургической академии в Петербурге, принимал деятельное участие в студенческом движении 1868 — 1869 гг., являясь одним из ближайших сподвижников С. Г. Нечаева. В 1869 г. Ралли был арестован и выслан на родину в Бессарабию, откуда в 1871 г. бежал за границу. Поселившись в Швейцарии, сблизился с Бакуниным и вошел в его «Альянс». Принимал участие в редактировании заграничных революционных органов «Работник» (1875 — 1876 гг.) и «Община» (1878 — 1879 гг.). Впоследствии поселился в Румынии.

[4] «Письма из Avenue Marigny» печатались Герценом в «Современнике» в 1847 г. В них он излагал свои впечатления от парижской жизни. Контраст между крепостнической Россией и западно-европейскими формами общественной жизни настолько поразил Герцена, что это не могло не сказаться

на его «Письмах». Только после неудачи революции 1848 г. Герцен разочаровывается в Западной Европе и начинает ненавидеть ее «буржуазность». Однако, отрицательное отношение к буржуазии, к ее неизменному эгоизму, и ее умственной духовной узости, к мещанскому укладу жизни и к внешней культуре, прикрывающей эксплоатацию слабых сильными, сказалось уже и на «Письмах из Avenue Marigny». Вот почему называть их автора «благодушным» можно только с большой натяжкой.

[5] Под влиянием неудачи революции 1848 г. и торжества буржуазии в миросозерцании западника Герцена, непримиримого врага московских славянофилов, происходит глубокий перелом. Отвергая попрежнему славянофильство, Герцен тем не менее воспринимает некоторые положения этой доктрины. Он соглашается со славянофилами в том, что западная цивилизация обречена на гибель и что русский общественный строй, основанный на земледельческой общине, стоит гораздо выше буржуазно-капиталистического строя Запада. От славянофилов его продолжает отделять ненависть к самодержавной монархии и крепостническому строю, а также налет симпатий к западному утопическому социализму.

[6] «Исторические письма» П. Л. Лаврова впервые были опубликованы в 1868—1869 гг. в «Неделе» под псевдонимом П. Миртова.

[7] Шер Иоганн — германский историк литературы, публицист и беллетрист, во время революции 1848 г. стоял во главе демократической партии. За речь, сказанную в 1850 г. на митинге, был приговорен к 15 годам тюремного заключения; однако, ему удалось бежать в Швейцарию, где он был приглашен на кафедру истории и истории литературы Цюрихского университета.

[8] Грютли-ферейн — просветительный союз швейцарских рабочих и ремесленников, основанный в 1838 г. В 1901 г. присоединился к швейцарской социал-демократической партии.

[9] Попытки русского правительства найти и захватить скрывшегося в декабре 1869 г. за границу С. Г. Нечаева долгое время оставались безуспешным. Однако, в 1872 г. русское правительство вошло в соглашение с польским эмигрантом Адольфом Стемпковским, обещавшим выдать Нечаева. Стемпковский, участник восстания 1863 г. в Польше, эмигрировал после подавления этого восстания. В 1879 г. он жил в Цюрихе и состоял секретарем местной марксистской секции I Интернационала. Решив выдать Нечаева, Стемпковский назначил ему деловое свидание в одном из трактиров, где после разговора со Стемпковским Нечаев был схвачен переодетыми полицейскими. Это было 14 августа (н. с.) 1872 г. Участие Стемпковского в выдаче Нечаева было открыто, и над ним был учрежден суд, в состав которого вошли представители русской колонии и цюрихских рабочих организаций. Суд, признав Стемпковского шпионом, постановил исключить его из всех обществ, членом которых он состоял. Стемпковский вскоре после этого исчез из Цюриха.

[10] Незлобин — псевдоним беллетриста и фельетониста Дьякова Александра Александровича. В начале 70-х годов Дьяков, проживая в Швейцарии, познакомился с русскими эмигрантами, но скоро разошелся с ними. В 1875—1876 гг. Дьяков опубликовал в катковском «Русском Вестнике» серию очерков и рассказов из жизни русской эмиграции в Швейцарии ярко клеветнического характера. В 1881 г. эти рассказы вышли отдельным изданием под названием «Кружковщина». Дьяков сотрудничал в «Московских Ведомостях», «Новом Времени» и других органах реакционного направления.

[11] Соколов Николай Васильевич, подполковник генерального штаба, в 1863 г. вышел в отставку, чтобы отдаться литературной деятельности. Находился под сильным влиянием Прудона. В 60-х годах сотрудничал в жур-

нале «Русское Слово», где поместил ряд статей на экономические темы. В 1866 г. вместе с В. А. Зайцевым издал книгу «Отщепенцы», содержавшую в себе резкую, хотя и поверхностную, критику буржуазного общества и изложение различных систем утопического социализма. Книга эта была конфискована, а сам Соколов приговорен судом к 16 месяцам крепости и к административной ссылке, которую отбывал в Астраханской губернии. В 1872 г. кружок чайковцев, рассчитывая на сотрудничество Соколова в журнале П. Л. Лаврова «Вперед!», организовал бегство Соколова за границу. Однако, за границей Соколов примкнул не к Лаврову, а к Бакунину. О столкновении его с Смирновым и об отношении к этому столкновению русской колонии в Цюрихе Н. Г. Кулябко-Корецкий подробно рассказывает ниже.

[12] Линев Александр Логгинович, участник революционного движения 60-х и 70-х годов. В 1862 Линев был одним из организаторов русской библиотеки в Гейдельберге, являвшейся одним из революционных центров русской эмиграции. По возвращении в Россию был арестован в 1866 г. и сослан в г. Тотьму. В 1873 г. эмигрировал.

[13] Александров Василий Максимович, будучи студентом Медико-хирургической академии, принимал участие в студенческом движении 1868—1869 гг., являясь вместе с другом своим М. А. Натансоном активным противником С. Г. Нечаева. В 1870 г. Александров подвергся аресту в связи с нечаевским делом. Вместе с Натансоном он был одним из организаторов кружка чайковцев. В 1871 г. был отправлен этим кружком за границу для организации типографии и транспортирования революционной литературы в Россию. После истории с Гребницкой, о которой см. следующее примечание, Александров был отстранен от заведывания типографией и вскоре совершенно отошел от участия в революционном движении.

[14] Сестра известного критика Д. И. Писарева, Екатерина Ивановна, по фиктивному замужеству Гребницкая, работала в качестве наборщицы в типографии, организованной В. М. Александровым. Под давлением последнего Гребницкая продала себя одному старику, деньги, полученные от него, передала на нужды типографии, а затем, не выдержав нравственных мучений, покончила с собой в июле 1875 г.

[15] Турский Гаспар-Михаил—польский эмигрант, организатор русско-польской группы «якобинцев»; с 1875 г. Турский совместно с П. Н. Ткачевым издавал журнал «Набат», проповедывавший заговор в целях захвата государственной власти и установления диктатуры революционной партии, которая приняла бы на себя руководство осуществлением социалистического переворота.

[16] Драгоманов подвергался различным преследованиям со стороны администрации за его интенсивное участие в украинском культурном движении. В 1875 г. состоялось высочайшее повеление о переводе Драгоманова из Киевского в один из северных университетов. Драгоманов отказался подчиниться и был уволен в отставку. В мае 1876 г. Драгоманов эмигрировал.

[17] Статья Драгоманова «Чистое дело требует чистых средств» была напечатана в № 41 газеты «Молва» от 10 октября 1876 года.

[18] Зибер Николай Иванович — известный экономист, последователь К. Маркса, профессор Киевского университета; в 1875 г. вышел в отставку в виде протеста против увольнения Драгоманова и уехал в Швейцарию, где жил до 1884 г. Заболев психически, был привезен в Россию, где и умер.

[19] В своей работе «Народники-пропагандисты 1873—1878 гг.» Лавров упоминает о проживающем в Цюрихе украинце, который примкнул к программе «Вперед!» в марте 1872 г. и обещал поддержку, преимущественно материальную, этому изданию. Украинец этот не исполнил своих обещаний и «оказался пустым болтуном».

[20] Мачтет Григорий Александрович, беллетрист, в 1872 г. уехав в Соединенные Штаты с целью организации сельскохозяйственной артели, прожил в Америке два года, зарабатывая средства к жизни поденной работой на фермах. Свои впечатления от американской жизни Мачтет описал в серии очерков, печатавшихся в 1875—1876 гг. в «Неделе». В 1876 г. Мачтет был арестован за участие в подготовке побега Ковалика и Войнаральского, и сослан в Шенкурск, откуд бежал в 1878 г., но был задержан и выслан в Сибирь, где пробыл до 1885 г.

[21] «Знание»—ежемесячный научный и критико-библиографический журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1877 гг. С 1872 г. издателями его были известный антрополог-популяризатор Дмитрий Андреевич Коропчевский и Исидор Альбертович Гольдсмит. Гольдсмит был близок к революционным кругам. В 1879 г. он был арестован в связи с делом об убийстве шпиона Рейнштейна и выслан в Холмогоры. В 1880 г. Гольдсмит предложил правительству свои услуги по осведомлению о деятельности революционных кругов. В 1884 г. Гольдсмит эмигрировал. В 1887 г. был арестован в Константинополе и выдан русскому правительству, но в 1888 г. вторично скрылся за границу. Умер в 1890 г. в Париже в тюрьме, где он содержался за мошенничество.

[22] В своей работе «Народники-пропагандисты 1873—1878 гг.» П. Л. Лавров рассказывает, что, по получении им весной 1872 г. из России предложения организовать за границей русский журнал, Подолинский, живший в то время в Париже, предложил ему свое содействие по переговорам в России и по собиранию материальных средств для издания. К осени 1872 г. поехавший в Россию Подолинский возвратился за границу и привез Лаврову более точные сведения о том, каким должен быть предположенный журнал по мысли его инициаторов.

[32] В № 120 «Правительственного Вестника» за 1873 год было опубликовано правительственное сообщение, в котором говорилось, что русские студентки, проживающие в Цюрихе, под влиянием эмигрантов бросили научные занятия и увлеклись политической агитацией; в то же время своим безнравственным поведением они возбудили негодование местных жителей. Вследствие этого правительство предупреждало, что те из русских девушек, которые после 1 января 1874 г. будут продолжать слушание лекций в Цюрихском университете и политехникуме, по возвращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение которых зависит от правительства, и ни в какие русские учебные заведения. Это правительственное сообщение, носившее явно клеветнический характер, было встречено негодованием всей русской колонии в Цюрихе. Наиболее активная ее часть решила возвратиться в Россию, чтобы принять участие в революционном движении. Остальные же поспешили перевестись из Цюриха в другие заграничные университеты.

[24] Братья Николай и Сергей Александровичи Жебуневы основали в Цюрихе в 1872—1873 гг. кружок, в который, кроме них, входили их двоюродный брат Л. Н. Жебунев, супруги Макаревич, Трудницкий и еще несколько лиц. Кружок этот носил название сен-жебунистов. В 1874 г. члены этого кружка возвратились в Россию и приняли участие в революционном движении. Большинство из них судилось впоследствии по процессу 193-х.

[25] «Негодницей» была прозвана группа молодежи, отличавшаяся своим шумным поведением. В нее входили С. И. Урсати, К. Е. Котов и др.

[26] Чернышев Иван Яковлевич по возвращении в Россию принимал участие в революционном кружке «вспышкопускателей», организованном Каблицем; в 1874 г. был привлечен по делу о пропаганде в империи, но успел скрыться и эмигрировать.

[27] Лобов Александр Александрович, ученик Лаврова по Михайловскому артиллерийскому училищу и человек близкий его семье, в 1869 и 1872—1873 гг. жил за границей и поддерживал связи с эмигрантами. По возвращении в Россию в 1873 г. был арестован и выслан в Воронеж. В 1874 г. привлекался к дознанию по делу о пропаганде в империи, но суду предан не был по недостатку улик. В 1883 г. привлекался по делу о принадлежности к Красному Кресту «Народной Воли».

[28] Владыкин Михаил Николаевич — драматург школы Островского. Его жена обучалась в Цюрихском университете, а после правительственного сообщения 1873 г. перешла в Бернский университет.

[29] Васильев Николай Васильевич, участник революционного движения 70-х годов, в 1878 г. был арестован в Петербурге за подстрекательство рабочих к забастовке и выслан в Холмогоры, откуда в том же году бежал за границу. Приняв швейцарское подданство, принимал деятельное участие в швейцарском рабочем движении и был секретарем социал-демократической партии. В 1917 г. был членом Центрального Комитета плехановской группы «Единство».

[30] Фигнер Лидия Николаевна по возвращении в Россию участвовала в революционной пропаганде, в 1875 г. была арестована и по процессу 50-ти приговорена к каторжным работам, замененным ссылкою на поселение.

[31] Макаревич Анна Моисеевна, урожденная Розенштейн, по второму мужу—Коста, по третьему—Турати, участница революционного движения 70-х годов, в 1877 г. эмигрировала за границу; позднее видная деятельница итальянского социалистического движения.

[32] Сестры Вера и Ольга Спиридоновны Любатович с 1871 по 1873 г. жили в Цюрихе. По возвращении в Россию обе приняли участие в революционном движении, были арестованы в 1875 г. и по процессу 50-ти приговорены к каторжным работам, замененным им ссылкою на поселение в Сибирь. Поселенная в Ялуторовске, О. С. Любатович в 1878 г. бежала оттуда и вновь принялась за революционную работу. С возникновения партии «Народная Воля» О. С. Любатович примкнула к ней. В 1881 г. она была вновь арестована и сослана в Киренск.

[33] Гольдсмит Софья Ивановна, урожденная Андросова, участвовала в революционном движении 70-х годов; в 1879 г. была выслана в Холмогоры; в 1884 г. привлекалась к дознанию по обвинению в организации народовольческого кружка в Каменец-Подольске; в том же году вместе с мужем эмигрировала.

[34] Бардина Софья Илларионовна по возвращении в Россию принимала участие в революционной пропаганде, была арестована в 1875 г. и по процессу 50-ти приговорена к каторжным работам на 9 лет, замененным ссылкой на поселение в Сибирь, откуда в 1880 г. бежала за границу; покончила с собой в Женеве. По свидетельству Кравчинского, Бардина по приезде за границу находилась в болезненном состоянии и в безнадежном отчаянии, окончательно решив, что она — человек, погибший для дела.

[35] Сестры Субботины, Евгения, Мария и Надежда Дмитриевны, по возвращении в 1874 г. в Россию принимали участие в революционной пропаганде, в 1875 г. были арестованы, судились по процессу 50-ти и были приговорены к ссылке на житье в Сибирь.

[36] Александрова Варвара Ивановна, по мужу Натансон, по возвращении в Россию принимала участие в роволюционной пропаганде, была арестована в 1875 г. и по процессу 50-ти приговорена к высылке в Иркутскую губ.; впоследствии член партии социалистов-революционеров.

[37] Батюшкова Варвара Николаевна, по мужу Цвиленева, по возвращении в Россию принимала участие в роволюционной пропаганде, была арестована в 1875 г. и приговорена по процессу 50 ти к высылке в Сибирь.

[38] Каминская Бети (Берта) Абрамовна по возвращении в Россию занималась революционной пропагандой, была арестована в 1875 г. и подлежала преданию суду (по процессу 50-ти); однако, вследствие психического расстройства была освобождена на поруки отца; покончила с собой в 1878 г. из-за невозможности разделить судьбу осужденных по процессу 50-ти товарищей.

[39] Рашевская Александра Григорьевна, по мужу Варзар, по возвращении в Россию принимала участие в революционном движении 70-х годов и находилась под надзором полиции; впоследствии отошла от революционной деятельности.

[40] Константинович Софья Александровна, по мужу Максимовская, по возвращении из Цюриха в Россию принимала участие в революционном движении, была арестована в 1874 г. по делу о пропаганде в империи, но от судебной ответственности освобождена по недостатку улик, в 1875 г. арестована вторично в Петербурге на демонстрации во время гражданской казни долгушинцев Папина и Плотникова и выслана в г. Буй Костромской губ.

[41] Южакова Елизавета Николаевна, живя в начале 70-х годов в Швейцарии, сблизилась с Нечаевым и группою эмигрантов-якобинцев. По возвращении в Россию принимала участие в революционном движении. В 1880 г. была арестована по делу о подкопе под Херсонское казначейство и о распространении революционных прокламаций и была приговорена к ссылке на поселение в Сибирь. В 1881 г. бежала, но была поймана и приговорена к заключению в тюрьме на 6 месяцев. По отбытии заключения поселена в Якутской области. В 1883 г. Южакова была убита ее мужем, ссыльным рабочим Бачиным, который вслед за этим покончил с собою.

[42] Леонтьева Надежда Николаевна, по мужу Хитрово, по возвращении в Россию привлекалась в 1875 г. по делу о пропаганде в империи, но суду предана не была по недостатку улик.

[43] Хитрово Лев Аркадьевич—статист, агроном, беллетрист (псевдоним — Андрей Мирославич), сотрудник «Русской Мысли», книжек «Недели» и других журналов. Автор известного стихотворения, обычно приписывающегося поэту К. Р.: «Друг, не верь пустой надежде, говорю тебе: не верь. Горе мыкали мы прежде, горемыкаем теперь».

[44] Лаврова Софья Севастьяновна, урожденная Чайковская, сестра жены А. А. Кропоткина, бакунистка, по возвращении в 1873 г. в Россию принимала участие в революционном движении и в деятельности тайного общества «Земля и Воля», неоднократно подвергалась арестам, в 1880 г. выслана в Вятскую губ.

[45] Русская колония в Цюрихе была убеждена в том, что Пфеннингер был подкуплен русским правительством и что только вследствие давления со стороны Пфеннингера кантональный совет большинством голосов высказался за выдачу Нечаева русскому правительству. Через несколько лет после выдачи Нечаева Пфеннингер попался в какой-то мошеннической проделке, был предан суду, но успел бежать и скрыться в Америку.

[46] Попытка освобождения Нечаева была организована группой русской, сербской и польской молодежи. Им удалось вырвать на вокзале Нечаева из рук полиции; однако, присутствовавшая там публика, по свидетельству З. Ралли, помогла полиции снова задержать его.

[47] О свидании Бакунина с Кистяковским и Фойницким имеется рассказ Сажина (со слов Фойницкого) в его воспоминаниях «Первое знакомство с М. А. Бакуниным» («Каторга и Ссылка», 1926 г., № 5, стр. 13); однако, рассказ этот, как видно из сообщения Н. Г. Кулябко-Корецкого, отличается рядом неточностей. В частности этим сообщением опровергается утверждение Сажина о том, что Бакунин, узнав, что обратившиеся к нему русские—юристы, категорически отказался разговаривать с ними, заявив, что между ним

противником государства, и юристами, защитниками государства и насилия, нет решительно ничего общего.

[48] В 1869 г. польский эмигрант граф Владимир Плятер основал в швейцарском городе Рапперсвиле музей с библиотекой и собранием рукописей по истории Польши; постепенно этот музей вырос в богатейшее хранилище исторических материалов, в особенности по истории польской эмиграци. В 1928 г. Рапперсвильский музей был переведен в Варшаву; его библиотека и рукописное собрание влилось в состав Варшавской Народной библиотеки.

[49] В кругах революционно-настроенной мелкобуржуазной учащейся молодежи 70-х годов горячо дебатировался вопрос о том, что должно стоять на первом месте: наука или революционная деятельность. Сторонники Бакунина звали молодежь бросить университеты и немедленно «итти в народ», который, по их мнению, ждет только толчка, чтобы восстать против своих эксплоататоров и произвести социальную революцию. Напротив того, последователи Лаврова полагали, что народ еще не готов к революции и что революционеры прежде, чем итти в народ с пропагандой, должны закончить свое собственное образование; только при таких условиях их «пропаганда может рассчитывать на успех». В журнале «Вперед!» Лавров, как и Бакунин, действительно призывал молодежь итти в народ, но при этом требовал от нее, чтобы она предварительно вооружилась таким запасом различных научных знаний, усвоение которых требовало много времени и откладывало надолго всякую практическую революционную деятельность. Конечно, такая точка зрения не имела ничего общего с теми требованиями, которые предъявляли революционеру Плеханов и Ленин. Признавая, что пропаганда будет тем более успешной, чем больше пропагандист вооружен знаниями, последние, тем не менее, никогда не требовали от пропагандиста, чтобы он откладывал свою революционную деятельность до окончания своего образования.

[50] Относительно того, присутствовал ли Лавров на собрании в Бремершлюсселе, показания современников расходятся. М. П. Сажин утверждает, что Лавров был на этом собрании, но «совершенно не вмешивался в бурные споры и пререкания и за все собрание не проронил ни единого слова». В. Н. Фигнер говорит, что Лавров на этом собрании не присутствовал, но пришел на состоявшееся в тот же день собрание эмигрантов, ушедших из Бремершлюсселя. Из этого сообщения В. Н. Фигнер следует, что Лавров в то время находился в Цюрихе.

[51] Отвечая Лаврову отказом на его приглашение принять участие в журнале «Вперед!», Михайловский писал, что он одно время решил было эмигрировать, но отказался от этой мысли как по «общим основаниям, по которым эмигрировать вообще не легко», так и в силу частностей, в роде «возмутительной истории Смирнова». «Жить в такой мерзости противно, — писал Михайловский,—и во всяком случае для этого нет надобности уезжать из России, где эта мерзость не так больно и оскорбительно колет глаза». Письмо Михайловского к Лаврову опубликовано в № 1 «Минувших Годов» за 1908 г.

[52] В изложении обстоятельств, предшествовавших избиению Соколовым Смирнова, Н. Г. Кулябко-Корецкий допускает существенные неточности. Книга Соколова «Отщепенцы» была переиздана в Цюрихе в 1871 г., т. е. тогда, когда не только не существовало редакции «Вперед!», но и не было деления эмиграции на сторонников Бакунина и приверженцев Лаврова. Книга эта переиздавалась без согласия Соколова, который в то время находился еще в России (он приехал в Цюрих в начале 1873 г.). Издавалась она группой членов русской колонии. Почти весь тираж был отправлен в Россию, но небольшое количество экземпляров осталось у Смирнова, принимавшего участие в издании этой книги. Об этом узнал Соколов, и когда ему понадобилось отправить в Россию революционную литературу с одним приехавшим

специально для этого из России революционером, Соколов решил обратиться к Смирнову с требованием выдать ему остаток тиража «Отщепенцев».

[53] Не Запольская и не Заславская, а Завадская Евгения Флориановна. По возвращении в Россию Завадская принимала участие в революционном движении, была арестована в 1874 г. Судилась по процессу 193-х и была оправдана, а вслед з этим выслана в административном порядке в Вологодскую губ., где вышла замуж за ссыльного А. А. Франжоли. В 1880 г. оба они бежали из ссылки, примкнули к «Народной Воле», а в 1883 г., вследствие тяжелой болезни Франжоли, эмигрировали за границу. В этом же году Франжоли умер, а Завадская под влиянием этого покончила с собой.

[54] По утверждению Сажина, в состав делегации, отправившейся к Пфеннингеру, входили не только такие безответственные лица, как Мандельштам, но и один из ближайших сподвижников Лаврова — С. А. Подолинский.

[55] Объяснения, данные Лавровым относительно составления им трех различных программ журнала, не могут устранить тех нападок, которым за это подвергался в свое время Лавров со стороны русских революционеров и которые нашли отражение в воспоминаниях М. П. Сажина. По справедливому замечанию В. Н. Фигнер, эти объяснения оставляют «незыблемым факт, что Петр Лаврович соглашался быть редактором журнала трех различных направлений и собственноручно составлял для них программы».

[56] Вряд ли можно говорить в данном случае о «грубой клевете» со стороны М. П. Сажина. Известно, что и на страницах «Вперед!» проводилась мысль о том, что революционная пропаганда не должна отвлекать молодежь от нучных занятий. Лавров крайне резко был настроен против бакунистов, призывавших молодежь бросить «науку», чтобы всецело отдаться революционной деятельности.

[57] Не сравнивая доли участия Лаврова и Сажина в Парижской Коммуне, необходимо однако заметить, что М. П. Сажин, узнав о восстании, начавшемся в Париже, поспешил отправиться туда и принять участие в вооруженной борьбе за Коммуну.

[58] Брошюра Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России», написанная, по отзыву такого беспристрастного человека, как немецкий историк А. Тун, «с замечательным искусством и таким талантом, которому, кажется, не было равного в русской революционной прессе», наделала в свое время много шума в революционных кругах и резкостью своих выпадов против Лаврова вызвала много разговоров. Этим и объясняется, почему М. П. Сажин называет брошюру Ткачева «знаменитой».

[59] По свидетельству В. Н. Фигнер, главный взнос на приобретение дома был сделан сестрами Субботиными, богатыми орловскими помещицами.

[60] В «Народниках-пропагандистах 1873—1878 гг.» Лавров говорит, что без «неутомимой деятельности В. Н. Смирнова по литературной отрасли работ и А. Л. Линева по технической «Вперед!» не просуществовал бы двух-трех месяцев».

[61] Что касается бремершлюссельской библиотеки, то она была передана во временное распоряжение эмигранту Элпидину, жившему в Женеве, а после его смерти распродана его женою. Другая же библиотека куда-то впоследствии исчезла.

[62] Статья Лаврова носила название «Последовательные люди». Она должна была появиться в журнале «Дело», но не была пропущена цензурой. Впоследствии с большими изменениями она была напечатана во «Вперед!» под названием «Кому принадлежит будущее».

[63] Чайковский Николай Васильевич—видный участник революционного движения 70-х годов, давший свое имя известному революционному кружку, организованному в 1869 г. М. А. Натансоном. В 1874 г., увлекшись религией богочеловечества А. К Маликова, Чайковский вместе с ним эми-

грировал в Америку для организации там на коммунистических началах общины «богочеловеко ». После неудачи этой попытки поселился в Англии и принимал участие в различных предприятиях эмигрантов (Красный Крест «Народной Воли», Фонд вольной русской прессы и др.). Позднее примкнул к партии социалистов-революционеров. В 1907 г. возвратился в Россию, где занимался как революционной, так и кооперативной работой. В 1917 г. был одним из лидеров трудовой народно-социалистической партии. В годы гражданской войны возглавлял белогвардейское архангельское правительство, державшееся при поддержке англичан. После падения этого правительства бежал в Англию, где и умер.

[64] Лопатин Всеволод Александрович, участник революционного движения 70-х годов, член одесского и киевского отделения кружка чайковцев, арестован в 1874 г. и по процессу 193-х приговорен к ссылке на житье в одну из отдаленных губерний; выслан в Вятку. Впоследствии служил в Саратове по акцизному ведомству и в Вильно на железной дороге.

[65] Эмме Владимир Егорович—студент Киевского университета, член киевского кружка чайковцев. В 1874 г. привлекался по делу о пропаганде в империи, но суду предан не был по недостатку улик. Впоследствии врач.

[66] Рашевский Иван Федорович в 1874 г. привлекался по делу о пропаганде в империи, но суду предан не был по недостатку улик; позднее черниговский земец.

[67] Лонгинов Михаил Николаевич, известный библиограф, в 70-х годах был начальником Главного управления по делам печати. Бывший либерал и сотрудник «Современника», заняв место руководителя цензуры, проявил себя жесточайшим мракобесом и реакционером. Эпоха «лонгиновской цензуры» была одной из наиболее тяжелых для русской печати эпох.

[68] О причине отставки Герда и Резенера автор говорит подробно ниже.

[69] Е. С. Семяновский, помощник присяжного поверенного, был арестован в 1875 г. за пропаганду в войсках и приговорен Сенатом к 12 годам каторжных работ. Каторгу отбывал на Каре. В 1879 был выпущен в вольную команду. В конце 1880 г. последовало распоряжение Лорис-Меликова о переводе всех находящихся в вольной команде обратно в тюрьму. По объявлении этого распоряжения Семяновский застрелился.

[70] Криль Александр Александрович — начал участвовать в революционном движении с середины 60-х годов, когда (в 1866 г.) был привлечен по делу о нелегальной издательской артели в Петербурге. В начале 70-х годов проживал в Швейцарии и был близок с эмигрантами, в связи с чем в 1872 г. по возвращении в Россию подвергся аресту. В 1881 г. привлекался по делу о Красном Кресте «Народной Воли» и был подчинен полицейскому надзору. Позднее — член партии социалистов-революционеров.

[71] Ивановский Василий Семенович, видный участник революционного движения 70-х годов; был арестован в 1875 г. и привлечен к дознанию по делу о пропаганде в империи, но суду предан не был по недостатку улик. По освобождении продолжал пропаганду среди рабочих и в 1876 г. был вновь арестован. В 1877 г. бежал из-под ареста и эмигрировал в Румынию, где занимался врачебной практикой и где вокруг него группировалась русская эмигрантская колония.

[72] В. И. Покровский был близок к революционным кругам с начала 60-х годов, когда он состоял преподавателем кадетского корпуса в Москве. В 1866 г. он был арестован в связи с каракозовским процессом и выслан на родину в Осташков под надзор полиции.

[73] Этим фабрикантом был Баранов— владелец крупной текстильной фабрики в Александрове.

[74] Зунделевич Аарон Исаакович членом кружка лавристов не был. Находясь под влиянием деятельности германской социал-демократии, Зун-

делевич в революционном движении первой половины 70-х годов занимал несколько обособленное положение. Избрав своею специальностью организацию нелегального транспорта через границу, Зунделевич оказывал содействие в этом отношении различным революционным кружкам и группам, существовавшим в то время в России; возможно, что к числу этих кружков принадлежал и петербургский кружок лавристов. Во вторую половину 70-х годов Зунделевич был членом «Земли и Воли» и Исполнительного Комитета «Народной Воли». В 1879 г. он был арестован и по процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к бессрочной каторге. В 1906 г., вернувшись с поселения, уехал за границу и поселился в Лондоне, где и умер.

[75] Имеются в виду воспоминания И. Ясинского, изданные в 1926 г. под заглавием «Роман моей жизни».

[76] П. Б. Аксельрод был бакунистом и никакого отношения к петербургским лавристам не имел. В 1875 г., приехав из-за границы в Россию, он посетил в Москве Бутурлина и получил от него явки в Петербург. В виду этого возможно, что по приезде в Петербург он имел свидания с кем-либо из тамошних лавристов.

[77] О. В. Аптекман членом кружка лавристов не был. В своих воспоминаниях он довольно иронически отзывается об этом кружке, хотя и признает, что проводимая его членами пропаганда среди петербургских рабочих принесла несомненную пользу революционному движению.

[78] Малиновская Александра Николаевна с начала 70-х годов принимала участие в революционных кружках Петербурга; в 1874 г. привлекалась по делу о пропаганде в империи, но по недостатку улик суду предана не была. Была близка к тайному обществу «Земля и Воля» и оказывала содействие его работе. В 1878 г. она была арестована и Петербургским военно-окружным судом приговорена к ссылке на житье в Сибирь. Находясь в заключении, заболела психически и в 1880 г. была отправлена в казанскую психиатрическую лечебницу. В 1886 г. освобождена на попечение сестры.

[79] Саблин Николай Алексеевич—видный участник революционного движения 70-х годов, член московского отделения кружка чайковцев. Саблин был арестован в 1874 г. и судился на процессе 193-х, причем ему было вменено в наказание продолжительное тюремное заключение. По освобождении продолжал революционную деятельность, впоследствии вступил в партию «Народная Воля» и принимал участие в подготовке 1 марта 1881 г. Во время ареста 3 марта 1881 г. застрелился. Брат его, Михаил Алексеевич Саблин (1842—1898), в начале 60-х годов был близок к революционному кружку Заичневского и Аргиропуло; впоследствии — статистик и публицист, один из ближайших сотрудников либеральной газеты «Русские Ведомости».

[80] Эндауров Александр Меркурьевич — с 1874 г. член кружка чайковцев; в 1875 г. был арестован в Ярославской губ. за пропаганду среди крестьян; по привозе его в Петербург бежал с вокзала железной дороги. В 1879 г. был вновь арестован и сослан в Вятскую губ., откуда в скором времени переведен в имение его отца в Ярославскую губ. До 1874 г. Эндауров был близок к петербургским лавристам и некоторое время жил на общей квартире с одним из членов их кружка, Н. А. Литошенко.

[81] Сестры Корниловы, Александра, Вера и Любовь Ивановны,—видные участницы революционного движения 70-х годов, члены кружка чайковцев.

[82] Армфельд Наталия Александровна — член московского кружка чайковцев. Подвергалась арестам в 1874 и 1875 гг. В 1876 г. была выслана в г. Буй. В 1878 г. скрылась и продолжала революционную работу в Киеве. В 1879 г. была арестована там после вооруженного сопротивления и военно-окружным судом приговорена к каторжным работам на 14 лет и 10 месяцев. Каторгу отбывала на Каре.

[83] Личкус Фанни Марковна — участница революционного движения 70-х годов. Позднее эмигрировала и вышла замуж за С. М. Кравчинского. Живет в Лондоне.

[84] Маликов Александр Капитонович был арестован в 1866 г. в связи с делом Каракозова и выслан в Холмогоры. В 1873 г. переведен в Орел, где он выступил в роли проповедника новой религии «богочеловечества» основной тезис которой сводился к признанию того, что божественное начало заложено в каждом человеке. Маликов рассчитывал на обновление человечества путем нравственного перерождения отдельных людей. В 1875 г. Маликов со своими последователями эмигрировал в Америку для организации общины на коммунистических началах. После неудачи этого опыта в 1878 г. вернулся в Россию.

[85] Клеменц Дмитрий Александрович — видный деятель революционного движения 70-х годов, член кружка чайковцев и тайного общества «Земля и Воля» и редактор его органа, носившего то же название. В 1879 г. был арестован и в 1881 г. сослан в Минусинск. Впоследствии — известный антрополог и этнограф.

[86] Драго Николай Иванович — член кружка чайковцев и «Земли и Воли»; впоследствии отошел от участия в революционном движении.

[87] Каблиц Иосиф Иванович—участник революционного движения 70-х годов, организатор в 1874 г. бакунистского кружка «вспышкопускателей». Под псевдонимом Юзова сотрудничал в легальной прессе и в 80-х годах выпустил книгу «Основы народничества», в которой выступил как идеолог правого, оппортунистического крыла народничества.

[88] Кравчинский Сергей Михайлович — видный участник революционного движения 70-х годов, член кружка чайковцев, в 1873 г. вместе с Дмитрием Михайловичем Рогачевым предпринял «хождение в народ». Позднее землеволец. Был одним из редакторов «Земли и Воли». В 1878 г. Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцова и после этого эмигрировал. Последние годы Кравчинский жил в Лондоне, сотрудничал в английской прессе под псевдонимом Степняка в целях популяризирования русского революционного движения и был одним из основателей «Фонда вольной русской прессы». За границей Кравчинский, бывший бакунист, сильно эволюционировал в сторону либерализма. Что касается его товарища по «хождению в народ» в 1873 г., Д. М. Рогачева, то он был арестован в 1876 г. и по процессу 193-х приговорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал в Новоборисоглебском централе и на Каре, где и умер.

[89] В письме к П. Л. Лаврову И. С. Тургенев, признав, что у автора «Мудрицы Наумовны» имеются «и талант, и огонь», отметил невыдержанность тона его произведения. «Автор не дал себе ясного отчета, — писал Тургенев, — для кого он пишет, для какого именно слоя читающей публики Последствием этого — сбивчивость и неровность изложения. То для народа писано, то для более — если не образованного — то литературного слоя».

[90] По свидетельству А. Скабичевского, «общество трезвых философов» получило это шуточное название, во-первых, потому что большинство его членов было позитивистами, и, во вторых, потому что на собраниях его не полагалось ничего, кроме чая с бутербродами.

[91] Ольхин Александр Александрович — изветный адвокат, поэт, сотрудничавший в революционных изданиях. За связи свои с революционными кругами Ольхин поплатился ссылкой в Вологодскую губ., где ему пришлось прожить с 1879 по 1895 г.

[92] А. М. Скабичевский в своих воспоминаниях говорит, что было бы ошибкой предполагать, основываясь на названии «общество пьяных философов», что члены его собирались ради попоек. Цель его заключалась только во взаимном сближении членов, которые «собирались единственно, чтобы по-

веселиться: вдоволь под фортепиано плясали, пели, декламировали и т. п. Никакого пьянства при этом не было».

[93] Черняев Михаил Григорьевич — известный генерал, завоеватель Ташкента (1865 г.). С 1873 г. издавал в Петербурге реакционную газету «Русский Мир». Человек авантюристической складки, Черняев, узнав о восстании, начавшемся в Герцеговине против турок, несмотря на запрещение правительства, отправляется в 1876 г. в Сербию и становится во главе сербской армии. — Комаров Виссарион Виссарионович — полковник, состоявший в 1876 г. начальником штаба одной из сербских армий, находившихся под командованием Черняева. Комаров — реакционный журналист, основавший в 1871 г. упомянутую выше газету «Русский Мир»; впоследствии — редактор-издатель газеты «Свет». — Монтеверде Петр Августович — адъютант Черняева в сербскую войну, реакционный публицист и беллетрист, сотрудник «Света», «Московских Ведомостей», «Русского Вестника» и др.

[94] Под цюрихскими барышнями автор разумеет членов кружка «фричей», о котором он говорил при описании своей цюрихской жизни. Члены этого кружка по возвращении в Россию организовали совместно с кружком кавказцев «Всероссийскую социально-революционную организацию». Участницы этой организации, поступая в качестве работниц на фабрики в Москве и других городах, вели революционную пропаганду. В 1875 г. организация была разгромлена правительством; члены ее судились в 1877 г. по процессу 50-ти. Адвокат Боровиковский, выступавший защитником по этому процессу, под впечатлением от него написал стихотворение «К судьям», в котором вложил в уста подсудимой следующие слова:

Крестьянские вериги вместо платья
Одев и сняв «преступно» башмаки,
Я шла туда, где стонут наши братья,
Где вечный труд и бедняки...

[95] Халтурин Степан Николаевич — знаменитый рабочий-революционер 70-х годов, организатор «Северного русского союза рабочих» в 1879 г., позднее член Исполнительного Комитета «Народной Воли» и организатор взрыва Зимнего дворца в 1880 г.; казнен в 1882 г. за участие в убийстве прокурора Стрельникова. Весьма возможно, что автор действительно встречался с Халтуриным. Н. С. Русанов в своих воспоминаниях сообщает, что Халтурин был очень дружен с лавристом А. А. Мурашкинцевым.

[96] Калюжный Александр Мефодиевич — участник революционного движения 70-х годов. В 1874 г. был арестован, но вскоре освобожден. В 1876 г. арестован вторично и сослан в Пинегу. В 1880 г. Харьковским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 4 года. Каторгу отбывал на Каре. По возвращении в Европейскую Россию поселился в Тифлисе. Здесь у него в 1891—1892 гг. жил М. Горький, в то время только-что начинавший свою литературную деятельность. В своих воспоминаниях Горький очень тепло отзывается о своем «старом друге и милом учителе» Калюжном.

[97] Чудновский Соломон Лазаревич — видный участник революционного движения 70-х годов, в 1874 г. был арестован в Одессе; по процессу 193-х приговорен к каторжным работам на 5 лет, замененным ссылкою на житье в Тобольскую губернию. В 1893 г. возвратился в Европейскую Россию и поселился в Одессе, где сотрудничал в местной прессе.

[98] Петрункевич Иван Ильич — известный земский деятель Черниговской, а затем Тверской губ. С 1879 г. по 1886 г. Петрункевич находился в ссылке в Костромской губ. за участие в составлении адреса черниговского земства с просьбой о введении народного представительства. В 1904 г. был

выслан из Тверской губернии в числе других прогрессивных земцев. Петрункевич был одним из основателей «Союза Освобождения» и конституционно-демократической партии, а в 1906 г. — членом I Государственной думы. По делу о составлении «выборгского воззвания» был приговорен к тюремному заключению. После Октябрьской революции эмигрировал за границу, где и умер.

[99] «Барон Икс» — псевдоним Герцо-Виноградского Семена Титовича, известного одесского журналиста и фельетониста. В 70-х годах Герцо-Виноградский поддерживал знакомство с одесскими революционерами, вследствие этого в 1879 г. был арестован и сослан в Красноярск. Живя там, обратился к правительству с предложением своих услуг по осведомлению о революционном движении; в 1880 г. возвращен в Европейскую Россию.

[100] А. Н. Кулябка была выслана в Енисейск в 1879 г. вследствие того, что при производстве дознания по делу о расклейке в Кишиневе прокламаций была выяснена причастность ее к местному революционному кружку.

[101] Общественное оживление, обнаружившееся в 90-х годах в России, ярко отразилось на деятельности Вольного экономического общества. Его заседания, посвященные обсуждению различных вопросов русской экономической жизни, привлекали большое количество посетителей, страстно реагировавших на дебаты, происходившие между легальными марксистами и народниками. Правительство прибегло к ряду репрессий по отношению к обществу. В 1900 г. состоялось высочайшее повеление о коренном пересмотре устава общества. Хотя это повеление в исполнение приведено не было, деятельность общества с этого времени почти замерла.

[102] Фроленко Михаил Федорович — видный участник революционного движения 70-х годов, начиная с кружка чайковцев и кончая «Народной Волей», членом Исполнительного Комитета которой он был. Принимал участие в подготовке покушений на Александра II. В 1881 г. арестован и по делу 20-ти народовольцев приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда вышел в 1905 г.

[103] Зданович Георгий Феликсович — участник революционного движения 70-х годов, один из основателей «Всероссийской социально-революционной организации», в которой он заведывал главным образом техникой и транспортированием из-за границы революционных изданий. Арестован в 1875 г. и по процессу 50-ти приговорен к каторжным работам на 6 лет и 8 месяцев. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе и на Каре. По возвращении в 1889 г. в Европейскую Россию жил в Кутаисе.

[104] Костюрин Виктор Федорович, в 1873 — 1874 гг. был членом одесского кружка чайковцев, в 1875—1876 гг. — членом киевского кружка «бунтарей». В 1877 г. был арестован, но с помощью М. Ф. Фроленко бежал; в том же году был арестован вторично, по процессу 193-х приговорен к ссылке на житье в Сибирь, а по процессу о покушении на предателя Гориновича, в организации которого Костюрин принимал участие, к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1886 г. был отправлен на поселение в Якутскую область. С 1893 г. поселился в Тобольске и участвовал в местной прессе. За участие в революции 1905 г. подвергся высылке в Сургут. Последние годы жил в Тобольске.

[105] Зубков Николай Петрович — член революционного кружка в Таганроге, эмигрировал в 1874 г. в Румынию; живя там, занимался переправкою в Россию заграничной революционной литературы и типографских принадлежностей.

[106] Судзиловский Николай Константинович, принимал участие в революционном движении 70-х годов, в 1877 г. эмигрировал в Румынию, где жил под фамилией доктора Русселя и оказывал содействие русским революционерам. Позднее жил в Америке и на Гавайских островах, где принимал

участие в политической жизни и был избран сенатором. Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. приехал в Японию и занимался революционной пропагандой среди русских военнопленных. Последние годы жизни провел в Китае.

[107] Колодкевич Николай Николаевич — видный участник революционного движения 70-х годов, член киевского отделения кружка чайковцев; позднее член Исполнительного Комитета «Народной Воли». В 1881 г. Колодкевич был арестован и по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Умер в Петропавловской крепости.

[108] Лизогуб Дмитрий Андреевич — видный участник революционного движения 70-х годов, богатый помещик Черниговской губернии. Лизогуб предоставлял значительные денежные средства на революционное дело. Был членом общества «Земля и Воля». В 1878 г. Лизогуб был арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. Повешен 10 августа 1879 г.

[109] Надим—псевдоним участника стрельниковского процесса Торгашева Павла Ивановича. Торгашев был арестован в 1881 г. за пропаганду среди рабочих в Одессе и в 1883 г. по стрельниковскому процессу приговорен к каторге, замененной ссылкою на житье в Восточную Сибирь.

[110] Газета «Голос» издавалась в Петербурге с 1863 г. по 1884 г. и являлась органом весьма умеренного либерализма. Издателем-редактором ее был А. А. Краевский.

[111] Фадеев Ростислав Андреевич — генерал, реакционный публицист, выступавший защитником «дворянской идеи», как основы государственного строя, и опеки дворянства над крестьянством. Н. Г. Кулябко-Корецкий имеет в виду брошюру Фадеева «Письма о современном состоянии России», изданную в 1881 г. в Лейпциге.

[112] Народоволец М. И. Дрей, судившийся по стрельниковскому процессу, следующим образом характеризует Стрельникова: «Стрельников был очень хорошим инквизитором, но плохим следователем. Он умел хорошо запугивать заключенных и таким образом выжимать из них показания, но сопоставлять факты и делать из них выводы, которые сами собою напрашивались, не умел. Иногда ни к чему не причастные люди, арестованные по подозрению и запуганные им, давали совершенно ложные показания, дабы только как-нибудь вывернуться. Он принимал их показания на веру и, руководимый этими показаниями, шел по ложному пути».

[113] Автор не вполне точно рассказывает о конспиративной мастерской. В Одессе существовал кружок самообразования, руководимый учителем Куртеевым. В него входило несколько рабочих. Два провокатора — слесаря Свечин и Иванов — проникли в этот кружок и стали призывать его членов перейти от самообразования к революционной деятельности — изданию прокламаций и т. д. Для своих собраний кружок имел «конспиративную» мастерскую. Свечин и Иванов выдали эту мастерскую и всех членов кружка. Что касается Попельницкого, то они утверждали, что он, посещая мастерскую, вел откровенные разговоры на революционные темы.

[114] Еженедельник «Земский Обзор» издавался в Полтаве местной губернской земской управой с 1883 г. по 1885 г.

[115] Попельницкий опубликовал в 1916 г. журнал «Голос Минувшего» (№ 12) записку Радищева о законодательстве.

[116] «Слово» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1878—1881 гг. Редакторами его были И. А. Гольдсмит (до 1879 г.) и Д. А. Коропчевский (до 1880 г.). «Слово» было журналом радикального направления. В нем сотрудничал ряд революционеров и эмигрантов.

[117] Ковалевский Николай Васильевич, преподаватель киевской военной гимназии, участвовал в киевских революционных кружках. В 1876 г.

за политическую неблагонадежность был уволен со службы, переехал в Одессу, где был деятельным участником украинофильского кружка. В 1879 г. был выслан на 5 лет в Минусинск; по возвращении из ссылки жил в Киеве.

[118] Щербина Федор Андреевич в первой половине 70-х годов участвовал в пропаганде среди рабочих в Одессе, был близок к Южно-российскому союзу рабочих, организованному Заславским; в 1876 г. был арестован и выслан в Сольвычегодск. Позднее член II Государственной думы, трудовик.

[119] Малинка Виктор Алексеевич в середине 70-х годов принадлежал к кружку «бунтарей» в Киеве. участвовал в 1876 г. в покушении на предателя Гориновича. В 1877 г. был арестован, но бежал. В 1878 г. арестован вторично и в 1879 г. Одесским военно-окружным судом приговорен к смертной казни через повешение. Повешен 7 декабря 1879 г.

[120] Гольденберг-Гетройтман Лазарь Борисович в 1868—1869 гг. принимал участие в студенческих волнениях в Петербурге и был выслан в г. Темников. В 1872 г. бежал за границу, где сперва заведывал типографией чайковцев, а затем работал в Лондоне в типографии «Вперед!». Позднее жил во Франции и в Нью-Йорке. В 1895 г. возвратился в Лондон и заведывал хозяйственной частью группы «Фонд вольной русской прессы».

[121] Либерман Арон — участник виленского революционного кружка начала 70-х годов. В 1875 г. был привлечен к дознанию, но успел скрыться за границу, где сблизился с Лавровым. В 1876 г. основал еврейский рабочий союз в Лондоне. В 1877 г. издавал в Вене еврейский социалистический журнал «Гоэмес» («Правда»). В 1878 г. был арестован за агитацию в Берлине и приговорен к одному году тюрьмы и высылке из Германии. По отбытии наказания уехал в Америку, где покончил с собой.

[122] Юнг — рабочий-часовщик, участник революции 1848 г. После подавления ее эмигрировал в Лондон, был активным участником I Интернационала, входя в его Генеральный Совет, как секретарь швейцарской секции. Ближайший сотрудник Маркса в первые годы существования I Интернационала, Юнг после Парижской Коммуны разошелся с Марксом и отошел от участия в рабочем движении.

[123] Врублевский Валерий — деятельный участник польского восстания 1863 г., во время которого он был главнокомандующим военными силами Гродненщины, Подляхии и Люблинщины. Раненный во время одного из боев, Врублевский был переправлен в Галицию. После подавления польского восстания поселился в Лондоне, где руководил демократической частью польской эмиграции. В 1871 г. участвовал в Парижской Коммуне, командуя одной из ее армий. После разгрома Коммуны Врублевский, заочно приговоренный к смертной казни, эмигрировал в Лондон, состоял членом Генерального Совета I Интернационала и был сторонником Маркса в его борьбе с Бакуниным.

[124] Арестованный в 1874 г. за участие в кружке чайковцев и за пропаганду среди петербургских рабочих, П. А. Кропоткин был заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В 1875 г. по болезни он был переведен в арестантское отделение Николаевского военного госпиталя, откуда 30 июля 1876 г. бежал с помощью Иванчина-Писарева, Веймара и других и благополучно скрылся за границу.

[125] Молчанов Александр Николаевич — журналист, в первой половине 70-х гг. сотрудник либеральной газеты «Киевский Телеграф». В 1876 г. уехал за границу и примкнул к якобинской группе Ткачева; сотрудничал в «Набате», но вскоре был уличен в сношениях с русским правительством и исключен из группы. Позднее сотрудник реакционной прессы — «Новое Время», «Исторический Вестник» и др.

[126] Гриневич Клеоник Иванович — лаврист, участвовал в революционной пропаганде в Полтавской губ., привлекался по делу о пропаганде в империи, но суду предан не был. По возвращении с Парижского съезда

лавристов в 1876 г. был арестован на границе с чужим паспортом, революционными сочинениями и письмами Лаврова. В 1878 г. выслан в Шенкурск, где в том же году утонул.

[127] Попко Григорий Анфимович — участник революционного движения 70-х годов, лаврист, участник Парижского съезда лавристов 1876 г. Во второй половине 70-х годов Попко, сблизившись с В. Осинским, принимал участие в террористических предприятиях кружка. В 1878 г. убил в Киеве жандармского офицера Гейкинга. В 1879 г. Попко был арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к бессрочной каторге. Каторгу отбывал на Каре, где и умер.

[128] Кружок Колодкевича в Киеве и кружок Желябова и С. Чудновского в Одессе не были лавристскими кружками. Они являлись отделениями кружка чайковцев. Чайковцы на первых порах принимали участие в издании «Вперед!», но по выходе этого журнала стали относиться к нему отрицательно, так как не разделяли его программы. Тем не менее чайковцы занимались распространением этого журнала в России.

[129] Автор имеет в виду попытку Дейча, Стефановича и Бохановского в 1877 г., воспользовавшись волнениями крестьян в Чигиринском уезде, поднять восстание при помощи подложной «высочайшей грамоты» от имени Александра II с призывом к крестьянам организоваться в тайные дружины, чтобы подготовиться к восстанию. Запись крестьян в эти тайные дружины шла весьма успешно, но вскоре вследствие доноса организация была разгромлена арестами. Автор ошибается, утверждая, что попытка Дейча, Стефановича и Бохановского встретила резкий отпор со стороны киевской группы, к которой они принадлежали. Они действовали с согласия этой группы и при ее поддержке.

[130] Мак-Магон, Мари-Эдм-Патрис-Морис—известный французский генерал, потерпевший жестокие поражения при Верте и Седане во время франко-прусской войны 1870—71 г. В 1871 г. командовал правительственными войсками, осаждавшими захваченный коммунарами Париж. С 1873 по 1879 г. Мак-Магон был президентом Французской республики. По своим взглядам Мак-Магон был ярким представителем реакции и сторонником монархии. Отказаться от президентской власти он был вынужден после двухлетней упорной борьбы с палатой депутатов, в которой большинство принадлежало республиканцам. — Н. Г. Кулябко-Корецкий имеет в виду свою корреспонденцию «Из швейцарской Юры», напечатанную в № 40 «Вперед!» (1876 г.). Автор корреспонденции, передавая свою беседу с П. Бруссом, между прочим писал: «По его рассказам, условия деятельности социалиста-революционера в «Макмагонии» и в нашей родной «Потапии» (от Потапова—шефа жандармов.—Ред.) более или менее одинаковы». Далее автор корреспонденции передает о том, какие методы революционной борьбы Брусс считает наиболее целесообразными в новых условиях, в которых приходится действовать французским социалистам. Кто-то не вполне правильно осведомил Брусса о содержании корреспонденции, помещенной во «Вперед!», и он отправил в редакцию этого журнала негодующее письмо, в котором, между прочим, писал: «Ваш корреспондент предполагает, что ему удалось из уст французского революционера узнать некоторые подробности о тайной организации во Франции, и он первым делом посылает добытые им сведения в журнал, а этот последний торопится напечатать сделанное сообщение... Я... не настолько наивен, чтобы при первом свидании с человеком, которого я еще не успел узнать, раскрывать ему тайны революционной организации. Ваш корреспондент узнал от меня лишь то, что можно прочесть в отчетах конгрессов Интернационала». Печатая в № 46 письмо Брусса, редакция «Вперед!» сопроводила его примечанием, в котором указала на то, что Брусс введен в заблу-

ждение и что в корреспонденции, напечатанной во «Вперед!», никаких сведений о тайной организации во Франции помещено не было.

[131] А. С. Бутурлин был арестован в 1876 г. в связи с подготовкой побега арестованных по делу 50-ти Здановича, Цицианова и Кардашева. Вскоре он был освобожден на поруки брата с учреждением за ним полицейского надзора. По освобождении А. С. Бутурлин продолжал революционную деятельность, в 1879 г. был арестован вновь и сослан на 5 лет в Тобольск.

[132] Гагарин Иван Сергеевич служил по дипломатической части и был близок к литературным кругам 30-х годов. В 1842 г. перешел в католичество и поступил в орден иезуитов, в своих сочинениях отстаивал объединение православной и католической церквей.

[133] Автор имеет в виду книгу Александра Орфано «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека. Критический разбор книги гр. Толстого «В чем моя вера», вышедшую двумя изданиями в 1887 и 1900 гг.

[134] О «полунинской истории» см. выше примечание второе.

[135] Зак Василий Иванович, живя в середине 70-х годов в Москве, участвовал в революционных кружках. В 1878 г. он был арестован и за сношения с эмигрантами выслан в Иркутскую губ.; в 1879 г. Зак бежал, но был вскоре задержан и выслан в г. Верхоянск, откуда в 1882 г. сделал неудачную попытку бежать. В 1884 г. получил право на возвращение в Европейскую Россию.

[136] Несомненно речь идет о Владимире Федоровиче Орлове, являвшемся во время студенческих волнений в 1868—1869 г. в Петербурге одним из деятельнейших помощников Нечаева. Арестованный в 1869 г., Орлов в 1871 г. судился по процессу нечаевцев и был оправдан. В 1875 г. привлекался по делу о пропаганде в империи, но суду предан не был. В 80-х и 90-х годах жил в Москве и был близок к толстовству.

[137] Называть Бутурлина «революционным марксистом» можно лишь в том смысле, в каком иногда лавристов 70-х годов называли марксистами. Их «марксизм» ограничивался тем, что они вели пропаганду почти исключительно среди рабочих и с недоверием относились к вере бакунистов в подготовленность русского крестьянства к социальной революции.

[138] В 70-е годы германская социал-демократия продолжала находиться под сильным влиянием идей Лассаля с его переоценкой значения всеобщего избирательного права и парламентаризма. Как известно, Лассаль рассчитывал на то, что завоевав большинство голосов в рейхстаге, рабочий класс сможет реформировать буржуазную Германию в «Народное государство», в котором руководящая роль будет принадлежать «трудящимся классам» Сообразно с этим Лассаль считал, что преобразованное государство, придя на помощь денежными субсидиями рабочим «производительным ассоциациям», преобразует современное общество в социалистическое. Последовательное проведение в жизнь теории Лассаля вело к отказу от революционных методов борьбы и к замене их мирной борьбой на основе всеобщего избирательного права.

[139] «Московский процесс» — процесс 50-ти 1877 г., подсудимые по которому обвинялись в пропаганде среди рабочих в Москве и в ближайших к ней фабричных центрах (Иваново-Вознесенске и др.).

[140] Русский священник, о котором упомянуто в тексте,— Агапий Гончаренко, в начале 60-х годов работавший в качестве наборщика в типографии А. И. Герцена в Лондоне, а затем переселившийся в Америку и издававший там русскую газету «Свобода».

[141] Н. Г. Кулябко-Корецкий имеет в виду «Правду», газету, выходившую в Женеве с августа 1882 г. по февраль 1883 г. под редакцией И. Климова. Газета эта отличалась архиреволюционными и кровожадными выпадами против Александра III и его правительства, имевшими провокационный харак-

тер. Издавалась она на средства Священной Дружины. «Правде» было поставлена задача «утрировать народовольческую программу, доводить ее до очевидной нелепости даже для политически отуманенных лиц» («Красный Архив», т. XXI, стр. 210). Однако, эта задача достигнута не была, так как эмигранты очень скоро разобрались в провокационном характере «Правды».

[142] Дехтерев Владимир Гаврилович, врач-психиатр, секретарь комитета Общества помощи учащимся женщинам в Петербурге, был человеком, любившим рисоваться своим радикализмом и преданностью идеям социализма. А. П. Философова познакомила Тургенева с некоторыми его произведениями. Тургенев на основании их убедился в том, что Дехтерев пустой фразер, и вывел его, как представителя этого типа, в «Нови» в лице Кислякова.

[143] В июне 1877 г. Бебель был приговорен к тюремному заключению на 9 месяцев за оскорбление правительства и армии, найденное прокуратурой в одной из его брошюр.

[144] Закон против социалистов был принят рейхстагом 19 октября 1878 г. Бебель охарактеризовал этот закон, как попытку поставить социал-демократию вне закона и спровоцировать ее на революционные выступления. Закон 1878 г. воспрещал всякого рода союзы, общества, органы печати, связанные с социалистической пропагандой, угрожающей мирному сожительству различных классов. Властям предоставлялось право вводить осадное положение и высылать неблагонадежных лиц. Немедленно после издания этого закона все социал-демократические организации и газеты были закрыты. Начались массовые высылки социал-демократов. Закон этот первоначально был введен до 1880 г., но затем действие его было продлено до 1884 г.

[145] Вагнер Николай Петрович — профессор зоологии Петербургского университета. В 70-х годах значительной популярностью пользовались беллетристические произведения Вагнера, выходившие под псевдонимом «Кот-Мурлыка». В 1877—1879 гг. Вагнер издавал в Петербурге ежемесячный научно-литературный журнал «Свет».

[146] Оболенский, Леонид Петрович в 1866 г. привлекался по каракозовскому делу и был выслан в Костромскую губернию. Позднее — чрезвычайно плодовитый писатель, выступавший как беллетрист, поэт, философ, социолог, литературный критик и публицист. По своим политическим воззрениям был близок к правому, оппортунистическому крылу народничества.

[147] Мирский Леон Филиппович 13 марта 1879 г. покушался на жизнь шефа жандармов Дрентельна. После покушения сумел скрыться. В июне того же года был арестован в Таганроге и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Находясь в Алексеевском равелине, выдал властям подготовлявшийся Нечаевым побег. В 1884 г. Мирский был переведен на Кару. По выходе из каторги остался жить в Сибири. В 1906 г. был арестован в Верхнеудинске карательной экспедицией ген. Ренненкампфа и приговорен к смертной казни, которая, однако, была заменена ему каторжными работами.

[148] А. В. Степанов редактировал выходивший в Тифлисе в 1881—1883 гг. еженедельник «Юридическое Обозрение» и в 1884—1887 гг. газету «Новое Обозрение».

[149] Попович и Короткевич Леонид Доримедонтович за участие в местном революционном кружке и за расклейку прокламаций по городу Одесским военно-окружным судом в 1879 г. были приговорены к тюремному заключению на два месяца. Попович в 1882 г. за пропаганду среди петербургских рабочих был выслан в Сибирь.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В

Г

Д

Е

Ж

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ II. «ВПЕРЕД!» и ВПЕРЕДОВЦЫ.

Стр.

Цена 2 р. 50 к.



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению Издательства политкаторжан — Москва, ГСП-10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73 и 1-31-26.
2. Магазину Издательства политкаторжан „МАЯК“— Москва-Центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.

